

В БАЛЧЕКРОВИЙ

ШЕСТЬ ТОНН
ВАНИЛЬНОГО
МОРОЖЕНОГО

Что есть
восторг?

18+

ЛАУРЕАТ
«РУССКОЙ
ПРЕМИИ»

Рискованные игры

Валерий Бочков

**Шесть тонн ванильного
мороженого**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бочков В. Б.

Шесть тонн ванильного мороженого / В. Б. Бочков — «Эксмо»,
2018 — (Рискованные игры)

ISBN 978-5-04-096896-1

Книга Валерия Бочкова «Шесть тонн ванильного мороженого» — ингредиент фирменного коктейля писателя: взять проклятые вопросы русской прозы, смешать с захватывающей историей в голливудском духе, добавить неожиданный финал, но не взбалтывать, чтобы бережно сохранить очарование и лиризм прозы. Употреблять в любых количествах в любое время.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-096896-1

© Бочков В. Б., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Брат моего брата	5
Агностик	21
Ах, майн либер Августин!	32
Часть первая	33
Часть вторая	42
Виртуоз	47
Дачный портной	54
Дюны Скарборо	59
Искушение амазонки	73
Канарейка	85
Часть первая	86
Часть вторая	95
Кармен-Сюита	98
Ничего личного	105
Озеро Лаури	120
Шесть тонн ванильного мороженого	127
Сахарная мельница	161
Об авторе	179

Валерий Бочков

Шесть тонн ванильного мороженого

Брат моего брата

1

Городишко назывался Линде. Двухэтажный, бедноватый, но по-немецки чинный, он располагался в двухстах километрах от Риги на восточном берегу Даугавы. Отца перевели сюда из Германии, где он служил военным летчиком.

Старая кирха с островерхой колокольней, из которой разносились угрюмые звуки органа, два ресторана, две парикмахерских и один кинотеатр составляли культурную жизнь Линде. Еще был замок – скорбная махина из дикого камня, с пузатой башней и невпопад звонящими часами. Замок с парком, озером, мельницей и пустырем когда-то принадлежали барону фон Виттенгофу, верховному госпитальеру Тевтонского ордена. На баронских землях и расквартировался гарнизон.

В замке расположился дом офицеров. С библиотекой, бильярдной, буфетом и кинозалом, который в праздники превращался в банкетный зал. Аэродром построили километрах в десяти. Во время ночных полетов было хорошо слышно, как «МиГи» прогревают движки на форсаже. Впрочем, и латыши, и армейские к шуму истребителей постепенно привыкли, рев моторов влился в птичий гомон и шум деревьев, стал частью звукового фона местной жизни.

От тевтонской суровости замка не осталось и следа: военное начальство приказало стены оштукатурить, жесть готических крыш солдаты покрасили в шоколадный цвет, отчего на закате розовобокый замок приобретал кокетливый вид кондитерского изделия. Заднюю стену белить не стали, ее камни нависали над озером, стена уходила прямо в коричневую воду. Там желтели упругие кувшинки, на их круглых листьях грелись стрекозы.

На дальнем берегу стояли ивы, а дальше тянулся пустырь, заросший дремучими лопухами. Там, среди лопухов, белела часовня с узкими стрельчатыми окнами и облезлым куполом. Дверь была накрест заколочена досками, в окно едва пролезала ладонь. Внутри можно было разглядеть лишь грязный шахматный пол да кусок лестницы, ведущий куда-то вниз. По слухам, ступени вели в подземный ход, именно там были зарыты сокровища барона. Утверждали, что он приказал замуровать живьем свою неверную жену в одной из стен часовни. Кое-кто из местных видел даже призрак, разгуливающий по ночному озеру.

Часовня и репейное поле принадлежали нам, взрослые тут не появлялись. Здесь произошло легендарное побоище между «финнами» и «белодомцами». Летчики с семьями жили в финских домиках, а в двух трехэтажках из белого кирпича обитали семьи техсостава аэродрома.

Сражения на деревянных мечах постепенно сменились игрой в индейцев, здесь же, в лопухах, я учился курить, помню липкий портвейн из теплой бутылки, горький рижский бальзам с барбарисками на закуску.

Тут я учился драться. Дрались мы по-джентльменски, до первой крови, ногами не били, и, хотя напоминало это английский кулачный бой, синяки, разбитые брови и носы после поединков выглядели совершенно по-хулигански. Здесь я учился целоваться, постигал искусство расстегивания крючков, пуговиц и петелек. Надо сказать, что это умение пригодилось в дальнейшем куда больше, чем мой коронный хук с левой или апперкот, которому меня обучил Серега Козлов.

У часовни я первый раз увидел Яну, она стояла с Шурочкой Авиловой и другими гарнизонными девчонками, смеялась, покусывая длинную травинку с метелкой на конце. На ней было желтое платье, такое яркое на фоне беленой стены, что у меня перехватило дыхание. Каникулы подходили к концу, было жарко, с берега горьковато тянуло костром и вареными раками. Яна улыбалась, морщила веснушчатый нос, от заката ее загорелые плечи и лицо казались оранжевыми, а волосы сияли. Я остолбенел, боясь пошевелиться, услышал, как над головой тихо гудят телеграфные провода, за лесом еле слышно пыхтит локомотив, а над озером кто-то зовет какую-то Вику.

Я был уверен, что никого красивей я не встречал в жизни. Тогда мне только исполнилось пятнадцать, сейчас, спустя двадцать девять лет, я по-прежнему придерживаюсь того же мнения.

В жизни не так много моментов, которые действительно имеют значение. Обычно ты их замечаешь лишь после того, как они уже промчались. Задним числом, оглядываясь, с недоумением осознаешь, что только по невероятной случайности ты оказался именно там и именно тогда. Мне повезло – свой звездный момент я распознал с ходу. У старой часовни меня пронзила уверенность, что эта рыжая девчонка в желтом платье перевернет мою жизнь.

Я желал этих перемен, ощущал кожей их волшебное приближение. Будучи уже достаточно взрослым для принятия решений, я в то же время оставался вполне наивным, чтобы решения эти стали причиной целой череды бед.

Солнце покраснело и запуталось в макушках парка, от деревьев протянулись фиолетовые тени, башенные часы пробили три раза, потом нерешительно звякнули еще раз. Я продолжал пребывать в почти религиозном предвкушении чуда, кто-то крикнул: «Айда на плотину!», и наша компания шумно двинулась сквозь лопухи в сторону водонапорной башни. Я оглянулся и поймал Янин взгляд. Мне показалось, нет, я был почти уверен, что она мне кивнула.

Меня кто-то больно ткнул в ребра, я с разворота хотел влепить наглецу, но Валет цепко схватил мой кулак и, заломив руку за спину, крикнул мне в лицо:

– Втюрился! В лахудру чухонскую втюрился!

Внутриутробные месяцы, проведенные бок о бок с Валетом, оказались самыми безмятежными за все время наших братских отношений. Мать рожала в гарнизонном госпитале, я появился первым – быстро и без проблем. Валету повезло меньше: армейские эскулапы вытаскивали его щипцами и умудрились сломать берцовую кость. Родители боялись, что он так и останется хромым, первые годы брат постоянно болел, долго не говорил, поздно начал ходить. Мне кажется, что именно тогда Валет раз и навсегда решил, что я являюсь причиной всех его напастей. И пусть в пятом классе он уже лучше меня играл в футбол, а к концу школы даже перерос на пару сантиметров, любви ко мне он не питал по-прежнему.

Не будучи одинаковыми, мы были очень похожи – нас путали и в яслях, и в детском саду, и в школе. На новогодней фотографии мы сидим на коленях у Деда Мороза – даже родители не могли точно сказать, где я, а где Валет. В книгах и кино близнецов непременно связывает дружба. Те вымышленные братья, симпатичные и остроумные проказники, подменяют друг друга на свиданиях и экзаменах, одновременно демонстрируя благородство, доброту и преданность. Мой брат в три года пытался отстричь мне ухо маникюрными ножницами, когда я спал. Шрам остался до сих пор.

Я был не ангел и платил брату той же монетой. Ни одно существо на свете не будило во мне столь лютой злобы. Наша щенячья возня обычно заканчивалась слезами, взрослея, мы перестали плакать, слезы сменились кровью из рассаженных губ и разбитых носов. Валет от злости бледнел, лицо его обострялось, приобретая какую-то волчью угловатость. Мне и в голову не приходило, что тогда я видел свое зеркальное отражение.

Нам не было и семи, когда мать умерла: родители возвращались с Кондорского озера, отец не вписался в поворот, и его «Урал», пробив заграждение, свалился в овраг. Гибель матери

наш мужской клан переживал поодиночке: мы с Валетом тайком друг от друга плакали, отецпил – его отстраняли от полетов, онпил еще больше – и от безысходной злобы на себя и весь мир лупил нас. Кожаный запах портупеи, белые рубцы от офицерского ремня, вонь ваксы сияющих сапог стали запахами моего детства и навсегда определили мое отношение к армии. Мы с Валетом продолжали колотить друг друга смертным боем, благо мать теперь не разнимала нас.

Отцу дали майора и сделали начальником эксплуатационной части, больше он не летал. Днем он гонял по гарнизону на открытом «газике», подражая командирам из американских фильмов про войну, вечерамипил пиво в офицерском буфете и до закрытия катал шары в биллиардной. Он раздался, заматерел, но по-прежнему был по-цыгански красив: смуглый, голубоглазый и без единого седого волоска в шевелюре. Как и раньше, форма сидела на нем щеголевато, ремни скрипели, пряжки сверкали, он ловко взбегал по лестнице, цокая подковками надраенных до зеркального блеска сапог. Изменились глаза – они стали тусклыми, будто погасли, я с трудом выносил его оловянный взгляд. В кобуре вместо табельного тупорылого «макарова» он носил привезенный из Германии изящный «браунинг», вороненый, с накладками из слоновой кости на рукоятке. Я могу только догадываться, что останавливало отца от того, чтобы не приставить ствол к виску и не нажать курок. Трусом он не был никогда, это уж точно.

2

Валет позвонил в пятницу.

Номер высветился какой-то тарабарский, я помешкал, но все-таки взял трубку. Последний раз я говорил с братом лет пятнадцать назад – сдуру сам позвонил в припадке благодушия. Видел же я его последний раз, когда нам было по семнадцать. Еще там, в Линде.

– Знаю, тебе плевать, – с обычной мрачной усмешкой в голосе проговорил Валет, – звоню для очистки совести. Вчера умер отец. Похороны в среду.

Меня ошарашило не столько само известие, сколько ощущение нереальности: я не только моментально узнал его голос, который спрессовал тридцать лет в ничто, главное, мне вдруг показался невозможным и нелепым я сам сегодняшний.словно я – пацан с цыпками на руках, прогульщик и двоечник, обрядился взрослым человеком и пытаюсь себя выдать за неведомо кого.

Я не произнес ни слова. Трубка уже пищала короткими гудками, я смотрел вниз на мокрые огни, уныло текущие в темноте; светофоры на перекрестке одновременно загорелись красным, ярко и болезненно, огни застыли. Светофор дал зеленый, и огни снова начали медленно плыть в сторону моста через Ист-Ривер. Часы на руке тихо цыкнули – наступила суббота, первая суббота октября.

Страшно захотелось выпить, я прошел на кухню, тесную, как встроенный шкаф, налил красного, подумал и выплеснул в раковину. Нашел в потемках бурбон, свернул пробку и сделал большой глоток прямо из бутылки. Рот обожгло, я глотнул еще.

Сел в продавленное кресло, пружина привычно уткнулась в бок. Уродливое кресло в турецких узорах вместе с дюжиной других мебельных калек досталось мне при разводе. Уверен, если бы мы не развелись, Лесли этот хлам выкинула бы на помойку. Думать о Лесли как о хищной мерзавке было приятно, но несправедливо, виноват во всем был только я. Удивительно, что она продержалась так долго – почти восемь лет. С ней повторилась та же история, что случалась и до, и после: невероятным чутьем рано или поздно они все чувствовали, что лишь замещают кого-то. Лесли была права, говоря: «Я – не Яна. И никогда ей не стану. И я не хочу до конца жизни видеть твой тоскливый взгляд. Ты как пес, потерявший хозяина, не живешь, а ждешь. Чего ты ждешь, сам-то хоть знаешь?»

Да, я знал. Я ждал Яну. Я до сих пор стоял у часовни и ждал ее, ждал, когда она придет, улыбнется и скажет: «Ну что, Чиж, готов?» Та сентябрьская ночь для меня так и не закончилась; я боюсь, она не кончится никогда. Какая-то часть меня до самой смерти так и будет ожидать ее там. А может, и после смерти.

Тем вечером я сложил в рюкзак все необходимое: джинсы, майку с портретом Джимми Хендрикса, летний верблюжий свитер, две кассеты «Битлз», бутылку крымского шампанского, украденную у отца, которую я рассчитывал откупорить уже в Риге и отпраздновать начало нашей новой жизни. Во внутреннем кармане куртки лежали билеты на утренний пятичасовой поезд, новенький паспорт и двести сорок рублей, что я скопил за последний год, подрабатывая у Гунтара.

На озере поднимался туман, он сползал с дальнего берега, путался в ивняке и камышах. Белесые клочья над водой стелились как дым. На луну и звезды тоже время от времени напознала молочная муть, звезды гасли, а луна становилась серой и плоской.

Свежо пахло крапивой и горьковатой осенней травой, ночи уже стали холодными, но у меня от волнения потели ладони. Я смотрел на часы, то и дело ощупывал карман с билетами, словно они могли испариться, доставал фонарик и, закрыв ладонью, щелкал кнопкой, проверяя батарейки. Ладонь светилась красным, я прятал фонарь и снова смотрел на фосфорный циферблат своих «Командирских».

Изредка по мосту у плотины, гремя на стыках, пронеслись невидимые грузовики, за чернотой деревьев в одном из финских домиков проснулся и заплакал ребенок. Часы в замке уныло пробили два, я вздрогнул, сердце заколотилось, я приложил запястье к уху, Командирские уверенно тикали и показывали час ночи. Яна должна была появиться с минуты на минуту.

Где-то едва слышно играла музыка, я узнал латышскую песню. Мужской голос подпевал от души и невпопад. В ночной тишине звуки казались громкими. Потом я услышал женский голос, он долетел с озера. Женщина вскрикнула, застонала, вскрикнула снова. Я улыбнулся, мы с Яной иногда сами устраивались там, у тех ив, она тайком приносила из дома одеяло, грубое и колючее. От этой мысли мне стало еще жарче, я поправил лямки рюкзака и нервно зашагал от часовни до лопухов и обратно.

Со станции прогудел локомотив, протяжно и тоскливо, лязгнули буфера, диспетчер что-то прохрипел по громкой связи, запутавшись в собственном эхе. Состав дернул и, тихо постукивая, покатил.

Без четверти два я уже не находил себе места, сердце выпрыгивало из груди и трепыхалось где-то в районе горла, я был уверен, что именно так случается инфаркт. Выкурив подряд три «примы» и кое-как дождавшись двух часов, я бросился через лопухи в сторону Латышской балки. Каждую секунду я надеялся, что мне навстречу из темноты вот-вот появится ее взлохмаченная шевелюра, она улыбнется и скажет: «Какой же ты все-таки нетерпеливый, Чиж!»

Я добежал до ее дома, – калитка не запиралась, – ломая хрустящие гладиолусы, я подкрался к ее окну. Осторожно толкнул раму, окно тихо распахнулось. Достал фонарик. Постель была аккуратно заправлена, три подушки стояли безукоризненной пирамидой, я провел желтым кругом по коврику на стене – знакомые лебеди, знакомый пруд. На одеяле сидел знакомый плюшевый мишка и держал в лапах лист бумаги.

Я подтянулся, перелез через подоконник, на цыпочках подошел к кровати. Записка оказалась на латышском. Написано было немного, но моих познаний хватило лишь на два слова «до свидания» и «люблю».

Я сложил листок, вернул его мишке и перемахнул в сад. Было ясно, что мы разминулись, она наверняка пошла кружной дорогой, решив не продирается сквозь репей впотьмах. Мне снова стало весело, я уже представлял себе эти сердитые брови и упертые в бедра кулаки: «Ну и где тебя черти носят?» – она, моя Яна, девчонка с норовом. Я даже засмеялся и припустил еще быстрее.

У часовни никого не было.

В четыре я оказался на станции. В зале ожидания не было ни души. Снаружи пахло паровозным дымом. По платформе бродил мрачный латыш-железнодорожник с вислыми сивыми усами. Он степенно засмолил мою «приму» и сказал, что в десять на Ригу проследовал фирменный «Даугава», в час сорок два отбыл семнадцатый скорый, стоянка три минуты, следующий будет в пять ноль три. Стоянка пять минут.

Я перебил. Усач укоризненно оглядел меня, но все-таки ответил, что да, на семнадцатый были пассажиры, но девицы с рыжими волосами он не помнит, была вроде какая-то, но он стоял у почтового вагона и разговаривал с Луцисом, с которым он работал в Даугавпилсе, а теперь Луцис возит почту, а он застрял в этом Линде, будь он неладен.

Я невпопад пробормотал «лудзу» и побрел вдоль перрона, глядя на полированную сталь рельсов. В лунном свете они казались синими и, темнея, уходили вдаль, постепенно сливаясь с чернотой.

Потом, в качающемся тамбуре, в прогорклой вони окурков и мокрого угля, я, всхлипывая, достал из рюкзака бутылку шампанского. Распахнув дверь в грохочущий проход между вагонов, я изо всех сил саданул бутылкой в стальной пол сцепки. Брызнули осколки, вино взорвалось пеной, резко запахло кислятиной и дрожжами. До Риги оставалось всего два часа.

3

Утро началось омерзительно: накануне я умудрился высосать треть бутылки бурбона. Разбудил меня телефон.

– Ник оделся и спрашивает, когда же придет папа? Вот я решила позвонить и узнать: когда же придет папа?

Голос Лесли исходил вежливым ядом. Я с отчаянием вспомнил, что сегодня суббота, и я обещал Нику пойти смотреть динозавров и чучело мамонта. А потом есть клубничное мороженое в парке у пруда, где пускают модели парусных лодок.

– Дай ему трубку, – сипло сказал я, нервно роясь в кухонном ящике в поисках аспирина.

– Эй, приятель, как ты? – начал я бодро, испытывая к себе быстро растущее отвращение. – У нас изменение планов, динозавров придется отложить до следующих выходных. Мне надо слетать в одно место, я вернусь, и мы с тобой сразу же пойдем смотреть динозавров. Лады?

– Лады... – уныло отозвался Ник. – А куда ты летишь?

Он застал меня врасплох. Дело в том, что вчера я в конце концов решил никуда не ехать. Проанализировав (не без помощи бурбона) свою реакцию на звонок Валета, я пришел к выводу, что будет мальчишеством сломя голову нестись на другое полушарие, в то место и к тем людям, от которых я сбежал тридцать лет назад и без которых я худо-бедно прожил почти всю взрослую жизнь.

– А подарок привезешь? – спросил Ник.

– Конечно! – тут же отозвался я.

– А какой?

– Ты не подумай, что я удивляюсь, – в трубке снова возникла вежливо-холодная Лесли, – нет, наоборот, твое поведение отличается последовательностью и даже предсказуемостью. Просто ты должен уяснить, что у меня могут быть свои планы, и если субботы, которые ты выторговывал с таким упорством, тебя не устраивают, ты должен...

– Звонил брат, – перебил я, – отец умер. Там, в Латвии.

Лесли замолчала, потом своим нормальным голосом сказала:

– Прости... – Помолчав, добавила: – Я думала, что он давно уже...

– Я тоже.

– Ты летишь?

Я не знал, что ответить.

– Черт его знает...

– А виза? – Лесли во всех ситуациях оставалась практичной. – Тебе ведь русские...

– Какие русские? Это теперь отдельное государство.

– А-а, ну да... Я забыла. – Она помолчала. – Ты сам как?

Я пожал плечами. Она не видела, но поняла:

– Я с Ником поговорю, езжай, если надо. Мне правда жаль... насчет отца.

Лесли была хорошей бабой, впрочем, как и все остальные. Проблема была во мне. Яна поняла это первой.

Я проглотил две таблетки, запил тепловатой водой из-под крана и включил компьютер. Прямых рейсов до Риги я не нашел. «Люфтганза» с пересадкой во Франкфурте была наиболее удачным вариантом.

4

Рижский международный аэропорт напомнил мне аэровокзал в Мидлберри – вермонтском захолустном городке, где я полтора года отучился в университете, пока не перевелся в Нью-Йорк. В прокате машин клерк, худой и сутулый, с острым гусиным кадыком, неприятно суетился и пытался мне всучить «Мерседес» или «Ягуар». Он заискивал, часто моргал и, развязно жестикулируя бледными руками, нес какую-то околесицу на отвратительном английском. Мне становилось все более неловко за него, и я, протянув кредитку и права, сказал, что возьму «фокус». Он сник, словно у него кончился завод, и покорно выдал ключи.

В бардачке оказалась карта, из аэропорта я решил проехать через город, пересечь Даугаву по мосту Вальдемара, а после рвануть на восток по Двадцать второму шоссе напрямик на Линде. В свое время я порядочно поколесил по Штатам, и расстояние в двести миль выглядело пустяковой прогулкой.

Уже на мосту, когда передо мной развернулась открыточная панорама с нарядными башнями и шпилями, я понял, что совершил ошибку. В Риге я прожил самый мрачный год своей жизни, и один вид этого города моментально возродил во мне тоску и отчаянье. Я запарковал машину.

Дойдя до синагоги, я свернул налево и направился в сторону Святого Якова. Ноги вспоминали горбатую брусчатку узких улиц, узнавались фасады и вывески, ставшие ярче и кокетливей. Тут они явно перегнули – старый город, лишившись трещин, пыли, корявых подпорок и серой трубной сажи, теперь походил на муляж. Деревья казались вымытыми с мылом, мелкие кусты были подстрижены и напоминали сидящих дошколят.

Горожане и редкие туристы проходили мимо, ныряя в густые тени и всплывая в солнечных прогалинах. Коровистая американка, одергивая своего мелкого мужа в парусиновых шортах, елозила пальцем по экрану «мака» и с южным акцентом возмущалась отсутствием на карте Домского собора. Я подошел, помог, тетка обдала меня теплой волной христианской признательности.

Дойдя до аптеки с кованой змеей на вывеске, я вспомнил, как стоял тут в такой же закатный час и не мог найти ни одной причины, чтобы жить дальше. Город что-то бормотал, не обращая на меня внимания; если бы ко мне подключили прибор по измерению отчаяния, то он бы зашкалил и, скорее всего, сгорел. Я никогда не был так одинок, чувство было абсолютным, ничего подобного я не испытывал ни до, ни после Риги.

Я добрел до Ратушной площади. Уже стемнело, желтые огни горели ярче и рассыпались мелочью по мокрому булыжнику мостовой. Я зашел в первую подвернувшуюся забегаловку, сел в угол и попросил коньяку.

Отчего Яна решила бежать одна? – этот вопрос не дает мне покоя и сейчас. Поначалу я просто сходил с ума, мне казалось, что даже ее смерть я пережил бы легче. Первые месяцы я пытался искать ее, метался по улицам, вздрагивая при виде каждой рыжеволосой, но Рига, после моего захолустья, оказалась гигантским городом.

Пытался искать я и Айвара, который собирался помочь нам с жильем на первых порах. Яна показывала мне письмо и фотографию – письмо было на латышском, а на фото Айвар выглядел белобрысым бородатым здоровяком. Она подтрунивала над моей ревностью, в конце концов я смирился и почти убедил себя, что викинг-красавец – не более чем друг детства.

Я знал, что скажу, когда случайно столкнусь с ними где-нибудь на улице или в парке, какие жалкие будут у них лица, как у нее будут дрожать губы, когда она будет оправдываться, а он угрюмо пялиться в землю.

Я устроился в порт. Работа в доках была грязная и тяжелая, но именно это и спасло меня – я едва вечером доползал до общаги. Времени и сил на мысли просто не оставалось.

Потом я начал готовиться, еще в Линде мы с Яной решили поступать в рижский Политех. Экзамены я не сдал и тут же получил повестку из военкомата. Мой бывший бригадир, Лиепиньш, матерый антисоветчик и пьяница, похожий на морского разбойника, пристроил меня на сейнер-холодильник «Гинтарас». Военкомат Бривибасского района на пару месяцев потерял мой след, я уже провонял насквозь балтийской сельдью и почти успокоился, когда Костя по секрету меня предупредил, что капитану пришло радио от военкома и что меня будут встречать в рижском порту.

На обратном пути сейнер попал в шторм, у нас заклинило винт, и шведы с грехом пополам дотащили «Гинтарас» до Стокгольма. Пока решали, вставить в док или дожидаться своих ремонтников, я стянул из медчасти резиновую перчатку, сунул туда паспорт и сиганул за борт. Шведы деликатно выудили меня и доставили в полицию, где обогрели и напоили чаем с ромом. К моему требованию связаться с American Embassy они отнеслись с пониманием, и вскоре в участок прикатил здоровенный негр в кремовом плаще и лайковых перчатках. Когда он их снял, руки его оказались темнее, чем кожа перчаток. Это был первый живой негр, увиденной мной.

Словарный запас подходил к концу, пробелы в языке я компенсировал жестикуляцией. Снова помог пьяница Лиепиньш: припоминая его антисоветский треп, я удачно вкручивал крамольные имена, названия каких-то правозащитных хартий; я так увлекся, что уже чувствовал себя отпетым диссидентом. Под конец, размотав резинку и шлепнув, будто козырным тузом, своим паспортом, я потребовал политического убежища. Негр пришел в восторг от моей смекалки в использовании медицинского инвентаря, басовито захохотал, а после, подмигнув по-свойски, заверил, что все будет о'кей.

Негр оказался прав – все сложилось довольно неплохо.

Мрачный малый с говяжьим лицом и в клерикально-черной униформе принес мне еще коньяку, я спросил его про гостиницу. Не меняя выражения лица, он весомо рубанул рукой на северо-восток, в сторону занавески, за которой прятался сортир.

Допив коньяк, я покинул душный зал и вышел наружу. Постоял в дверях, глядя на водяную пыль, клубящуюся вокруг фонаря, на зыбкие шпили костелов и башен, затейливо освещенных золотистым светом. Где-то далеко брэнчало дрянное пианино. Я поднял воротник и, следуя указанию пастора-официанта «норд-ост», пошел искать отель.

5

Следуя античной традиции, возвращаться домой из долгих странствий надлежит пешком и в лохмотьях странника, а не на «Форде» пожарного цвета. Вспомнив о Валете, я с сожалением

подумал, что зря отказался от того серебристого «Ягуара». Удивительно, но детское соперничество не сгнуло, оно вовсю бурлило во мне, искусно выдавая себя за принципиальность и желание справедливости. Сознать это было достаточно противно, и я решил считать, что мне плевать на Валета, что еду я только из-за отца.

Я инстинктивно потрогал затылок – зашивали меня той ночью гарнизонные лекари. Зашили добротнo, но неделикатно, шов прощупывался и сейчас.

Тогда я вернулся около десяти, на кухне горел свет, и оттуда в темный коридор полз пригорный дым – отец почему-то в последнее время стал курить «Золотое Руно» вместо «Тройки».

– А ну, поди сюда!

Мрачный тон мне не понравился, но я поплелся на кухню. Отец сидел на табуретке, подавшись вперед и широко расставив ноги в надраенных сапогах. Он исподлобья оглядел меня, словно прикидывая, сколько я вешу. Тут же был и Валет; прислонясь спиной к буфету, он шурился, как от солнца, и загадочно улыбался. У меня засосало под ложечкой, как перед дракой, я сунул руки в карманы и буркнул:

– Ну?

Отец казался трезвым, на нем была полевая униформа болотного цвета. На столе лежала красная повязка, судя по всему, он вечером сдал дежурство.

– Ты с кем это там шляешься?

Я не ответил.

– Ты с кем там шашни разводишь?

Я молча сжал кулаки в карманах. Отец, не сводя взгляда, закурил, прикусив зубами фильтр, сунул горелую спичку в коробок.

– Ты, сын боевого офицера, – отец зло затынулся, – связался с фашистской шалавой. Ты знаешь, что ее дед Гитлеру служил?!

Единственное, что я точно знал, так это то, что отвечать нельзя. Я знал, что именно этого и ждет Валет.

– Не смей оскорблять ее!

Отец хмыкнул и выпустил дым мне в лицо. Я мотнул головой и продолжил:

– И дед ее служил не Гитлеру, а был в лесных братях!

Отец засмеялся, резко и нехорошо:

– Братях? А кому твои братья служили? Не Гитлеру?

– Они сражались против оккупантов!

Отец свирепел моментально, его то ли цыганская, то ли казацкая кровь вскипала вмиг. Я не успел даже понять, что произошло, только кухня подскочила, словно качели, желтый свет брызнул в глаза, а чугунная раковина гулко запела, будто где-то в полях ударили в большой колокол. Боли не было, просто померк свет, и кто-то заботливый выключил мое сознание.

6

В десять я проскочил Огре, считай, треть пути позади. Меня пугала стремительность, с которой я приближался к Линде.

Слева то появлялась, то исчезала серая гладь Даугавы, прячась за убранные поля или проваливаясь за лысый песчаный холм с сосновым бором на макушке. Я заметил, что высокие и осанистые балтийские сосны, с голым стволом-мачтой, совсем не похожи на наши, американские – по-мужицки кряжистые и разлапистые.

Путь мой лежал на восток, солнце встало и уже не слепило глаза. В отдалении проплывали хутора, крыши амбаров, пустые поля с фигурками одиноких крестьян, за изгородями из камней паслись коровы цвета молочного шоколада.

Серебристая щель, вспыхнув, раскрылась круглым голубым озером с бревенчатым хутором на пологом берегу. Яна рассказывала, что на таком же хуторе на Зилани Эзерс прятался отряд ее деда. Их окружили и расстреляли, а хутор сожгли. Было это в июне пятьдесят шестого, за пять лет до ее рождения.

Тем нашим летом мы с Яной часто гоняли на Зилани. Семь километров на велике – не расстояние; дорога петляла проселками, по бокам желтели ржаные поля с точками васильков, знойный полдень звенел кузнечиками и стрижами.

Ближе к озеру дорога шла под гору, поля сменялись орешником и редкими осинами, постепенно мы въезжали в сосновый лес. Шины мягко катили по ковру из рыжих иголок, иногда звонко хрустела шишка под колесом. Здесь было свежо, даже прохладно, пахло смолой, неяркие лучи наполняли бор торжественным сиянием, похожим на свет в католических соборах. Взявшись за руки, мы молча спускались к воде.

В Зилани били ключи, вода была кристальной, можно отплыть от берега и наблюдать, как на глубине бродят темные рыбины. Мы купались, ныряли, валялись на белом, мелком, как соль, песке. Ловили раков. Яна бесстрашно совала руку в нору, не пищала, если рак прихватывал палец клешней.

Потом я собирал хворост, под берегом у нас был припрятан котелок, в котором мы варили раков или уху. Солнце садилось, плавно опускалось на верхушки сосен, а после выкладывало длинные тени по траве. Лес становился полосатым, Яна, зябко потирая ладонями плечи, накидывала мою рубаху, и мне казалось, что счастливей меня нет никого. Я верил, что наша связь предопределена свыше, что наши отношения особенные. Еще бы – ведь я пролил свою кровь и в доказательство мог даже предъявить свежий шрам на затылке.

– Мне запретили с тобой встречаться, – сказала Яна и пристально посмотрела мне в глаза. У нее были золотистые брови, изогнутые и строгие.

– Тоже? Да пошли они все... – Я махнул рукой. Яна меня перебила:

– Отец, когда узнал про... – она запнулась и потрогала свой затылок, – про госпиталь, сказал, что отправит меня к тетке в Даугавпилс. Если я с тобой не... – она искала слова, но не нашла. – Вот так.

– Да пошли они... – уже не так бодро повторил я.

Яниного отца я видел мельком, нечто по-латышски сумрачное с пепельно-стальной шевелюрой. С матерью столкнулся, когда околачивался у калитки их дома. Мать ее была похожа на артистку, на каблуках, тоже рыжая, с красными губами и такими же красными клипсами. Мне показалось, что я встречал ее раньше. Она остановилась, от нее загадочно пахло духами, чем-то волшебным-пряным; в нашей мужской коммуне ничего, кроме незатейливого «Тройного», не употреблялось. От ее веселого взгляда мне стало легко, и если бы я был поумней, то мог себе вообразить, в какую красотку превратится моя Яна лет через десять-пятнадцать.

– А вы есть сын того симпатичного майора? – спросила она, поигрывая брелоком на своей сумке. – Очень похожи.

Она говорила с акцентом, словно изображала иностранку в кино. На «вы» меня никто не называл, и я, не зная, что ответить, стоял и улыбался как дурак, глядя на блестящий брелок – маленькую Эйфелеву башню, – точно такой же я видел на ключах отца.

Тут на крыльце появилась Яна, она торопливо взяла меня за локоть и, не глядя на мать, сказала:

– Пошли, сеанс уже начинается.

Я, продолжая ухмыляться, рассеянно спросил:

– Какой сеанс?

Лишь позднее, уже дома, я вспомнил, где я видел ее мать. Она работала в офицерском буфете в замке.

7

Прав был античный смекалистый грек насчет реки: дважды не войти, но время – штука хитрая. И я не знал главного: по улицам Линде в эти дни уже разгуливал дьявол в образе часовщика, предлагая свои услуги. Меня всегда завораживала эта строчка из Хармса, но только здесь я понял, что он имел в виду.

Я проскочил Вороний Хутор – крыша амбара прогнулась, как спина клячи, а вот дуб совсем не изменился, да и что такое тридцать лет для дуба? Сверкнув стеклами, пронеслись мелкие домики, похожие на дачи, я взлетел на холм и сразу же увидел кирпичную водонапорную башню, ломтик озера и башню с часами. На пустыре среди бурых лопухов белела макушка часовни. Нашей часовни! Я съехал на обочину, остановился и вышел, не закрыв дверцу.

Здесь не изменилось ничего – даже облако, похожее на дервиша в чалме, зацепившееся за шпиль кирпичи, было из моего детства. Со станции донеслось бормотанье репродуктора, звякнули вагоны, я взглянул на часы – да, полуденный экспресс покати́л на Ржев.

Я прислонился к капоту. Полез за сигаретами, достал бумажник, паспорт. Сигарет не было. Вспомнил, что бросил курить лет двадцать назад, когда жил с китайкой и снимал чердак в Сохо. Впрочем, все эти факты вызывали сомнение. Паспорт с американским орлом казался ловко подстроенным трюком, а тридцать последних лет были не более реальны, чем просмотренное позавчера кино.

Янин дом штукатурили, пахло известкой, по мусору и стружкам ходили рабочие-латыши и весело переговаривались. Длинный парень окликнул меня. Я ничего не понял и, улыбнувшись, кивнул:

– Свейки!

Парень крикнул что-то в сторону дома, и в дверном проеме появилась Янина мать-актриса. Верней, это первое, что мне пришло в голову. Женщине было под сорок, она вытирала руки о передник и пристально разглядывала меня.

– Валет? – подходя, спросила она.

Это была сестра Яны, в те годы нечто рыжее, сопливое, путающееся под ногами. Я даже не вспомнил, как ее зовут.

– Чиж?!

Она тоже не знала моего имени, но отлично помнила мою кличку. Сквозь ее лицо вдруг проступило лицо Яны, проступило неуловимо, намеком. Это напоминало неудавшийся портрет, где вроде бы все черты похожи, все на месте, но что-то главное ускользнуло.

– А Яна где? – спросила она, разглядывая меня. От нее пахло детской: теплым молоком, пленками и еще чем-то вроде карамели.

Я поперхнулся, именно тот же вопрос застрял у меня в горле.

– Она же уехала с тобой. Вы же вместе... – Она запнулась, видя выражение моего лица.

Мы стояли молча, я пытался хоть кое-как собрать свою разлетевшуюся вдребезги вселенную.

– Она уехала одна, – странным, глухим голосом произнес я. – Там же записка... на латышском... я думал...

– Там написано, что она уезжает с тобой... – неуверенно проговорила сестра, губы ее затряслись, она по-девчоночьи сморщилась и зарыдала. Я взял ее за руку, но она зло вырвалась и, что-то крикнув мне по-латышски, побежала к дому.

Рабочие с хмурым интересом разглядывали меня и мою ядовито-красную машину.

Я доехал до Русского кладбища. Оставил машину, пошел по аллее. Уже за воротами вспомнил, что не запер дверь. Вернулся, машина оказалась закрытой.

Я побрел вдоль холмов и оград, крашенных серебрянкой. К невысоким обелискам были приделаны пропеллеры, дюралевые модели «МиГов», просто красные звезды. Здесь хоронили летчиков. Я узнавал молодые лица капитанов и майоров в керамических овалах, вспоминал фамилии. Четверо из наших соседей в разное время погибли во время полетов; Лихачев разбился при катапультировании, Миша Куцый утонул. Моя мать тоже лежала здесь.

Рядом с ее холмом зияла яма. Справа высилась гора песка, вперемешку с черным грунтом, торчали две лопаты с отполированными рукоятками. Тут же, в затоптанной траве, лежал на боку фанерный обелиск с моей фамилией, набитой черной краской по трафарету. В букве «р» краска подтекла, и она стала похожа на ноту. Я совершенно забыл, насколько звучна моя фамилия; тридцать лет она не означала ничего, кроме набора звуков явно славянского происхождения.

Вдали ухнул барабан, за ним нестройно завывли трубы. Мне жутко захотелось убежать, исчезнуть, я бы согласился очутиться в любом другом месте, где угодно, только не тут. Вместо этого я лишь отошел в сторону, покорно слушая, как грозно приближается пугающая какофония.

Над кустами показался гроб, обтянутый красной материей с черной бахромой. Он плыл, покачиваясь, а после из-за кустов появились и люди. Толпа оказалась гораздо многочисленней, чем я ожидал. Во главе процессии кособокий старик нес атласную подушку с медалями, на флангах, как македонские щиты, пестрели венки из гвоздик, астр и прочей гробовой флоры. Валет скользнул по мне взглядом, не задерживаясь.

Гроб опустили на козлы, рядом прислонили крышку. Я стиснул кулаки и осторожно заглянул в гроб, мне стало ясно, как я буду выглядеть в этой ситуации. Скуластое лицо отца изменилось мало, лишь слегка усохло и отливало лимонным, а волосы даже не поседели.

Подняв глаза, я увидел себя: с короткой стрижкой и в дурацком костюме, какой я бы сроду не надел. Вопреки моим надеждам, Валет не обрызг, не облысел, остался поджарым, как и я.

Начались речи. Старики в мешковатых пиджаках, с орденскими планками и медалями говорили долго, говорили одно и то же. О том, что подполковник Коршунов – настоящий советский офицер, настоящий летчик-истребитель, что таких больше не делают, что подонки-демократы развалили великую державу, уничтожили славную армию. Я, холодея, узнавал некоторых ораторов. Я помнил их веселыми мужиками, которые учили меня пить пиво и бить от борта в дальнюю лузу, я с ними ездил на рыбалку, где они варили мировую уху, жарили шашлыки по-карски, а после лихо хлестали водку и пели песни. И сам черт им был тогда не брат.

8

На выходе с кладбища в меня вцепилась какая-то крупная тетка с подведенными черным глазами. Она часто моргала, будто подмигивала.

– Чиж! Е-мое!

Я отстранился, от нее разило цветочными духами и потом.

– А я стою-думаю – он или не он! Ну мать твою...

Я улыбнулся, виновато пожал плечами.

Толстуха заморгала еще чаще:

– Во дает! Не узнает! Кто мне засос поставил в восьмом классе? На шее?

– Авилова? – неуверенно сказал я, изо всех сил стараясь найти хоть малейшее сходство с той Шурочкой Авиловой, румяной и сдобной хохотушкой, напоминавшей задорных девах с немецких игральных карт.

– А кралечка где твоя?

– Не знаю. – Я закашлялся и украдкой вытер щеку от жирной помады.

– Во дела! – она всплеснула руками в крупных фальшивых бриллиантах. – Такая любовь была – чума! Побег под покровом ночи!

Авилова затащила меня в автобус и припечатала мощным крупом к стенке. Старики, кряхтя и чертыхаясь, рассаживались, водитель по-хозяйски оглядел салон, сплюнул в окно и дал газ. На поминки я ехать не собирался. На поминки ехать не следовало.

Авилова болтала без умолку. Ругала московских демократов, требовала справедливости, возмущалась, что без латышского эти чертовы лабусы теперь никуда не берут. Когда перебазируют аэродром за Урал, всех отставников бросили здесь – живите как хотите! – она тоже дура, осталась. Работала тогда в парикмахерской на вокзале, ничего себе работенка, культурно и чаевые, а после лабусы открыли салон в городе – и все, хоть на панель иди.

– А как там, в Америке, парикмахерши, – до фига небось зашибают? В кино у их баб волос сильный, укладка, цвет. Я тоже, вон, когда мелирование на фольге освоила, ко мне запись за месяц была. Из Плявиниса приезжала клиентура, даже певица одна, как же ее? – ну как ее? Во, блин, склероз!

Столы накрыли под рябинами, прямо перед нашим финским домом. В детстве он мне казался царскими хоромами, на деле же был не больше скворечника и напоминал дачную баню. Старики, толкаясь, занимали места. Звенели тарелками, кто-то закурил. Вокруг деловито сновали крепкие тетki неопределенного возраста в нарядных платьях с блестками. Из дома к столу караваном плыли миски, кастрюли, бутылки. Под ногами шныряли дети.

Стульев не хватило, Авилова усадила меня на лавку, сама плюхнулась рядом. Тут же с невероятным проворством навалила в две тарелки всякой снеди, наполнила до краев рюмки.

– Ну, погнали! – подмигнув обоими глазами, выпалила она. – За встречу!

Я выпил. Выудил соленый огурец.

– Ты холодца покушай! – жуя и наливая водку, весело сказала она. – Небось привык там барбекью всякую есть! И джин-тоник, да? А тут простая русская еда... Простая, но полезная... Ну давай, Чиж, понеслись!

И она, запрокинув голову, влила в себя водку.

В моей тарелке растекался холодец, погребенный под винегретом, бок картофелины набух свекольным соком, кусок селедки угодил в оливье. Я поковырялся вилкой и понял, что не голоден.

– Да-а, батяня у тебя был... – хмельно качнувшись и закуривая, мечтательно проговорила Авилова. – Мужик!

Она выпустила клуб дыма и снова налила водки.

– Давай за бату твоего!

Мы выпили. Она курила, щурилась и покусывала губы, словно что-то припоминая.

– Это он под конец сдал, а до этого и на лыжах, и на рыбалку... Таких лещей вялил! Спинка жирная, ошкуришь его, а он прозрачный, аж светится! Утощал... А когда тетя Инга умерла, тут уж он... – Она махнула рукой.

– Какая тетя Инга?

– Во дает! Совсем в Америке память отшибло? Тетя Инга! Считай, теща твоя, мать Янкина.

На секунду мне показалось, что я ослышался. Или Авилова спьяну несет чушь.

– Ты чего мелешь, Шур?

– Ну ты, Чиж... – Она возмущенно закинула ногу, выставив круглую коленку с синяком из-под стола. – Это ж такой роман был, ты чего!

Я представил остроглазую задорную буфетчицу с копной волос из рыжего хмеля и своего отца, мрачного, перетянутого португепями и застегнутого на все пуговицы майора.

– Когда? – тихо спросил я.

– Чего когда? Да мы еще учились в школе... Ты че, правда не знал?

Воробьи подбирали крошки и, уже вконец обнаглев, прыгали у самых ног; на другом конце стола запели про пиджак сброшенный и непостоянную любовь, пели нудно, с деревенским завыванием. Дядя Слава, который учил меня кататься на коньках, проливал водку и пытался сказать какой-то тост, но его никто не слушал, и он в третий раз начинал: «А вот когда во время Карибского кризиса нас с Гошей отправили на Кубу...»

В сигаретном дыму Валет, распустив галстук, спорил с каким-то стариком, хмуро тыча в него пальцем. Этот жест был знаком мне с детства. Я налил водки и залпом выпил.

Шурочка тоже выпила, порылась в сумке и снова закурила. Протянула пачку и мне, я зачем-то закурил тоже. Курить было противно, я бросил сигарету под лавку и придушил ее каблуком.

Во рту осела табачная горечь, от дрянной водки голова гудела и начинала болеть.

Я твердо решил, что сейчас же незаметно выползу из-за стола, доберусь до машины и уеду в Ригу, но вместо этого чокнулся с краснолицым толстяком, похожим на Бисмарка, и выпил еще.

Меня развезло. Я слушал обрывки бестолковых разговоров и звон посуды; казалось, что на лицо мне садится паутина, я вяло обтирался рукой и отплевывался. Шурочка бубнила не переставая, прерываясь на свое «ну, погнались!», после чего по-мужицки зычно крякала и шумно занюхивала хлебом. Пахло укропным рассолом и киснувшим оливье, кто-то жгучим шепотом, давясь от смеха, рассказывал похабный анекдот, кто-то бесконечно повторял: «А вот я, грешным делом, люблю...», но расслышать, что он там любит, мне так и не удалось.

Я разглядывал старческие лица, уродливые руки в пятнах, с узловатыми пальцами, и мне становилось тоскливо и бесконечно жаль этих никчемных, никому не нужных людей. Я смотрел на Шурочку, на ее дряблое лицо, похожее на сырое тесто, на сальные губы в остатках помады, и отвращение во мне мешалось с невыносимой жалостью. Было жаль и пыльных воробьев, суесящихся под ногами, и пожелтевшей рябины, и надрывно каркающих, кружащих над репейным полем ворон. Потом мне стало жаль себя и своей бестолковой, уже почти прожитой жизни.

Я вспомнил, как мы с Яной гуляли по пустырю за Еврейским кладбищем и разрабатывали тайный план побега, мечтали о нашей будущей жизни. Она говорила, что мы вернемся в Линде через десять лет, у нас будет двое детей, девочка выйдет рыженькой, а мальчик будет черноволосым. И вся наша родня увидит, как мы счастливы и любим друг друга, они все поймут и простят.

Я резко повернулся к Шурочке:

– Авилова, а когда ты узнала про Ригу? Про наш план?

Шурочка застыла с вороватым кроличьим выражением, было ясно, что сейчас она начнет врать. Я огляделся, Валета за столом не было.

Входная дверь была распахнута настежь, я прошел через темный предбанник коридора. Здесь по-прежнему стоял крепкий дух сапужной ваксы. Валета я нашел в дальней комнате, которая у нас почему-то называлась гостиной. Ничего не изменилось и тут: рыжий абажур, на стене свадебная фотография, похожая на старомодную открытку на тему любви, рядом в раме из ракушек – мать под сочинской пальмой. На другой стене – варварский натюрморт с омаром в окружении овощей и фруктов.

Валет сидел за круглым столом в тусклом конусе желтого абажурного света, перед ним лежали медали, армейские значки, погонные звезды, кокарды. Рядом стояла пузатая бутылка «Плиски», уже наполовину пустая. В руках Валет держал отцовский «браунинг». Он поднял голову, безразлично посмотрел на меня. В канифольном свете, похожем на мутную озерную воду, его лицо было старым и уставшим. Он отвинтил пробку, сделал глоток.

– Будешь?

Я выдвинул стул, сел. Коньяк обжег горло, оставив теплую горечь во рту.
– Возьми на память что-нибудь... – Он кивнул на медали и значки. – Если хочешь.
Я молча разглядывал золотистые крылышки, пропеллеры и звездочки. Выбрал гвардейский значок с рубиновой звездой и знаменем, убрал в карман.
– Дети есть? – спросил Валет.
Я ответил:
– Пацан...
– Это хорошо. У меня две девки... Восемь и двенадцать.
– Женат?
– Уже нет, – хмыкнул он. – Слава богу. А ты?
Я не ответил. Он гладил вороненую сталь «браунинга», его руки – крупные, загорелые – были точной копией моих. На правой синела татуировка.
– Ты знал, что мы с Яной собираемся бежать?
Валет первый раз посмотрел мне прямо в глаза.
– Чиж, ты что? – Он усмехнулся и начал выравнивать медали на столе. – Сто лет прошло, конец прошлого века...
– Авилова тогда к тебе липла... она растрепала?
Валет огрызнулся:
– Отстань, Чиж, не помню я. Забыл, понимаешь? И ты забудь.
– Я бы с удовольствием, да вот не получается. Никак не получается.
Валет отпил из бутылки, придвинул ее мне. Я пить не стал.
– Я тридцать лет с этим живу, понимаешь? – Я сжал кулак. – Тридцать лет я пытаюсь понять, почему она уехала без меня? Тридцать лет!
– Тридцать лет? Да ты за эти тридцать лет бате так и не позвонил! Ведь ни разу не позвонил, сволочь! – Валет грохнул ладонью по столу так, что медали звякнули. – Проваливай в свою Америку, не трави душу!
Я видел, как у него чуть подрагивали пальцы, он тоже заметил и сжал кулак. Я наклонился над столом и тихо сказал:
– Ты мне не указывай, колченогий.
Это был удар ниже пояса. Валет хромал до третьего класса.
Брат застыл, глаза его сузились. Ствол «браунинга» смотрел мне в грудь.
Я слотнул. Валет тихо проговорил:
– Правды захотел, сучонок? Будет тебе правда...
Он поперхнулся, кулаком вытер губы.
– Сдала вас Шурочка, с потрохами сдала. Я ее отодрал разок. Как сидорову козу. На островах. На песочке прибрежном...
Валет резко засмеялся, он начал говорить торопливо, словно боялся, что не успеет.
– Она-то все и выложила. Когда, куда... Хитер, думаю, Чижик-пыжик! Удрать задумал, сукин сын! Ну поезжай, мне же лучше, комната моей будет. А потом решил, что надо напоследок проучить Чижка. Чтоб знал...

9

Комната исчезла. Я увидел неяркие звезды, на тусклую луну напозла молочная муть. Увидел туман, он сползал с дальнего берега и стелился по озеру, как дым. Часы в замке проббили два, где-то заплакал ребенок. В слободе играла музыка, кто-то горланил латышскую песню.
Я увидел Валета, как он, пригнувшись, подобрался к темному окну, тихо постучал. Почти сразу приоткрылась рама. Яна, взглядываясь в ночь, удивленно прошептала:
– Чиж? Мы же договорились у часовни...

– Туда нельзя, – быстро перебил ее Валет, прикрывая рот ладонью. – Там караваевские бухают, у часовни. Мы у ивы переждем, а после сразу на станцию.

Яна скрылась в темноте комнаты.

– Держи! – Она подала Валету дорожную сумку. Потом ловко соскочила в траву и аккуратно закрыла раму.

Валет, закинув сумку за спину, развернулся и быстро пошел. Яна догнала его, пошла следом.

– Через Еврейское кладбище пойдем, – бросил он через плечо, – чтоб не нарваться на кого-нибудь.

Они пошли кружной дорогой, сначала через овраг, там было темно, лишь внизу тускло сиял ручей, потом тропа запетляла среди жухлого малинника, после поднялись на холм, утыканный вросшими в бурьян надгробиями. Запыхавшись, вышли к озеру, добрались до ивы. Там к стволу были привязаны две лодки, еще одна лежала вверх дном на берегу. Валет кинул сумку, сел на лодку, закурил. Яна перевела дыхание, подошла ближе.

– Валет. – Это уже был не вопрос, она хмуро смотрела ему в лицо.

Он выпустил дым, сплюнул и усмехнулся.

– Догадливая.

– Где Чиж? – Яна сжала кулаки.

– Угомонись. Мне потолковать с тобой надо, прежде чем вы в Ригу сорветесь.

– Откуда ты...

Валет засмеялся:

– Вот бабы! Шурка твоя все растрепала. Вы ж что кошки – вам брюшко почеси...

Яна потянулась за сумкой, Валет перехватил ее руку.

– Да погоди ты...

Она выпрямилась, брезгливо высвободила руку:

– Давай говори, что хотел.

Валет щелчком отправил оранжевый огонек окурка в темноту.

– Ян, ты же умная баба. На хера тебе этот мозгляк дался? Тем более в Риге. Он же сопляк, не мужик, да никогда мужиком и не станет. Я его с пеленок знаю, он всю жизнь чудиком малахольным был...

Яна усмехнулась:

– Понятно. Ты, значит, себя предлагаешь взамен? Так, что ли?

Валет, ухмыляясь, откинулся на локти.

– А что? Я суну – ты и разницы не почувешь, а уж по части техники он мне и не конкурент вовсе. Да тебе Шурка небось хвастала?

Яна молчала, потом тихо произнесла:

– Ну и мразь же ты... Что ты, что папаша твой!

Валет пружиной вскочил с лодки, Яна отпрянула, но он цепко ухватил ее за ворот куртки.

– Ну да! – сипло зашептал он ей в лицо. – А ты такая же шалава, как мать твоя, потаскуха рыжая.

Он с силой рванул пояс юбки, материя затрещала, Яна вскрикнула, сделала шаг назад и, размахнувшись, ударила его кулаком в лицо. Валет удивленно охнул, из носа и губы брызнула кровь:

– Ах ты... Тварь фашистская!

Яна вырвалась, побежала. Валет прыгнул ей на спину, повалил на землю и подмял под себя. Она хотела крикнуть, он зажал ей рот, другой рукой сдавил горло. Он налегал всем телом, его кровь капала ей на лицо, Яна хрипела, брыкалась. Потом в горле у нее что-то хрустнуло, она вытянулась и затихла.

– Вот тварь... лицо разбила... тварь.

Валет, пятясь на карачках, отполз к стволу. Тут его вырвало. Он хотел закурить, но руки ходили ходуном, спички ломались, он со злостью выплюнул сигарету и зашвырнул коробок в воду.

– Сама виновата... тварь, – забормотал он, горбясь и потирая руки, будто от холода, а глаза, не моргая, смотрели на труп.

10

– Там лодки были, я у лихачевской цепь выдрал якорную, у него гиря чугунная вместо якоря была, пудовая. – Валет говорил, глядя куда-то мимо меня. – Я ее этой цепью обмотал, короче, подгрёб к омуту, там, за ивами, где сомов брали, помнишь? А сумку сжег после. Даже не раскрывал. Сжег, и все.

Я смотрел на дрожащую черную дыру в стволе «браунинга», на медали, разложенные по столу, на пузатую бутылку болгарского коньяка... И видел, как Валет волок мертвую Яну к лодке, обматывал цепью, осторожно, чтоб не шуметь, опускал в воду. Как она погружалась в коричневую воду, как гиря тянула ее на дно, а волосы неспешно струились, словно водоросли. А я в это время стоял у часовни и ждал ее.

Валет, не выпуская пистолета, подвинул к себе коньяк. Отвинтил пробку и, запрокинув голову, сделал большой глоток.

– Проучить я вас хотел... – сказал он, морщась и вытирая рот ладонью.

Я отпихнул стол, целясь ему в живот. Валет, взмахнув руками, завалился назад вместе со стулом, ножки у стола треснули, и столешница рухнула, рассыпая медали и осколки бутылки по полу. Я отбросил свой стул и, прыгнув Валету на грудь, кулаком ударил в лицо. Он звонко стукнулся затылком в пол и застыл. Браунинг лежал у ножки кровати, я дотянулся до него. Валет замычал и открыл глаза. От него пахло «Тройным» одеколоном, прямо из нашего детства. Я приставил ствол к его лбу.

– Сволочь... – прохрипел он. – Давай...

– Ты мне всю жизнь испоганил, паскуда! – зарычал я, вдавливая ствол ему в лоб.

Валет оскалится, засмеялся, губы у него были разбиты в кровь:

– Наша кровь, коршуновская. Жми, братан, не робей!

Под моим локтем колотилось его сердце, палец ощущал тугую пружину курка, я сипло и часто дышал, чувствуя, как во мне растет какой-то страшный звериный восторг, словно я научился летать и вот сейчас взвьюсь прямо под облака. Ничего подобно я не испытывал в жизни.

Потом я увидел его глаза, в них не было страха – только торжество и превосходство.

Когда я вышел, уже смеркалось. Поминки выдыхались. Тянуло самоварным дымком, по столу были расставлены свечи и керосиновые лампы, они коптели, от подрагивающих огней вокруг бродили фиолетовые тени.

Я пошел вдоль озера, постоял у ив, вода совсем не двигалась, и казалось, что по ней запросто можно дойти до того берега, где замок сливался с деревьями парка и чернел на фоне гаснущего неба. Я достал «браунинг», бросил его в воду.

Начал накрапывать дождь, я направился к часовне, пошел напрямик через репейник, как мы ходили в детстве. Двери по-прежнему были заколочены, здесь не изменилось ничего. Я нашел на северной стене, рядом с окном, имя, которое выцарапал тридцать лет назад. Провел пальцем по каждой букве. Да, все на месте. Буква «А» тогда получилось хромой, нож сломался.

Я поднял голову, крупные капли били по лицу, начинался ливень. Пошарив по карманам, нашел ключи от своей нью-йоркской квартиры. Выбрав подлиннее и с острой кромкой, я доцарапал ножку у «А». Это было единственное, что я мог исправить.

АГНОСТИК

– Даже не однофамилец, – отвечал обычно Куинджи, вежливо улыбаясь. – Ни эллинов, ни татар в роду не имею, – сухо добавлял он, глядя в глаза собеседнику и энергично потирая сильные загорелые руки.

Такими руками можно запросто задушить человека, однако Ларс Куинджи предпочитал расправляться со своими жертвами более изящным и изобретательным образом – при помощи слов.

1

Все утро накрапывал нудный дождь, а после обеда поднялся северный ветер и, бодро растолкав серое стадо туч, вмиг расчистил октябрьское небо. Оно оказалось ярким и синим, словно свежеекращенным.

С верхних этажей «Кондор-Трайбеки» распахивался бескрайний горизонт, и тевтонское слово «ландшафт» теряло оловянную тяжесть и наполнялось свежим, воздушным смыслом. Прямо на восток, за ажурным мостом, как на ладони лежал весь Бруклин: кубики красных домов на Краун-Хиллс, мертвые трубы заброшенной фабрики Кристи, справа тянулись и исчезали в рыжей листве Сансет-парка плоские, покрытые варом и утыканые спутниковыми тарелками крыши китайского квартала. Над ними кругами носились голуби, а дальше сквозь дымку проступало «чертово колесо» на Кони-Айленд. При желании можно было даже различить горошины кабинок. За колесом угадывался океан.

Чико, девятнадцатилетний мойщик окон, тихо насвистывал *Bésame mucho* и разглядывал «чертово колесо». Оно казалось неподвижным, но на самом деле едва заметно вращалось. По горизонту, словно мишень в ярмарочном тире, пополз прозрачный силуэт океанского судна. Разобрать, под каким флагом корабль, оказалось делом дохлым. Зазевавшись, Чико забыл пристегнуть карабин. Сорвавшись и пролетев почти полторы сотни метров, он упал на крышу экскурсионного автобуса из Алабамы.

Ларс Куинджи только что вышел из душа и как раз выбирал галстук, когда услышал полицейские сирены. Ларс, с мокрыми волосами, голый и загорелый, прошлепал босиком на балкон. Не касаясь перил, вытянул шею, пытаясь заглянуть вниз. С высоты сорок второго этажа улица выглядела обычно – желтые букашки такси, белые гусеницы автобусов, муравьи-пешеходы. На соседней башне, покачиваясь на ветру, висела пустая люлька. Десять минут назад Ларс с завистью разглядывал парня, бесстрашно орудующего длинной шваброй, у него самого потели ладони от одной мысли оказаться в хлипкой корзинке на такой высоте.

Ларс поежился и вернулся в спальню. Выдернул лимонный галстук, прихватив двумя пальцами, приложил к голой груди. Пожевал губами, глядясь в зеркало, после одобрительно кивнул и бросил галстук на кровать. Галстук золотым угрем упал в косо́й солнечный луч, деливший пол спальни и кровать по диагонали.

Куинджи было за пятьдесят. Поджарый и жилистый, он и сегодня мог влезть в джинсы, которые носил в университете. У него было породистое, чуть лошадиное лицо, матовый крутой лоб с залысинами, хищные хрящеватые уши и крепкий нос с высокой горбинкой, которая всегда обгорала на солнце. В четыре года у него обнаружили астму. От лекарств толку не было, он кашлял и задыхался. Как утопающий, вцепившийся в спасательный круг, Ларс ни на секунду не расставался с ингалятором, даже во сне он сжимал в кулаке спасительный баллончик. Через год, сменив с десятков врачей, мать разыскала какую-то знахарку-хорватку, которая посовето-

вала давать Ларсу свиную кровь. Каждое утро мать приносила ему стакан свежей крови из мясной лавки. Потом его на год увезли в Палермо. К августу астма прошла – итальянский климат помог или свиная кровь, сказать трудно, но Ларса до сих пор передергивает от того сладковатого, ржавого привкуса. От Палермо в памяти осталась какая-то слепящая рябь, лазерные пятна и Поко-Пикколо – портовый дурачок, навсегда вселивший в Ларса ужас сойти с ума. Он донимал мать расспросами, и та, по простоте душевной, ляпнула, что таким манером Господь карает непослушных мальчиков. Что и говорить – босоногий Пикколо надолго стал главным героем ночных кошмаров маленького Куинджи. А после, в зрелые годы, уже называя себя агностиком и посмеиваясь над религиозными ритуалами, бесами и загробной жизнью, он часто и всерьез задумывался над тем, в каких же потемках и по каким сумрачным долинам блуждает разум безумца.

Ларс с досадой оглядел просторную спальню, светлое окно во всю стену, яркое небо, макушки небоскребов Уолл-стрит, которые, как недомерки, привстав на цыпочки, пытались заглянуть в комнату.

«Вот ведь глупость, – раздраженно подумал Куинджи, – угробить чертову уйму денег и не сметь выйти на балкон!»

Он патологически боялся высоты. На смотровых площадках и мостах у него кружилась голова, ноги подгибались и становились ватными, накатывала дурнота. Он знал наверняка, что никогда и ни за какие деньги не прыгнет с парашютом. Да он и не собирался. До переезда в Трайбеку он относился к своей акрофобии снисходительно, как к нелепой причуде психики, в целом устойчивой и рациональной.

Куинджи скучал по своему прежнему жилью – допотопному особняку на Вест-сайд, кривобокому и узкому, словно стиснутому с боков двумя такими же домами-пенсионерами. Фасад, выложенный диким красноватым камнем, был похож на поджаристое овсяное печенье. В сумрачных комнатах пахло пылью и мастикой, лестницы с резными перилами круто взбирались вверх и скрипели на все лады. Как ему не хватало этого скрипа! Камин, с черным, как ад, зевом за кованой решеткой, кожаные кресла-великаны, беспощадно убаюкивающие свои жертвы, толстые, вытертые ковры из неведомых восточных стран – Куинджи, закрыв глаза, запросто мог вспомнить каждую царапину, каждый узор.

– Вот ведь глупость, – громко произнес он, глядя в зеркало; зазеркальный Куинджи не спорил.

Причина переезда была нелепа, Ларс осознавал это, но поделать с собой ничего не мог: однажды, проснувшись среди ночи, он с тошнотворной ясностью представил себе, как стареет. Как он стремительно и необратимо дряхлеет вот на этой самой кровати, похожей на древний катафалк, а из тусклой бронзы рам, насмешливо топорща тараканьи усища, на процесс распада взирают зализанные антикварные господа в кружевных воротниках и морские пейзажи с одинокими кораблями в бурных волнах. Ему послышалось даже, что особняк по-стариковски вздыхает и сердобольно кряхтит трухлявыми балками, мол, ну что поделаешь, брат, все там будем.

С той ночи Куинджи стало казаться, что дом затеял состарить его, злокозненно обволакивая пыльной паутиной уюта. Вырваться из сонного плена турецкого дивана или мягкой хватки плечистых кресел становилось все трудней. Арестантские полоски жалюзи ложились на пол при закате, рассветная муть встречала зловещим крестом оконного переплета на потолке. В любой, едва приметной трещине на стене, чешуйке облупившейся краски дверной рамы, в сладковатом запахе гнилой воды в цветочных вазах Куинджи чудился приговор. Он был готов поклясться, что его тело стремительно стареет вместе с домом и что он физически ощущает этот процесс. Ларс, холодея, вглядывался в зеркало, а за его спиной хохотали и гримасничали тени.

Избавление пришло внезапно: Тима Кларка в конце концов переманили в голливудский филиал, и он великодушно уступил свой пентхаус в «Кондоре» Ларсу Куинджи. Две башни в Трайбеке уже достраивались, сдача была намечена на август. Спортивный клуб, SPA с ловкими тайландскими массажистками, бассейн, скоростные лифты, чуть ли не каррарский мрамор и скандинавский дизайн, но главное – вид: верхние этажи разошлись еще до закладки фундамента. В строительной конторе Куинджи разглядывал глянцевые каталоги, нежно гладил образцы черного камня и зеркального паркета; после, улыбаясь, подписал контракт и тут же внес аванс.

2

Если б не Ивонна, Ларс ни за что не согласился бы пойти на эту премьеру, совсем не его статус – какая-то захудалая труппа то ли из Польши, то ли из Литвы, фамилию режиссера, состоящую из почти одних согласных, невозможно было не то что запомнить – выговорить. Наверняка будут умолять написать рецензию в «Таймс» или «Нью-Йоркер».

«К черту пошлю! Решительно и бесповоротно, – ворчал Ларс, выбирая запонки. – Сам факт моего присутствия на спектакле уже выводит этот балаган на незаслуженно высокий уровень. С них и этого хватит. Не говоря уже об убитом вечере».

Он, проходя на кухню, щелкнул пультом, телевизор включился и приглушенно забубнил. На канале NYOne шли местные новости, с вертолета показали дом Ларса, соседнюю башню, пустую люльку. Потом возникла энергичная мулатка в интеллигентских очках и с микрофоном: она тараторила, кивая на красный автобус с надписью «Алабама – родина храбрых». За ее спиной сгрудились прохожие, сновали медики и полиция.

Ларс вытащил из холодильника оранжевую потную бутылку сока, сделал пару глотков из горлышка.

– Хорош трепаться, погоду давай! – недовольно крикнул он мулатке, которая как раз пыталась заарканить какого-то доктора, воинственно тыча в него микрофоном. Ларс возмущенно защелкал по каналам, ничего не найдя, быстро выдохся и выключил телевизор.

Считая себя демократом, Куинджи запросто ездил в подземке, пил в жару дешевый «Бадвайзер», бегал трусцой вдоль Гудзона в застиранном спортивном костюме. Тот факт, что он влиятельный критик (иногда его называли «самым влиятельным», он пожимал плечами и кивал: «К вашим услугам!») и что его голос, пожалуй, решающий в совете директоров «Девятого канала», лишь добавлял его демократизму пикантности. Он любил поболтать с таксистом, по-свойски схлестнуться с барменом или официантом на тему бейсбола. Он всегда оставлял щедрые чаевые, не столько по причине природной расточительности, сколько из кармических соображений.

С кармой дела обстояли неважно, шансы на рай были невелики: лишь в последние годы Ларс стал помягче и пообходительней, а в начале карьеры он подписывал критические статьи псевдонимом Бритва. Псевдоним соответствовал и форме, и содержанию. Сегодня эти статьи зубрят студенты на факультетах журналистики.

Куинджи с ходу уяснил, что критиков никто не любит, поэтому и не пытался понравиться. Главное – чтоб запомнили. Это для начала.

Тогдашняя театральная критика отличалась вегетарианским простодушием. Его маститые коллеги пересказывали содержание пьесы, вяло поругивали или флегматично похваливали режиссера, а в конце перечисляли фамилии актеров. Критикессы напирали на костюмы и декорации, стервы непременно сообщали, что Джульетте за сорок, а Медея – жена режиссера. Такое называли «острой критикой», и это считалось почти скандалом.

Куинджи смерчем ворвался в эту затхлую богадельню, рухнул метеоритом в лесное болото. Мужья, краснея от хохота, вслух читали за ужином его статьи, офисные остряки заучивали трескучие пассажи, коллеги-журналисты пытались подражать стилю, воровали звонкие глаголы и сочные прилагательные. Бритва стал известен и почти знаменит.

Появились деньги. Все складывалось просто великолепно: ведь тот зануда, который утверждает, что слава и деньги не приносят счастья, как правило, не обладает ни тем ни другим.

Цель оправдывает средства – Куинджи не скромничал. Эрудит, трудяга и почти полиглот, он днями просиживал в архивах и библиотеках, а ночами по десять раз переписывал статью, снова и снова, до тех пор, пока каждое слово не било в яблочко. После его рецензии старик Сазерленд свалился с инсультом. Ларс в интервью «Третьему каналу» заявил, что искусство требует жертв, и после еще что-то добавил по-латыни, равнодушно почесывая подбородок.

Он стал часто появляться в разных программах. Ведущие его уже побаивались, особенно после того, как Куинджи в прямом эфире разорвал в клочья задиру О'Райли. После еще минут пятнадцать задавал ему вопросы, как двоечнику, а под конец встал и сказал, что хотя передача еще не кончилась, у него нет ни малейшего интереса тратить время на беседу с невеждой и дураком, и посоветовал телезрителям тоже заняться чем-нибудь полезным. Извинился и вышел из студии.

3

У Ивонны не было ноги, и это здорово усложняло дело – так бы Ларс давно уже ее бросил. По крайней мере, именно этим он оправдывал непомерно затянувшиеся отношения, которые он толком не мог даже классифицировать. Ну да, он с ней спал, но это тоже ни о чем не говорило.

Ивонна обладала редким даром: каждое слово, жест, улыбка, даже и не улыбка – тень, улыбалась она скупно, лишь бровями, само ее присутствие ощущалось как благодеяние, как милость. Ларса бесило ощущение задолженности, ощущение, что его благодетельствовали, не спросив согласия.

Она почти не хромала: потеряла ногу в семь лет, с ее слов – угодив под газонокосилку на родительском ранчо где-то в окрестностях Цинциннати. Ивонна научилась ловко ходить на протезе, ее походка напоминала плавный танец, с едва заметным акцентом в нечетной доле. Эта синкопа придавала ей некоторый шарм, если, конечно, не знать, что левая ступня сделана из пластика телесного цвета.

Когда Куинджи первый раз увидел протез, он сразу и не понял, даже сморозил какую-то глупость про грязную пятку – обе ноги торчали из-под простыни, у искусственной подошва казалась темней, и пальцы были спаяны вместе, как кусок мыла. Кто мог вообразить, что у этой гордячки, которой он домогался с непонятной даже ему самому настойчивостью почти месяц, окажется такой дефект?

Куинджи остановил выбор на темно-синем двубортном пиджаке и серых твидовых брюках. Он думал о том, что хорошо бы сейчас плюнуть на хромоножку, рвануть в «Ла Гуардию», оттуда – первым рейсом на Сент-Джон, нанять там яхту, а ночью, развалившись на палубе, пить сладковатый местный ром и глазеть в черное звездное небо. Такие звезды бывают только на экваторе: сперва видны самые яркие, после проступают потусклее, а под конец, когда глаза привыкнут к темноте, вдруг открывается черная бездна, усыпанная едва различимой звездной пылью, живой и подмигивающей. И такая восторженная жуть берет, будто узнал самую жгучую тайну на свете. А утром, совсем рано, когда солнце только-только...

Распахнулась входная дверь, влетел сквозняк. Вместе с ним вошла Ивонна.

– Гольй! – с презрительным возмущением констатировала она, звонко шлепнув себя по бедру лайковыми перчатками брусничного цвета. – Мойщик там убился, крышу автобуса насквозь пробил.

Ивонна опоздала родиться лет на сто. В сегодняшней наскоро скроенной Америке она казалась насквозь пропитанной траурным югендштилем, берлинским декадансом кануна хрустальных ночей и высокомерным пренебрежением ко всему румяному и здоровому. Бронзовые виньетки массивного ошейника с аметистами повторяли пренебрежительный изгиб ее бровей, ей действительно было наплевать на то, что вы о ней думаете, и она этого не скрывала. Куинджи никогда не испытывал к женщине подобного чувства – какой-то болезненной тяги пополам с ненавистью, жутковатой гремучей смеси, приправленной хорошо замаскированным страхом, в котором он не признавался даже себе. Это напоминало его проклятую высотобоязнь. И было похоже на ощущение, когда, закрыв глаза, ведешь рукой по шершавой стене, боясь напороться на ржавый гвоздь.

В такси Ивонна тут же достала телефон и стала проверять почту, выставив вверх костлявое колено в молочном чулке. Ларс от скуки пытался разобрать фамилию шофера на карточке – сквозь мутный пластик проступало нечто славянское и непомерно длинное. От Ивонны пахло чем-то пряным, приторным, Ларс, гордящийся среди прочего и своим обонянием, безуспешно пытался определить запах, равнодушно разглядывая кирпичные стены, разрисованные уродливыми граффити.

Уже проехали Колумбийский университет – мимо проскочили почти царские ворота с колоннами и львами, над мельтешней хищных пик ограды викингами пронеслись рыжие клены. Въехав в Гарлем, свернули с Бродвея, тут же влетели в колдобину, шофер непонятно, но с душой выругался.

Больные деревья, кособокие машины у тротуара, тусклые лица – все выглядело выгоревшим и пыльным. Зачастили облезлые вывески на испанском.

– Долго еще? – тихо спросил Ларс, чуть тронув локоть Ивонны.

– Уже... почти... там, – с расстановкой проговорила она, не отрываясь от экрана.

– Ну и дыра... – пробормотал Ларс себе под нос, зло отвернувшись к окну.

Пунцовый кусок заката промелькнул в щели между домов, ослепив на миг, и тут же окрасив все вокруг темно-фиолетовым.

«Все, хватит! Сегодня же! – Ларс сунул кулаки в карманы брюк. – Сразу же после этого дурацкого балагана! К чертовой матери! Соплячка...»

4

Опасения Ларса оправдались – место оказалось настоящей дырой. Когда-то здесь располагался отель, очевидно, не без претензий, на облупившемся фасаде по гвоздям, к которым крепилась вывеска, можно было разобрать название – «Ницца». Судя по всему, последняя волна нелегальной эмиграции из Мексики, наводнившая соседние кварталы, угробила заведение. Ларс тоскливо прикинул, что лет через тридцать вся Америка превратится в нечто подобное: трухлявая «Ницца», а вокруг – крепкий дух жареного лука, треньканье гитар и пыльные лачуги, набитые коренастым, веселым народцем.

«А я буду лежать на палубе и глазеть в звездное небо», – подумал он, распахивая перед Ивонной тяжеленную дверь.

Противный запах обдал их, разило намокшим старьем и скипидаром.

«Красят они тут, что ли...» – брезгливо ступая по грязному мрамору, подумал Куинджи.

На электричестве явно сэкономили, желтые лампы горели вполнакала, колонны, толстые и грязные, как слоновьи ноги, уходили вверх и что-то там подпирали. Потолок лишь угадывался в темноте, на стенах проступали аляповатые приморские виды, скорее всего, именно Ниццы, с одинаковыми пальмами и треугольными парусами на горизонте. Пожухнув, фрески неожиданно приобрели выигрышный античный вид.

У стен топтался какой-то люд, поодиночке и группами. Через распахнутую дверь было видно, как бритый наголо здоровяк в белой рубаше переставляет на барной стойке поблескивающие бутылки. Из той же двери появился долговязый старик. Замер, вытянув индюшачью шею, огляделся и, чуть подпрыгивая на тощих ногах, бодро направился к Ларсу.

– Такая честь! – хватая ладонь Куинджи обеими руками, холодными и сухими, проговорил он актерским баритоном, неприятно приближая свое дряблое лицо. – Шталмейстер труппы Отто Кранц.

При этом он подмигнул Ивонне и франтовато щелкнул каблуками.

Ларс с брезгливой аккуратностью вытянул кисть из стариковой хватки, сунул в карман. Хотелось вымыть руки. Все было нехорошо, жутко. Куинджи кивнул, притворно зевая, отвернулся, чтобы скрыть гадливое выражение.

На старике была тесноватая фрачная пара, к лацкану приколот какой-то маскарадный орден с фальшивым рубином и скрещенными мечами. Шталмейстер Кранц был высок и костляв, впалые виски в старческих пятнах, белые адмиральские бакенбарды, глаза рачьи, вокруг темные круги.

Старик важно пыжился и тут же угодливо кланялся, складываясь, как столярный метр, при этом рот у него кривился вправо, а шея вытягивалась, как у черепахи, так что был виден серый край нечистого воротника. К Ивонне он не обращался, лишь изредка поглядывал, моргая и пуча глаза.

– Современного зрителя не устраивает традиционный театр, современный зритель желает новых ощущений. – Старик презрительно выпятил сизую губу с фиолетовой горошиной, он явно не испытывал симпатии к современному зрителю. – Им катарсис подавай, да такой, чтоб до потрохов пробрало. До костного мозга чтоб!

Ивонна хмыкнула, а шталмейстер довольно ухмыльнулся и сладострастно повторил:

– До мозга чтоб!

Старик перевел дыхание и, чуть не захлебнувшись от пафоса, продолжил:

– Тело! Тело есть мера всех вещей и истина в чистом виде, мой дорогой мистер Куинджи! Слово написанное – ложь, слово произнесенное – ложь вдвойне. У слов одна цель – извращать, маскировать, приукрашивать. Короче, лгать. Не так ли, мистер Куинджи?

Ларсу казалось, что над ним издеваются. Он слушал, кивал, сухо улыбался, стиснув зубы. Старик взглянул в глаза, по-волчьи ощерился и азартно продолжил:

– Движение, жест – вот критерий истины, ибо тело есть носитель правды. Паганини, играя на скрипке, уже лукавит, лукавит произвольно, веруя, что через него говорит Бог. Наивно забывая, что между ним и аудиторией возникает посредник – скрипка, вносящая неизбежное искажение в божественный текст послания.

Некто юркий с собачьим взглядом поднес напитки. Куинджи хотел отказаться, но, представив, как старикан будет уламывать его, плюнул и взял высокий стакан. Оказалось что-то» цитрусовое с граппой. Тут же появилась проворная муха, настырно пытавшаяся сесть то на край стакана, то на рукав.

Старик, словно вспомнив что-то, схватил Ларса за локоть:

– А вот такой вопрос, не сочтите за бестактность, господин Куинджи, философского свойства: что для вас важнее – выиграть, незаметно смухлевав, или же проиграть, честно соблюдая все правила? А?

Ивонна, отгоняя муху, фыркнула и проговорила, глядя в нарисованные на дальней стене морские просторы:

– У мистера Куинджи косточки врагов похрустывают под каблуком. Что январский снежок. Идет и собой любит.

Ивонна обожала говорить подобные гадости, особенно прилюдно. Ларса удивило, что он даже не рассердился. «Все верно, к черту! Уже не важно, пусть болтает, – подумал он. – Сегодня же, сразу же после балагана!»

В этот момент Отто Кранц ловким, кошачьим жестом поймал назойливую муху, молниеносно сцапав ее жменю с плеча Куинджи. Поднес кулак к уху, загадочно улыбаясь, прислушался, а после вдруг сунул муху в рот и проглотил.

Ларса чуть не вырвало.

Кранц близоруко моргнул и простодушно произнес:

– Щекочется.

5

Ударил гонг. Тяжелый медный звук траурно поплыл по фойе. Публика потянулась к распахнутым дверям.

Прежде здесь, должно быть, располагался ресторанный зал. С высокими колоннами и тяжелыми портьерами цвета запекшейся крови, циклопическими коваными люстрами на цепях. Сейчас люстры не горели, пыльные столы были сдвинуты в дальний угол рядом с полукруглой сценой, освещенной сверху слабым красноватым прожектором. Стулья, кое-как расставленные по сумрачному залу, сформировали кривые ряды. Паркетный пол даже не подмели.

«Если режиссер ставил задачу вызвать чувство омерзения еще до начала спектакля, то он успешно с ней справился», – подумал Куинджи, садясь в большое кресло, церемонно указанное Кранцем. Ивонна придвинула стул, села рядом, закурила и, стряхивая пепел на пол, принялась разглядывать зрителей. Те безучастно и молча, как статисты, рассаживались. Публики оказалось мало – большинство мест остались пустыми.

Ларс крутил в руках стакан, стекло стало теплым и липким, от приторной смеси слегка мутило. Он поставил стакан на пол, пристроив к ножке кресла. Теперь липкими казались и пальцы, и ладони, опять мучительно хотелось вымыть руки.

Свет на сцене погас. В темноте мерцающей точкой краснела сигарета Ивонны. Слева шумно дышал старик, от него тянуло чем-то кислым.

«Мухами», – угрюмо подумал Куинджи, ощущая растущее раздражение. Сидеть в полной темноте казалось глупо и унижительно.

– Это что? – сердитым шепотом спросил он.

– О! – скрипнув стулом, тут же отозвался старик. – Это Шекспир!

«Новаторы хреновы!»

У Ларса вдруг закружилась голова, непроглядная темень, утратив форму зала, постепенно стала вытягиваться, разрастаться, постепенно превращаясь в бездну. Он вцепился в поручни, зажмурился, ощущая, как сжалось сердце и перехватило дыхание. Из живота, медленно поднимаясь вверх к горлу, подкатила волна ужаса, как тогда, в детстве, когда, заходясь в кашле, он был уверен: еще мгновение – и он задохнется. Удивительно, Ларс исцелился от астмы тысячу лет назад, а страх смерти, испытанный тогда, навсегда притаился где-то внутри, не тускнея и не слабея.

Снова ударил гонг. На сцене зажглась жидкая красная подсветка. Сознанию оказалось достаточно такой ничтожной зацепки, чтобы расставить все по своим местам – появился твердый пол, обозначился не столь уж высокий потолок. Горло отпустило, Ларс осторожно вдохнул. Мокрая рубаха прилипла к спине и противно холодила кожу. Мутный пунцовый свет вдруг

напомнил Ларсу о детском увлечении фотографией: он тогда соорудил в кладовке настоящую лабораторию – с черным шестикратным увеличителем на штанге, большими кюветами и красной лампой на витом шнуре. На фотобумаге, опущенной в раствор, проступали в красном мареве какие-то неясные пятна, которые волшебным образом постепенно собирались в знакомое лицо или привычный пейзаж.

На сцене творилось нечто подобное – в вязкой мерцающей красноте скорее угадывалось происходящее, разум, ухватившись за узнаваемый нюанс, тут же дофантазировал картину. Сначала Ларсу почудился гигантский паук, он перебирал лапами и покачивался в такт глухому и мерному барабану – казалось, что где-то совсем далеко проходит парад и оттуда доносится утробное «бух-бух-бух». Потом паук распался – четыре мима, изогнувшись мостиком, по-крабьи расползлись по углам сцены. Из темноты в центр величаво выступил, почти выплыл, некто в короне. Он не отбрасывал тени, и Ларс с удивлением заметил, что ноги актера не касались пола.

– Это знаменитая «Мышеловка», – скрипнув стулом, восторженно шипел сзади Кранц. – Убийство Гонзаго.

Король тем временем растянулся на сцене, пристроив корону на животе. Крабы, помедлив, осторожно начали сжимать кольцо вокруг спящего. Барабанный бой нарастал, будто приближался. К нему добавилось гулкое эхо, казалось, что невидимый парад переместился в глубокое ущелье. Крабы обвинили спящего, клубок тел забился в конвульсиях и вдруг замер. Из узла человеческих тел вытянулась вверх рука с короной.

– Где же принц? – тихо спросил Куинджи с нотой сарказма, откинув голову назад.

– Я здесь, – неожиданно ответила Ивонна.

– Ты? – Ларс резко повернулся к ней, лица было не разглядеть, лишь красный блик в волосах.

– Как? Вы не знали? – встрепенулся старик, точно испугавшись. – Госпожа Ландау... ну как же... «Терра Берлиника» прошлого года, «Золото Рейна» в Штутгарте, в Лондоне с Редгрейв, премия Лоуренса Оливье?

Куинджи давно уже не следил за театральными новостями – да и не генеральское это дело, критические статьи писал за него дрессированный молодняк, Ларс слегка редактировал текст и ставил подпись. Управление каналом и потасовки в совете директоров отнимали все время. Фамилия Ландау напомнила ему какой-то давний скандал, что-то связанное с семейной драмой – то ли убийство, то ли самоубийство. Ларс даже вспомнил имя – Максимилиан, точно, Максимилиан Ландау. Режиссер Ландау. Куинджи разгромил его «Тартюфа», спектакль сняли сразу после премьеры. Так, значит, Ивонна...

– Роль Гамлета и раньше успешно исполняли женщины, – с суетливым азартом влез старик, словно боясь, что его перебьют, – божественная Сара Бернар...

– ...и тоже без ноги, – брякнул Ларс, цепenea от сказанного и не понимая, как такое могло сорваться у него с языка.

Ему показалось, что темнота справа набухла и налилась высоковольтным электричеством, как грозовая туча. Боковым зрением он увидел, что Ивонна не спеша стянула перчатку с правой руки, эта голая рука показалась Ларсу бледной и безжизненной, как у манекена. Ивонна небрежным жестом бросила перчатку на пол, потом, щелкнув чем-то у запястья, отделила правую кисть и аккуратно опустила бледно-розовый протез рядом с ножкой стула.

6

Барабан уже гремел во всю мощь, бил под дых, пробирая до мурашек. Сердце, попав в резонанс, беспомощно прыгало в грудной клетке и бухало в такт с барабаном.

Тем временем на сцене клубок человеческих тел превратился в многоногое-многорукое чудовище, которое медленно сползло в зал и, раскачиваясь, направилось прямо к Ларсу. Одна из рук держала острозубую корону.

В красноватом полумраке зала возникло движение: зрители вставали и неспешно приблизились к Куинджи. Одни злорадно скалились, другие были деловито скучны. У некоторых вместо голов из воротников торчали рыбы головы. Окружив, они подняли его вместе с креслом. Кто-то водрузил корону ему на голову. Ларс хотел вырваться, он решил сопротивляться, но по телу разлилась болезненная слабость, пробил холодный пот. Он почти терял сознание.

– Вино отравлено! Не пей вина, Гертруда! – с гадким смехом, кривляясь, прокричал снизу шталмейстер Кранц. Или это был не Кранц. Или это вообще только померещилось Ларсу.

Его несли, несли неспешно, будто саркофаг, будто жертвенное животное в нелепом и страшном языческом обряде. Куинджи, слабея, цеплялся за поручни кресла, красное марево раскачивалось и приближалось. Наконец кресло опустили на сцену. Куинджи поднял голову, прямо над ним горел тусклый красный софит. Взглянул вниз. Зал зиял слепой ямой, там колыхались щупальца и мокро мерцали рыбы морды. Ларс был почти уверен, что разглядел Ивонну. Ивонна улыбалась и обмахивалась протезом правой кисти, как веером.

Барабан смолк. Одновременно потух софит, Ларс услышал, как, тихо потрескивая, остывала лампа над головой. В нарастающей темноте проплыли красные круги, потом погасли и они. Куинджи ощущал, как в густеющем мраке происходит какое-то движение. Он уловил странные метаморфозы, не услышал, но, подобно летучей мыши, запеленговал это. Чувство пространства обострилось, ему снова почудилось, что стены, пол и потолок медленно тронулись и начинают разгон. Внизу, раскрываясь, разрасталась душная мгла, предгрозовая, липкая. Ларс судорожно сглотнул, еще раз. Во рту стало сухо, в горле першило, подступал спазм. Судорога острой болью сдавила грудную клетку. Ларс испуганно зажмурился, чувствуя, как на лице выступил пот. «Все, конец!» – метнулась мысль. Куинджи, сжав поручни, вдавил свое тело в кресло. «Спокойно, спокойно... надо успокоиться, – уговаривал он себя. – Надо успокоиться».

Ларс начал глубоко и мерно дышать, пытаясь представить пол, крепкий деревянный пол из ладных струганных досок. Поначалу пол зыбился, шел мелкой рябью, топорщась сучками и неровными стыками. Постепенно волнение улеглось, и пол застыл.

Воздух посвежел, откуда-то пахнуло морем. Послышался тихий звон, словно кто-то пересыпал мелкие ракушки из ладони в ладонь. Донеслись едва слышимые детские голоса, они кого-то звали или дразнили. Ларсу удалось разобрать. Он разглядел и самого Поко-Пикколо – тот вполоборота стоял на границе светового круга, за которым гладкий дощатый пол тонул в непроглядной саже. Дурачок улыбался и манил, манил Куинджи рукой. Ларс с опаской привстал, осторожно выпрямился, сделал шаг. Еще один. Пикколо отступил во тьму. Ларс теперь различал его тщедушный силуэт, чернота уже не казалась такой непроглядной. Тощая фигурка удалялась, Ларс разглядел арку, за ней дверь. Пикколо радостно помахал рукой и исчез в проеме.

7

Там был коридор. Пол, бетонный и пыльный, шел под уклон, так что ноги переступали сами собой, ведя Куинджи от одного тусклого фонаря до другого. Бетонные плиты потрескались и лежали неровно, Ларс запнулся, упал, растянувшись во весь рост. Боль обрадовала его, он слизнул кровь с ладони. Вкуса он не ощутил, кровь оказалась пресной, как вода. Он помотал головой, зло сплюнул и, держась рукой за стену, побрел дальше.

Он сначала зачем-то считал фонари, но сбился на втором десятке. Теперь, приближаясь к очередной лампе, Ларс с размаху припечатывал ладонь к стене, пытаясь оставить на бетоне

кровавую метку. Стены стали влажными и скользкими, словно вспотели. Ларс удивленно заметил, что на этих стенах кровь не отпечатывалась.

Он спотыкался, шаркал подошвами, отгоняя мысль о тупике. Сколько минут или часов прошло, Куинджи даже не представлял, время текло рывками, чередуя сгустки подробнейших, бесконечно нудных фрагментов с безнадежно глухими провалами.

Коридор кончился и уперся в двойную высокую дверь, почти ворота. Куинджи без особой надежды, устало оперев ладони, толкнул обе створки. Дверь качнулась, тяжело подалась и медленно раскрылась без единого звука. От неожиданности Ларс даже не обрадовался. Он замер в нерешительности, вглядываясь в темноту.

Перед ним расстилалась пустошь, поросшая бурьяном и низким кустарником, дальше шли огороды, которые спускались к темной реке, неподвижной и маслянистой, как деготь, с зеленоватой лунной дорожкой. На той стороне реки виднелась мельница, чернело колесо, вдоль берега росли старые ивы. В лунном свете макушки их казались припорошенными инеем. За ивняком начинался луг, тоже серебристый от луны, он полого тянулся до самого горизонта. Неподвижность реки оказалась обманчивой, Ларс разглядел, как течение медленно-медленно уносит блестящий предмет цилиндрической формы. Это был ингалятор, которым в детстве он спасался от астмы, только размером с гондолу.

Куинджи сделал шаг, хмыкнул и развел руками, словно извиняясь перед кем-то. В дальнем углу сознания всплыла вялая мысль: «Что за бред? Я ведь в Нью-Йорке, на Манхэттене. Этого просто не может быть». Но глаза, постепенно привыкая к серой тьме, разглядывали все больше подробностей – это был не Манхэттен.

Сквозь кусты и чертополох проглядывал красноватый свет, там что-то вспыхивало и мерцало. Ларс перелез через невысокий забор из дикого камня, обогнул старую, треснувшую пополам яблоню, всю в уродливых наростах.

В ложине горел неяркий костер. Перед огнем на земле сидел босой парень, зябко выставив вперед худые грязные руки. На нем был рабочий комбинезон и широкий клепаный пояс с карабином, каким обычно пользуются верхолазы. Парень рассеянно глазел на огонь и тихонько насвистывал какую-то мексиканскую песенку. Пламя лизало ладони мексиканца, плясало между его пальцев – Куинджи это ясно видел. Он подошел ближе и окликнул парня. Тот повернулся, правая сторона лица пылала оранжевым, левая казалась фиолетовой дырой. Парень едва заметно улыбнулся и, кивнув головой в сторону реки, сказал:

– Уже скоро...

Ларс заметил, как в черноте дальнего берега возник неясный силуэт, в тишине послышался тихий всплеск, по лунной дорожке пошли круги, и она рассыпалась, как пригоршня мелких монет, а еще через мгновение на освещенном плесе показались уже две фигуры. По воде стелился туман, и Ларсу почудилось, что фигуры скользят прямо по воде, приближаясь к его берегу.

Над рекой и лугами плыла полная луна, неяркая и размытая, словно задернутая марлей. Проглядывали звезды. Легкая муть застилала все небо и неторопливо ползла на восток, где вдали грудились черные грозовые тучи, освещенные по краю зеленоватым светом.

Марля плавно разошлась, и в прореху выглянула луна. Черная прореха вытянулась и стала похожа на китайского дракона, сочная флуоресцентная луна оказалась сияющим драконьим глазом. По воде пробежало зеленоватое мерцанье, лучистое и яркое, словно отражение неоновой вывески. Волшебный свет переливался и манил, обещая покой и прохладу.

«Художники называют эту краску лимонный стронций, – раздалось в голове у Ларса. – Как странно, я ведь это все уже видел...»

В памяти его пронеслось воспоминание, скорее, тень воспоминания, о забытой картине с какой-то давней выставки, кажется, из России. «Или в музее? Где это было? Здесь? В Европе?»

Ни имени художника, ни названия пейзажа он вспомнить не мог, как и тогда, сразу же после выставки.

По небу чиркнула звезда. Куинджи знал, что нужно загадать желание. Ничего загадывать не пришлось: в берег уже уткнулся тростниковый плот, на котором стояла мать Ларса. Рядом, держась за ее руку, стоял и счастливо улыбался портовый дурачок Поко-Пикколо.

Ах, майн либер Августин!

*Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.*

Евгений Баратынский (1800–1844)

Часть первая

1

А подошвы были цвета застывшей карамели – Алекс едва удержался, чтобы не лизнуть их. Казалось даже, что от них пахнет не дорогой британской кожей, а сливочным пломбиром за девятнадцать. Тем приторно-сладким, в тепловатом, кляклом вафельном стаканчике, совсем тряпичном на ощупь... И дух этот, вперемешку с запахом горьковатой пыли и летнего зоопарка и тут же услужливо всплывшим в памяти оранжевым с белой лепниной круглым зданием метро, неказистое название которого он передразнивал на разные лады – «Черносоленская», «Кислобельская», – чем приводил в восторг родителей, видевшим в этом безусловные признаки юной литературной гениальности, на миг перенесли Алекса в его московское детство.

Из которого те же родители безжалостно выдернули его – «как морковку». И тривиальное сравнение, однажды придя ему на ум, уже навсегда застряло в голове.

Как морковку!

Теперь даже в овощном отделе при виде этих скучноватых рыжих корнеплодов на Алекса накатывала легкая волна сладкой жалости к себе.

– Да! Как морковку! Вы детство у меня украли! – кричал Алекс-подросток насупившимся родителям, махал рукой и, грохнув дверью, выскакивал на улицу.

Это – когда он еще жил с ними и ходил в ту тоскливую брайтонскую школу, провонявшую насквозь щами и потом.

...С суетливым завучем Марк Ароньчем, неизбежно прозванным «Макаронычем» – с вечно расстегнутой ширинкой и перемазанными мелом локтями, драчливыми братьями Коганами из Житомира и подсматриванием с крыши шашлычной поверх фанерных женских раздевалок на пляже.

2

Брайтон-Бич...

У Алекса тогда даже появился малороссийский акцент – и в русском, и в английском. Хотя, если честно, по-английски ни в школе, ни дома, ни тем более на улицах Брайтона особо никто и не разговаривал.

Говорили в основном даже и не на русском, а на какой-то замысловатой мешанине русского и украинского. С неожиданным вкраплением исковерканных обломков английского.

Тогда, впрочем, как это обычно бывало в критические моменты жизни их семьи, ситуацию спасла Мама Ната. Называть ее бабушкой никто не имел права.

Даже Алекс.

– Мальчика нужно спасти! Это ж наказание, а не школа!

Бывший завуч немецкого языка московской спецшколы – в чем-чем, а уж в школах-то она знала толк!

Как когда-то, в Москве, рассекая столицу по разноцветным диагоналям и радиусам метрополитена, Мама Ната, выйдя на пенсию, таскала за собой переваливающегося, как куль, укутанного в шарфы и платки поверх серой заячьей шубы Сашуленьку-Шуренку-Сашеньку то на скрипку, то на фигурное, даже на балет, правда, недолго, – при Большом, конкуренция была жуткой, и Алекса через месяц отсекли, так и теперь, в Америке, энергично раздавив окуроч в гжельском блюде (пепельниц она не признавала), Мама Ната повторила:

– Мальчика нужно спасать!

...И стала возить его в «настоящую американскую» школу – в Бруклине.

Сейчас, спустя годы, Мама Ната трансформировалась в памяти Алекса в некое полумифическое существо, что-то вроде Вондер-Вумен. Разумеется, без сексуальной составляющей.

Ему даже иногда казалось, что она не умерла, а просто растаяла, растворилась вместе с сизым дымом ее сигарет.

Просто исчезла, как, собственно, и положено исчезать дыму.

В крематории Алекс подозрительно косился на серую гипсовую крынку с давидовой звездой на макушке в руках отца – как могла костистая, громкая старуха уместиться там? В этой банке?

Последние годы ее жизни просочились совсем неприметно – Алекса уже не нужно было куда возить, родителям тоже было не до нее, они азартно грызлись друг с другом или же не разговаривали вовсе.

Мама Ната ненавидела Брайтон, на улицу почти не выходила.

– Бердичев! – презрительно кивала она в сторону входной двери.

Сидела в старом кресле фиштаккового цвета, грязноватом и сильно выгоревшем с правой стороны. Кресло было развернуто к окну – в узкой щели между домов был виден лоскутик океана с молочно-мутными силуэтами кораблей на горизонте.

Нещадно куря вонючий «Кэмел» без фильтра («Казбек», который она курила в Москве, здесь, естественно, не продавался), Мама Ната пристально, словно опасаясь что-то пропустить, вглядывалась в просвет между домов – туда, где было видно чуть-чуть воды и совсем немного неба. Иногда, отложив сигарету, чуть фальшивя, играла на губной гармошке. Одну и ту же мелодию:

Ах, майн либер Августин, Августин, Августин!
Ах, майн либер Августин,
Аллес форбай.

Песенка эта относилась к наиболее ранним воспоминаниям Алекса.

В четыре года он всю уже распевал немецкий текст под бабушкин аккомпанемент, вытягиваясь на крашенном грязноватой охрой табурете с кухни и срывая нетрезвые овации глянцево-краснолицих в белых нейлоновых рубашках папиных коллег из Мосплодоовощторга на всех домашних торжествах и вечеринках.

– Наумыч! – хлопали они отца по белой нейлоновой спине. – Санек-то, а?! Вундеркинд!

Алекс знал значение этого немецкого слова, но к славе относился спокойно, как к само собой разумеющемуся факту.

Знал Алекс и перевод песни, неожиданно грустный при столь игриво-разухабистой (по немецким меркам, разумеется) мелодии:

Ах, любимый Августин!
Все в этом мире лишь дым!
Где смазливые подружки?
Где веселые пирушки?
Где тугие кошельки?
Все исчезло без следа, да, да, да...

Такие вот примерно слова там были... ну или что-то вроде этого.

3

В «настоящей» школе южнороссийский выговор быстро исчез – даже русский акцент в его английском стал почти неприметен, остался лишь какой-то птичий присвист в шипящих. В английском их, шипящих, немного – поэтому Алекса почти всегда принимали за коренного американца.

Относительно его лингвистических способностей родители, которые, кстати сказать, сами так и не выучились английскому, оказались правы.

Правда, лишь отчасти...

Университет Лонг-Айленда дал Алексу все необходимое для вступления во взрослую жизнь.

Умение лихо, одним глотком выпивать пинту пива, курить марихуану не кашляя и, конечно, диплом, который сейчас висел под мутным стеклом в пыльной рамке на стене его крошечного офиса без окон, больше похожего на кладовку их квартиры на Пресне, чем на рабочий кабинет старшего составителя рекламных текстов одного из ведущих агентств Нью-Йорка.

Алекс еще раз понюхал подошвы и бережно поставил ботинки на кровать.

– М-м-м! Ваниль!

Чайка за окном, сидевшая на перекладине насквозь проржавевшей пожарной лестницы, склонила голову и уставилась в Алекса любопытной пуговкой черного глаза.

Алексу птицы не нравились. Вообще. Особенно не любил он чаек, и, пожалуй, еще ворон. К мелким, типа воробьев, относился с брезгливой безразличностью.

Алекс схватил ботинок, замахнулся, сделал вид, что бросает. Птица присела, сделав вид, что испугалась. Хотя ведь даже глупой чайке было ясно, что между ними стекло и что никто не станет кидаться ботинками за двести долларов.

4

Он сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Лихо скользя по кафельным пролетам, с замиранием сердца представлял страшные царапины и шрамы, покрывающие теперь карамельные подошвы его девственных ботинок. Распахнул тугую дверь.

Божеественно!

Кристофер-стрит по утрам выглядит почти невинно, если не всматриваться, конечно, в витрины некоторых магазинчиков. Зевающий Эрик с розовым оттиском подушечного шва с пуговицей на щеке упругой струей смывал ключья пены с мостовой перед своим баром. Отчаянно пахло земляничным шампунем.

– Хо! – увидев Алекса, проснулся Эрик и округлил рот с аккуратной щеточкой усиков, делавшим его похожим на Фредди Меркури. – Выглядишь очаровательно! – И чмокнул воздух влажными губами: – Персик!

– Спасибо! – Алекс солидно одернул пиджак. – Презентация начальству.

– Удачи!

– Пока!

Алекс мельком скопил глаза в пролетающую мимо витрину булочной – действительно потрясно! Костюм, двубортный, в тончайшую серебристую полоску, с едва уловимым чикагско-гангстерским привкусом, но прежде всего классический, нет – Классический с большой буквы костюм – новенький, с иголки, как и великолепно сияющие английские ботинки, да еще галстук, лимонный, подчеркивающий неординарность мышления, креативность, так сказать, – все это вместе прямо и недвусмысленно заявляло: «Посудите сами, господин директор, Алекс Грин – импозантный, талантливый профессионал, за три года проявил себя с наилучшей

стороны – явно заслуживает быть творческим директором отдела медикаментов. Подумайте, господин Старк, подумайте».

5

Кстати, вторую часть своей фамилии «берг» Алекс потерял на первом курсе, когда снимал крошечную квартирку в Бронксе пополам с Лорой, Лорой Файн. Изначально Файнштейн.

– Еврейство неактуально! – соря пеплом на неммыслимо грязный афганский ковер, купленный на блошином рынке за пять долларов, заявляла она.

И хрипло смеялась, закидывая голову, снова стряхивая пепел на ковер.

Алекс иногда спал с ней, так, по-приятельски. Она, впрочем, не возражала – у нее с поклонниками тоже не очень клеилось.

Алекс даже как-то раз привез ее на Брайтон.

На старый Новый год.

Мама Ната строго посмотрела на Лору поверх очков, придушила окурочек и заиграла своего Августина. Судя по всему, Мама Ната тоже считала еврейство не слишком актуальным.

– Вот и ты так будешь! – На обратной дороге, перекрикивая страшный шум подземки, Лора жарко дышала ему в ухо мамиными пельменями с луком. – Эмигрант!

Быть эмигрантом Алекс не хотел.

И поэтому стал Грином.

6

Он пересек площадь и сбежал в метро. Вниз, ловко цокая по острым чугунным ступенькам.

Станция, мутноватая после солнца, с пыльными желтыми фонарями,дохнула сырм и ржавым железом.

Ввинчиваясь в утреннюю толпу, наметанным глазом определил, где остановится дверь вагона. Протиснулся и стал ждать.

По центральным рельсам станции пронесся экспресс. Прогромычал, лязгая, словно тысяча чертей сорвалась с цепи. Некоторые на платформе, сморщившись, привычно заткнули уши руками. На Кристофер-стрит останавливались лишь местные поезда. Грохот от экспресса был совершенно адским. Заломило в висках. Секунда – и поезд исчез в тоннеле. А густое эхо еще с минуту висело на станции, нехотя затухая.

Вообще, с непривычки нью-йоркская подземка производила достаточно гнетущее впечатление. Достаточно гнусное, можно даже сказать.

7

Алекс к подземке привык. Как-никак два раза каждый день – тут хочешь не хочешь...

Вдруг вспомнил белые воздушные арки, мрамор цвета копченой колбасы и сияющий натертой бронзой револьвер пограничника на «Площади Революции», кажется... Револьвер этот так приятно было трогать варежкой, мимолетное прикосновение в толчее – секунда – и все! – влекомый могучей энергией Мамы Наты туда дальше, наверх, где балет и странные слова па-де-де и па-де-грас.

Дверь действительно остановилась прямо напротив. Не вышел почти никто, все утром ехали в Мидтаун – работать. Алекс выдохнул, прижав руку к груди, как бы защищая лимонный галстук, втерся внутрь.

Оказалось, что внутри не так уж и тесно. Он повел плечами, приосанившись, поддернул манжеты. Посмотрел время – нормально, успеет даже еще в «Старбак».

Мысль о кофе по-детски загла – как предвкушение крошечного праздника. Даже больше, чем предстоящая презентация начальству.

На Таймс-сквер часть пассажиров выдавилась из вагона, чуть меньше вошло. Стало вообще почти что просторно.

Алекс ухватился за теплый от чьих-то рук хром поручня и, качаясь в такт с грохочущим вагоном, понесся дальше сквозь темень туннеля.

Перед ним сидел мальчишка лет тринадцати. Согнувшись над какой-то пиликающей и квакающей игрой, остервенело гвоздил большими пальцами выпуклые кнопки, умудряясь одновременно держать одной рукой банан, изредка кусая его, ныряя головой вниз.

Алекс непроизвольно разглядывал эти маленькие, проворные руки, грязноватые и в царапинах (кошку наверняка мучает, пакостник), с расплывшейся переводной татуировкой (естественно, череп), нервно-шустрые, как два паука, снующие пальцами по разноцветным кнопкам, размазывая по ним клейкую банановую кашу. От приторной вони Алекса замутило. Он сдвинулся бочком вдоль поручня, не без усилия оторвав взгляд от этих рук. Уставился в окно.

За тусклым стеклом с хрипом, свистом и мерным перестуком пролетала бесконечная чернота, змеиное сплетение грифельно-черных проводов в руку толщиной, уносились вялые желтые и ультрамариновые огни.

Как утверждала Лора – все, что она говорила, подавалось именно в форме утверждения или заявления, в диалоги, как правило, не вступала, – Алекс – вылитый скандинав. Внешне. Вылитый викинг.

Алексу это льстило, он ей не возражал. Хотя, конечно, понимал, что Лорин авторитет в данном, скандинавском вопросе, да и, уж если на то пошло, в мужском вопросе в целом, крайне сомнителен.

Он чуть поправил волосы. Сбоку, за ухом. С раннего детства они там закручивались вверх. Справа и слева. Двумя упрямыми крыльями. Приходилось их раскручивать и сушить феном. А из-за фена волосы стали выпадать. А может, просто, а вовсе не из-за фена. От возраста. Отца с волосами Алекс не помнил – розовая лысина с масляным бликом на макушке. Чертова генетика! Алекс переживал страшно. Втирал какие-то вонючие бальзамы – все бесполезно. Волосы лезли и лезли. Особенно спереди – поредели катастрофически, а залысины! – об этом лучше и не говорить.

Да, залысины... Алекс по-птичьему повертел головой. Да... Отражение его лысеющей головы с дырами теней вместо глаз, лимонным галстуком и великолепным, в тончайшую полоску, костюмом, покачиваясь, стремглав скользило по графитной черноте за стеклом вагона.

8

На следующей ему выходить, на Сорок второй...

А как он был счастлив, именно счастлив, по-детски доверчиво и бесконечно, когда после пяти муторных, как общение с дантистом, после пяти выкручивающих душу интервью Алекс, всего через полгода после университета, получил место в «Силвер-энд-Старк»!

Старший копирайтер!

Это вам не фунт изюма, как говорила Мама Ната. Это «Силвер-энд-Старк»! Семнадцатое агентство в Нью-Йорке – посмотрите «Форбс».

Он сразу же сделал две вещи, обозначив этим начало новой жизни. «Две вехи на пути к новой жизни!» – так он сам это называл. Во-первых, и это было совершенно безотлагательно

во-первых, съехать с поганой квартирнки, которую почти четыре года делил с неряшливой Лорой!

Ему даже сейчас мерещилось, что от каких-то его старых вещей пахнет Лорой.

Правда, ошалев от счастья и впопыхах подмахнув контракт на аренду новой односпальной квартиры на пятом этаже чуть облезлого домика в Гринвич-Виллидж, Алекс с опозданием заметил, что живет теперь, оказывается, в самом сердце района, облюбованного лицами с нетрадиционной ориентацией. Сексуальной.

Но нет худа без добра – эта досадная неожиданность помогла ему в осуществлении жизненной вехи номер два. Веху звали Кристина.

Кристина была монголкой с плоским лицом, мускулистыми икрами и рискованной татуировкой на левой ягодице. Глядя на ее чуть кривоватые сильные ноги, Алекс воображал бескрайнюю степь, седовато-серебристый, стелющийся гладкими волнами ковыль. Коренастые лошадки, сияя глянцевыми крупами, несутся, дробно топоча в сторону заката.

Алекс никогда в Монголии, разумеется, не был. Ковыля он тоже не видел. Это был так, просто образ. В конце концов, он тоже творческая личность. Отчасти.

У крепконогой Кристины на Алекса были далеко идущие планы. Она хотела размножаться. Ей казалось, что пришло самое время. И поскольку их пресноватый роман вяло перетек в третий год, Кристина решила – пора! Алекс так Алекс. Пусть будет Алекс. Тем более вот он – тут, под рукой. Не хуже других. Не говоря уже о том, что для Кристины все эти белые были на одно лицо – чуть выше, чуть короче, а так – разницы особой нет – нос, два глаза.

То ли дело – монголы! Так ведь разве найдешь достойного монгола в Нью-Йорке?! И не пытайся – забудь!

9

У Алекса тоже были планы. Прямо противоположные. Хотя они, его планы, также включали в себя некоторые элементы процесса размножения. Но без детей. И не с Кристиной.

Кристина его вполне устраивала на том отрезке, в Бронксе. Она была на пару лет старше, работала каким-то начальником в компьютерной конторе среднего пошиба, гоняла, как маньяк, на открытом «Мустанге». Любила рестораны и была весьма изобретательна в сексе. Это плюсы.

Но вместе с тем... Вместе с тем, особенно на пляже – для Алекса пляжи и бассейны были просто пыткой, ему казалось, что все эти голенастые, с хрупкими щиколотками и изящной линией бесконечного бедра, все эти пышногровые блондинки – насмешливо, качая головой и прицокивая, поглядывают на степную лошадку и на него – белокурого красавца (тогда волосы еще не так лезли), и их томные васильковые глаза влажно шепчут: «Эх ты, викинг... Ну что ж ты так?» – и Алекс мучительно жмурился и переворачивался лицом вниз, на живот, чтоб не видеть ни этих, ни той, с которой он здесь, и, беззвучно поскуливая, нянчил свою тоску.

Он не сомневался, просто был уверен, что заслуживает большего. Гораздо большего! Нет, не просто самки с лучшим экстерьером. Хотя и это, конечно, тоже. Да! И непременно длинные ноги! Разумеется...

Относительно женщин: дело в том, что он видел смысл и увлекательность процесса в разнообразии. В вариациях. Поэтому обладать одной, пусть даже наипревосходнейшей, высочайшего качества (с бесконечными ногами, да!) особью женского пола – но лишь одной! – было для Алекса вариантом не слишком привлекательным.

И не то чтобы это был эгоизм в чистом виде. Напротив, самому Алексу казалось, что это что-то вроде его миссии – как он это объяснял как-то раз Лоре, выцеживая остатки из бутылки текилы себе в стакан и соря солью по столу, – хотя отчасти ведь это он делает и для них. Женщин, в смысле!

Эдакое сексуальное подвижничество... ну в некотором роде.

10

Вдобавок грубоватая, излишне эмансипированная (на взгляд Алекса, разумеется) Кристина сделала непростительную ошибку. Серьезный и фатальный промах. Услышав как-то от Алекса, что он-де похож на скандинава, она хохотала, долго и до слез. После, наконец, угомонившись и лишь изредка икая, трубно высморкалась в бумажную салфетку (вообще она сморкалась и чихала на удивление громко, с каким-то медным нутряным эхом, вроде геликона) и наконец сказала, что он, Алекс, чуть ее не уморил и похож он не на скандинава, а на рыжего стремительно лысеющего еврея.

Этим Кристина решила свою судьбу.

Исключительно справедливости ради – отчасти она была права. Летом по всему телу Алекса высыпал рой веснушек, а волосы, включая брови и ресницы, становились белесо-оранжевыми, как у недорогих кукол. Почти рыжими.

11

Обычно все романы Алекса, если, разумеется, инициатором разрыва был он сам, заканчивались хитросплетением тягучего вранья, бесконечным нытьем по телефону с внезапными вспышками сарказма и неожиданно едких обвинений и даже рыданиями (да, Алекс, запросто мог пустить слезу, особенно по пьяному делу). Этот тяготный процесс долго вытерпеть не мог никто. Ни одна женщина. Собственно, в этом и был смысл.

Кристина же просто так сдаваться не собиралась – она рассматривала два с лишним года их отношений как инвестицию. Своего рода вклад. Не говоря уже о том, что за эти два года она не стала моложе. Скорее наоборот.

Алекс в панике, перетекающей в парализующий ужас, ясно вдруг увидел, что обычные его уловки здесь вряд ли сработают. Что от Кристины ему не отбояриться. Что он пропал, что это – конец.

И тут ему пришла в голову «совершенно гениальная идея». Это с ним, кстати, случалось довольно часто – гениальные идеи.

Он только что переехал на новую квартиру – туда, на Кристофер-стрит.

И вот, сидя в итальянском ресторанчике, уже ближе к десерту, Алекс трагическим голосом сообщил Кристине, что он гомосексуалист. И что он перебрался туда, на Кристофер-стрит, чтоб быть поближе к своим. «К своим» – так вот и сказал. И что он пытался... Все эти два года... С ней... Думал, а вдруг?!.. Ведь родители, да, внуков хотят и все такое... Но против природы не пойдешь... А? Ведь нет. Нет...

Алекс сказал все это, замолчал. Сделал собачий взгляд. Понурил голову. Подумав, тихо захныкал.

Кристина молча выслушала его. Молча выплеснула остатки кьянти из своего бокала ему в лицо и на голубую рубашку с миниатюрным крокодилком, вышитом на кармане. Молча встала. И ушла.

Алекс вытер лицо салфеткой и попросил официанта принести только один десерт и сразу счет. Больше Алекс ее не видел.

Крепконогие коренастые лошадки ускакали за горизонт. Им на смену, заносчиво вскидывая горделивые коленки и зазывно поцокивая хрустальными подковками, выступил новый табун беспечных и шаловливых проказниц. Одна за другой, когда даже парами. С белокурыми гривами или цвета топленого молока, золотистыми или в медь, такими шелковистыми, если

погладить, закрутились, замелькали, слились в веселую бесконечную карусель. Джессика, две Аманды, Лорейн... Моника...

12

– Сорок вторая! – прошамкал голос из радио. – Выход в город, Гранд-Сентрал, Мид-Таун, переход на «синюю» до Квинс!

«Чертова Кристина! Чуть свою станцию не прозевал! – Алекс протискивался сквозь тугую стекающую в вагон толпу. – Черт!»

Высвободившись и чудом сохранив все пуговицы, Алекс, ловко балансируя, поспешил по краю платформы к выходу. Зашипев, закрылись двери.

Состав лязгнул и плавно поплыл, набирая скорость. Замелькали окна, лица, лица, лица, распахнутые газеты, чьи-то вздыбленные розовые, как сладкая вата, патлы...

Алекс отстранился от поезда и, не сбавляя шага, крепко зацокал эхом в сводчатый потолок.

Правая подошва вдруг заскользила. Как по льду. Завоняло бананом. Алекс поднял ногу. К подошве пристала раздавленная желтая в коричневых пятнах кожа, сочная и липкая. Алекса передернуло от омерзения. Он начал неуклюже шаркать ногой, счищая прилипшую гадость.

Тут загудел поезд. Алекс вздрогнул, стараясь сохранить равновесие, зацепил локтем несущийся состав. От удара волчком прокрутился вокруг собственной оси. «Как в балете!» – глупо подумал он.

Платформа с кремовыми шашечками кафеля вздыбилась, сцепилась с ревушей жестью вагонов. Алекс зажмурился.

Сзади кто-то закричал.

13

«Угодить под поезд! Именно сегодня! Вот было бы нелепо!» – с неожиданной веселостью подумал Алекс. И открыл глаза.

Состав скрылся в туннеле. На платформе лежал его черный ботинок.

Алекс, не рашнуровывая, втиснул ногу, поправил задник, пару раз стукнул каблуком, – порядок! – и побежал к выходу.

На кофе времени уже не было, ничего, потом!

В лифте пригладил, поправил, одернул – оглядел строго, подмигнул зеркалу – отлично!

Лифт волшебным звякнул – дзынь! – тридцать седьмой.

Деловито-лучезарное выражение лица, рука в кармане, уверенная солидная поступь.

Викинг!

Стремительно через стеклянные двери, неотразимая улыбка секретарше:

– Привет, Дженн!

– Все уже там, Алекс!

– Неужели опоздал?!

Двойные ореховые двери на массивных медных петлях с достойной плавностью беззвучно раскрываются.

Все уже действительно там.

И сам директор мистер Старк в малиновом кресле, похожем на трон. Улыбается. Бабочка на шее. И мистер Силвер, президент и компаньон. Тоже приветливо ему кивает, мол, заходи, не стесняйся! А грудастая мисс Лоренц, вице-президент, та аж смеется, закинув на стол ноги в изумрудных сапогах с золотыми подковками. И рукой ему машет. Вот дела!

Два арт-директора – один незнакомый, с черной разбойничьей бородой, другой Хэнк – лихо жонглируют пластиковыми пепельницами и мобильными телефонами, ловко и высоко подкидывая их. Иногда, зычно вскрикнув, успевают хлопнуть в ладоши, не обронив ни одного предмета. Высокий класс!

Пятерка смешливых копирайтеров, двое из его отдела – из медикаментов, обнявшись за плечи, приятно поет на несколько голосов, раскачиваясь, как на волнах. Другие хлопают шампанским, разливают вино по высоким бокалам, смеются, звонко чокаются.

А за всем этим – сквозь огромное во всю стену окно – влетает слепящее солнце, отражаясь в стеклянных небоскребах, стальных башнях и шпилях, в миллионе хрустальных окон-зеркал, рассыпаясь на многоцветье крошечных радуг, и еще этот запах! – ваниль! – запах сливочного пломбира... и еще чего-то, ну да! – теплой лесной земляники.

И Алекс тоже смеется, смеется вместе со всеми, чокается, пьет шипящее щекотное шампанское. Кто-то потянул за рукав, вложил что-то в его ладонь. Что это? Губная гармошка? Зачем?

Директор поднял руку, помахал Алексу.

Алекс облизнул губы, вдохнул полную грудь. И начал играть.

Сперва мистер Старк, – директор, а за ним уже и все остальные, и мисс Лоренц, и ребята из творческого отдела, даже секретарша Дженн, мышкой проскользнув в щель ореховой двери, все подхватили мелодию, все запели, сначала не очень чтоб стройно, чуть вразброд, а дальше все слаженней, все звонче.

А Алекс изо всех сил пучил щеки, дул в гармошку, а правой рукой махал в такт, дирижируя, чтобы они не сбивались:

Ах майн либер Августин, Августин, Августин!

Ах майн либер Августин!

Алес форбай!

Часть вторая

1

– Ну не тяни ты кога за хвост!

Лесли поднимает глаза. Осуждающе смотрит на меня:

– Сколько?

– Не видишь?! Две! – У меня внутри уже все кипело. – Две!

Лесли вялыми пальцами снимает две карты. Снял сверху и эдак лениво подпихнул в мою сторону. Пижон!

Все устали на меня. Притихли.

В игре остались только мы с Лесли, на кону миллионов семь. Может, больше, черт его знает... У меня на руках флэш-рояль на пиках. Без одной...

Лесли мелко-мелко постукивает указательным пальцем по своим картам. Аккуратной стопочкой сложил, педант! Но, видать, нервничает тоже.

Я прижимаю карты к груди, чуть отгибаю уголок первой – дьявол! – бубна. Шансы мои понеслись к нулю.

Лесли впился взглядом, серые глаза, черные дробинки зрачков. Пенсне.

Я – камень! Невозмутим, непроницаем. Лицо – маска!

На шее Лесли, сбоку, забила, запульсировала жилка – психует! Покрутил вправо-влево головой, как курица, в тесном хомуте стоячего воротника, жмет, видно. На воротнике оловянная черепаха с дубовыми листьями – сегодня он вырядился штурмбаннфюрером СС. Дивизия «Тотенкопф». «Парадная униформа! – со значением сказал до начала игры Лесли, снимая ворсинку с черной бархотки лацкана. – Любимцы фюрера!» Лично мне это его увлечение военным обмундированием кажется слегка, м-мм... нездоровым... но это так, к слову. Его личное дело. Мне говорили, он много работал с тем сектором, по времени и территории, – говорили, что даже какие-то проблемы возникли, реабилитация, что ли, точно не знаю, врать не буду...

Тишина – абсолютная. Все ждут. Последняя карта.

Я думаю – была не была! – решаюсь... И тут запиликал мой пейджер! Заныл, занудел полудохлой мухой по стеклу.

Я глянул – срочность ноль! Категория А.» 287-й сектор. Дьявол (прости меня Господи)!

Ну тут все заорали, загалдели: «Миша, давай!» (Миша – это я.)

А Лесли выпрямился, ладошки потер. Этаким простачком, будто ни в чем не бывало:

– Ну что ж, отложим... Жаль, конечно...

Блефует, точно! На руках ничего! Ясно как божий день!

– Ну уж нет, сейчас и кончим. Сейчас! – кричу я.

Открываю последнюю – шмяк – шлепнул о стол. Ха! Туз пик!

– Флэш, – говорю, – рояль.

Ласково говорю так. И все карты выкладываю – десяточка. Валет, дама, король... И туз!

Все к Лесли повернулись – а у него что? Вдруг побьет? Но Лесли поскущел сразу. Ноготком мизинца брезгливо свою стопочку карт отпихнул, хмыкнул, – мол-де, невелика потеря. Встал. Поскрипел кожей рыжей кобуры, бормоча «доннерветтер» и «цум тойфель», достал черный парабеллум, приставил к виску. Взвел курок.

Шут гороховый! Никто даже внимания не обратил – все давно привыкли к его выходкам.

Из-под стола Леслины лаковые сапоги торчат, блестящие, с серебряными шпорами. А на концах такие колесики. Как звездочки.

Я нежно сапоги подвинул, припав к столу, сгреб весь выигрыш. Ссыпал за пазуху. Потом посчитаем! Потом...

Пейджер продолжал зудеть. Замигал красным уже.

Дьявол!

Я подключаюсь, активирую САН. Пошел!

Я явно опаздывал. Минут на пять. Что с одной стороны – пустяк, миг... а с другой... Все очень относительно. Но об этом лучше не думать. Сейчас, по крайней мере.

Пробежался по досье. Обычный ССК из 287-го. Это легче – похоже, сюрпризов не будет.

2

Я пробил сноп рыжих искр, взрезал и рассек поток, вокруг все затрещало, зашипело бенгальскими огнями, звезды вытянулись струнами, вдруг спутались в горящий клубок, солнце подпрыгнуло из-за горизонта и выплеснулось на ледяной купол полюса, вонзив жало луча перпендикулярно вверх. В кромешную тьму.

Тут же внизу все взорвалось и вспыхнуло синим, потом бирюзовым. Я вошел в атмосферу.

Отключил САН. Начал снижаться.

Над сектором – ни облачка.

Был я в 287-м и до этого. Несколько раз. В других временных сегментах, разумеется.

Срезая угол, пробил несколько башен, непонятно, зачем строят такие высокие! – мерзкое ощущение, жутко зачесалось нёбо. Нырнул вниз. Господи! – коммуникации, тоннели, какие-то бесконечные провода, сами наверняка запутались, не знают, где что у них там. Сыр швейцарский!

Так... Похоже здесь. Точно.

3

Осмотрелся.

Клиента нет, черт... Спокойно, спокойно...

Еще раз и внимательней.

Внизу уже собралась приличная толпа, запрудив всю платформу. Поезд наполовину вполз в туннель, хвостовой вагон остановился посередине станции. Тучный негр, похоже, машинист, осев и согнувшись, упирался локтем в жесть последнего вагона. Словно пытался свалить его на бок. Поднимал лицо цвета серой глины с бессмысленно сизыми белками и опять нырял головой вниз. Его тошнило.

Рядом топталась медсестра, держа наготове шприц. Два полицейских переговаривались чуть поодаль. Медсестра поглядывала на них, разводя руками, вроде как извиняясь за машиниста.

Дальше вдоль платформы, между последним и предпоследним вагонами, несмотря на страшную толчею и давку, было пустое пространство. Полукруг. По периметру полицейская лента натянута. Желтая такая. Зеваки напирали, вытягивали шеи, привставали на цыпочки, стараясь заглянуть в щель между вагоном и краем платформы.

Изредка вспышка окрашивала потолок бледным холодом, тут же гасла. Фотограф, стоя на коленях, втиснул голову между вагонов и щелкал камерой.

Тут же, по огороженному полукругу, прохаживался некто в штатском, судя по бляхе на поясе, тоже из полиции, инспектор или что-то вроде того, короче, начальник. С кофе в картонном стакане. Делал глоток, морщился, будто пил отраву. Ходил туда-сюда. Присел на кор-

точки, рассматривая что-то на полу. Какой-то темный предмет. Я пригляделся – башмак! Черный ботинок.

Инспектор щелкнул пальцами, что-то сказал, подозвал фотографа. Тот, кряхтя, вылез. Разогнулся, ворча. Начал фотографировать башмак.

Я пролетел вдоль состава, заглядывая в ниши в потолке и вентиляционные шахты. В последней, уже на входе в тоннель, нашел клиента. Своего ССК. Слава тебе Господи!

4

С души отлегло, похоже, все нормально... Я тут же, как и положено по инструкции, представился, мол, такой-то и такой-то... Объяснил ситуацию. Хотя, как правило, это пустая трата времени. Что тоже вполне понятно.

Он вяло переспросил:

– Размещений?

– Из Департамента приема и размещений. Точно! И я лично сделаю все возможное, чтобы процесс перехода прошел безболезненно. – Это я по инструкции шпарил, слово в слово. От себя добавил: – Безболезненно. По возможности даже приятно.

Он кивнул.

Я выдохнул с облегчением. Это самая что ни на есть собачья часть моей работы, вот эти самые первые минуты.

– Ну вот и славненько, – нежно улыбнулся я. – Тронемся помаленьку?

– А где я?

Ну вот, снова-здорово! Я кивнул в сторону поезда, полукруга, где лежал башмак, вокруг которого ползали на карачках фотограф и инспектор.

Он раскрыл рот, но так ничего и не сказал.

Я ужас как не люблю рассусоливать, так еще хуже. Предпочитаю сразу. Сразу и в лоб. Без недомолвок. Поэтому сказал просто и без обиняков:

– Под поездом. На рельсах. Где-то между первым и вторым вагоном. С конца.

– А как же? Я же... я же... И мистер Старк? А? И Августин?

Конечно, это была моя вина. Сто процентов. Но, с другой стороны, не мог же я флэш-рояль выкинуть, в самом-то деле. Ведь нет!

Поэтому начал я ласково:

– Видишь ли, Алекс, на практике в момент отделения... э-э... души, так сказать, от тела... собственно, непосредственно в момент... э-э-э... Ну ты понимаешь, да?

Он кивнул.

– Так вот... По инерции... – я, честно, в теории не очень, поэтому объяснял, как умел, – по инерции мысль, скажем, чтоб тебе понятно было, мысль, значит, она продолжает работать. Какое-то время... Поэтому в твоём сознании возникают разные там картины. Ну в смысле, образы. События. Плод фантазии, так сказать... Я понятно говорю?

Он снова кивнул.

– Я должен был тебя сразу забрать... ну как только ты... того... У меня задержка вышла. Заминка. Технического характера...

– Технического?

– Ну типа... Этот пижон, Лесли... понимаешь, я просто должен, должен был его на место поставить! Проучить! А у меня как раз флэш-рояль на руках!

– Покер?

– Ну да! Вот видишь, понятная ведь ситуация? А тут ты... Не мог же я просто взять все и бросить? А? Вот опоздал.

Он молча глядел на меня. Потом спросил:

– Ну и как?

– Что как?

– Проучил? Этого... Лэсси?

– Лэсси – собака из кино. Лесли. Проучил! Еще как! Застрелился.

Он вздрогнул.

Я засмеялся, махнул рукой:

– Да нет, нет. Все нормально, ерунда. Потом объясню. По дороге. Ну что, тронули?

Он рассеянно глядел вниз, на толпу под нами, крышу поезда. Полукруг с полицейскими.

Ботинок. Спросил:

– Куда?

Его белесые ресницы наивно захлопали. Как у дорогих кукол с фарфоровыми лицами.

И хоть это против инструкции – никаких персональных эмоций, мне стало его жаль. Я мягко начал:

– Это что-то вроде, э-э, сортировочной станции... ну да... что-то типа того. Доставляем туда, размещаем. А уж потом оттуда, – я замялся, – ну кого куда...

Я зачем-то засмеялся и неопределенно кивнул вверх головой.

– Куда? Куда-к-к-уда-куда?

Он вдруг от волнения начал заикаться. Не на шутку разволновался, видать.

– Алекс! Я, – я хлопнул себя в грудь ладошкой, сделал честное лицо, – я из Департамента приема и размещения. Ангел пятого класса. Обслуживающий персонал. Вот доставлю тебя сейчас, устрою, размещу в лучшем виде...

– А потом куда? Куда?

– В геенну огненную! – пошутил я.

Зря пошутил.

5

– В ад! В ад! – Он схватил меня за руку, потянул, у самого губы дрожат. – В ад? Да? Ведь в ад?

Слезы покатались, крупными такими каплями, никогда не видел, чтоб вот так... Тем более чтоб мужик...

– Да угомонись ты, честное слово! Ад, ад! Заладил, как ворона. Попугай, в смысле... Нет никакого ада!

Он вскинулся, зачем-то мою ладошку обхватил и к груди притянул:

– Нет? Как нет? Нет ада?

Весь сегодняшний день шел наперекосяк, хорошо, если двумя-тремя штрафными отделаюсь... Если про опоздание узнают – дисциплинарку влепят, сто процентов!

Я выкрутил руку из его на редкость цепких пальцев:

– Ну подумай сам! Ты ж взрослый человек. Работаешь в... работал, в смысле... ну да не в этом дело... Что ж, кто-то, по-твоему, будет весь этот огород городить под землей? Да? С чертями, вилами, сковородками? Да?

Он слушал. Слушал очень внимательно.

– Вот ты, к примеру... Ты попал под паровоз, да? От тебя натурально один паштет остался. Без обид, я так, чтоб понятней... Так вот этот паштет, что ж, вилами и на сковородку? Подумай... нелогично как-то, а?

Он недоверчиво покачал головой:

– Не-е-ет, так не может быть...

Собственно, мне терять уже было нечего. Да и вообще он производил впечатление милого парня. Если не читать его досье. Я читал. Но все равно сказал:

– В двух словах и между нами. Идет?

Он кивнул.

– Так вот. Нет ни ада, ни рая. Есть только ты и твой жизненный опыт, м-м, со всеми плюсами и, так сказать, минусами.

– А как же адское пламя, грешники там... С этим-то как?

– Слушай, ты вроде образованный парень, университет окончил, да? Какое пламя? Чего там жарить? На пламени? Тела нет, вон пахнет один на рельсах. Фарш, извини за грубость... Душу, что ли? Жарить, да? Душу? Это ж все для крестьян безмозглых придумано было. Ну ты-то, а?

И я покачал головой, вроде как ай-яй-яй.

Он задумался.

– Вот видишь, – продолжал я, – у тебя, если так, вчерне, два варианта.

Он насторожился.

– Первый... – я пробежался мысленно по его досье, – первый, позитивный... – будешь кувыряться со своими дурами длинноногими до скончания веков, так сказать, рестораны всякие, курорты. Кстати, да! Никаких венерических болезней. В конторе у себя станешь начальником, потом еще главней, все тебе целовать задницу будут – ты ж любишь! Да, ладно, брось, знаю, любишь. Что там еще... Ну машины, чего ты там мечтаешь, дай гляну, «Мазератти» – будет и «Мазератти». И «Бугатти». И черт со ступой. Яхты-шмахты, виллы-шмиллы... Короче, полный набор.

Он заулыбался.

С какой-то даже детской невинностью. Голубые глазки распахнул, ими хлоп-хлоп. Я тут понял, что в нем девкам-то нравилось. Вот эта самая невинность. Вот ведь дуры, прости меня Господи!

– Но есть и второй, – я поднял палец, – второй вариант!

Улыбку вмиг сдуло.

– Второй вариант... Как ее, э-э-э, во – Кристина. Кристина! С работы тебя выпрут, станешь кормящим отцом. Ложка, плошка, поварешка. Передник в горошек. Кристина тебе будет детишек рожать, маленьких, кривоногих. Орать будут – жуть! Какать-писать прямо на колени тебе. Потом вообще в Улан-Батор всей семьей переедете, кумыс на завтрак, обед, ужин будешь кушать. Кристина целый день на работе – компьютеризировать Монголию, а ты – в юрте, с ребятей... С детишками.

Он помрачнел, спросил:

– А кто решать-то будет, какой вариант?

– Это Комиссия. Все они. Там... – Я снова неопределенно мотнул вверх.

Он раскис. Представил, наверно, детишек. Или Улан-Батор.

– Не кручинься, брось, может, еще все обойдется. Может, первый вариант как раз и выйдет. С этими – Джессиками, Амандами... С Лорейн... Моника еще... Ну? Давай двигать, а? Как там бабка твоя, училка, пела: «Не грусти, Августин, гляди бодрей!» Так, что ли?

Я балагурил, валял ваньку, прихихатывал – хотелось мне Алекса хоть как-то приободрить. Но если честно и между нами, разумеется, то его шансы на семейное счастье в Монголии были очень высоки. Очень.

Виртуоз

*Волиебной силой вдохновенья,
Как жезл посланника богов,
Певец низводит в царство тленья,
Уносит выше облаков
И убаюкивает чувства
Святыми звуками искусства.*

Фридрих Шиллер

– Знаете, я вот смотрю на вас – и что-то эдакое всплывает. Из самых глубин. Вы, случайно, в детстве в пионерлагере «Чайка» не отдыхали? В Евпатории? До ужаса похожи на мою первую любовь. Нет? Потрясно, просто одно лицо... э-э, спустя некоторые годы. Аленка звали, как сейчас помню... Сентиментальный? Да, есть такое дело... Вообще, знаете, художник – натура чувствительная, так сказать, без кожи, нервы обнажены. Ух! Страстные – жуть! Но наивные, как дети, эти художники. Вы про Ван Гога слышали? Ага, ухо! Вот такие вот страсти-мордасти. Чуть-чуть вправо повернитесь... и наклоните... к плечу. Нет, это перебор, вот так. И на меня смотрите, ну минут пять – я как раз глаза рисую.

Славик действительно прорабатывал глаза. Безотказный принцип: глаза чуть больше, нос поменьше – это так, кухня, секреты мастерства. Взгляд с поволокой. Добавить блик. Загорелся – заблестел глаз... Другой. Отлично!

За спиной зашушукались, с восхищением:

– Как живые! Глядят!

Игнорируя восторги, Славик шурился и, ловко оттянув мизинец, совершал плавные жесты правой рукой, вроде пианиста или факира, то тягуче-задумчивые, то стремительные, как укус. Иногда выкидывал вперед левую руку, прикрыв один глаз, будто целясь. Чмокал губами или цыкал языком. И приговаривал скороговорочкой: «Так-так-так, так!»

– А чего, это бумага серая, а? – провинциальный голос из-за спины.

– Не отвлекайте художника, товарищ! – Строгий теткин голос, училка наверняка.

– Не-е, ну правда, серая-то чего, – перешел на шепот провинциал, – и коричневым цветом, а?

– Техника мастеров итальянского Ренессанса, – галантно отвечает Славик, не оборачиваясь. Движенья рук не нарушается – чистая ворожба! Добавляет: – Сепия по тонированной бумаге – выбор Леонардо и Рафаэля.

За спиной уважительное:

– О-о-о!

Дружелюбная корректность – наше кредо! Славик шаркнул мягчайшей губкой – на щеке появился румянец, сдунул остатки коричневой пыльцы, чуть тронул резинкой – легкий блик закруглил щеку, налил ее глянцевитым светом: так-так-так, так!

– А вы, Лариса, надолго в столицу?

Отличные ноги... Грудь, похоже, тоже в порядке. Не первой свежести, это да – пожалуй, под тридцать. А кто сказал, что это плохо?

– У сестры? «Тимирязевская»? Прекрасный район – экология! Я там в Полиграф поступал, как в лесу, честное слово... А воздух, м-м-м!

Про сестру врет наверняка. А ротик хорош, губки пухлые, как у пионерки. И в глазах черти. Бесенята... Выпить, похоже, любит... да и вообще повеселиться.

– Нет, провалился. Там конкурс – мрак! Окончил «Девятьсот пятого года», «пяточок» – училище художественное.

Славик подался назад, замер.

Выдержал паузу, спиной чуял, как зеваки тоже замерли – после стремительно прошелся по бликам белой пастелью – глаза и губы портрета заблестели.

– Высший класс! – Это из-за спины. – Мастер!

– Ну-с, мадам... или мадемуазель? Извольте оценить! Прошу!

Славик одним лихим движением развернул лист к модели.

– Прошу!

– Ой! Это я? – со смехом, чуть смущаясь, говорит она. – Ну вы мне польстили, тут какая-то кинозвезда просто...

– Польстил, ох, польстил! – Из-за спины снова занудный провинциал – непременно один такой нытик должен быть.

– Что вы, товарищ, мелете? – Это училка. Молодец, так его!

– Ничего он и не польстил! Девушка сама по себе очень даже симпатичная. А потом, может, он так видит? Понаедут такие вот – критикуют, а сами ничего в искусстве не кумекают! Стыдно, товарищ!

Славик улыбается:

– Вам-то самой нравится? А то, если нет, я себе оставлю...

– Нет-нет, что вы! Мне очень нравится. Очень...

Лариса бровь чуть вверх, улыбнулась, добавила:

– Вы такой талантливый...

Вот чертовка! Славик любезно кивнул, проворно расписался в углу, накрутив обычных своих вензелей, брызнул ядовито-приторной «Прелестью».

– Ой! А лаком-то зачем?

– Сепию закрепить. Техника эта очень... – он взглядом уперся ей в глаза, – нежная...

– А-а-а... – выдохнула Лариса.

Портрет проложен листом папиросной бумаги, свернут упругим рулоном, зажат скрепками.

Лариса протягивает две бумажки – фиолетовую и синюю.

– Тридцать, да?

Славик с тем же оттянутым мизинцем, что и при рисовании, нежно вытягивает фиолетовую:

– Для вас, сударыня, двадцать пять. Дискаунт за обаяние.

Лариса смеется.

Славик, посерьезнев, почти строго:

– Портрет сразу под стекло. Капля воды – и все пропало! Под стекло! Вы когда в Суздаль обратно?

– На той неделе, в среду. Сестра из Паланги вот вернется... с отпуска. У них там санаторий. У предприятия.

– Так что ж вы тут одна?!

Лариса снова бровь вверх, плечами пожала:

– Ну...

– Никуда не годится! Вот так вот эти слухи, эти вот самые слухи про москвичей и рождаются! Что негостеприимные и прочее. Грубые! Не годится это никуда! – Славик говорит со строгостью. – Немедленно давайте ваш телефон! Устроим экскурсию по вечерней столице – Университет, Триумфальная арка. А?

Она диктует. Славик записывает. Телефон, Лариса. Подумав, добавляет: Суздаль.

2

– Тебя как зовут? Света? Светик-Семицветик! Ты уже в школу пошла? Во второй? А сейчас каникулы? Да мы уж совсем взрослые! Ты, Светик, минутку посиди, не двигайся, хорошо? Дядя-художник сейчас твои глазки будет рисовать.

Бледная, в голубизну, девчушка лет семи испуганным зверьком застыла на складной скамейке. Не шелохнется – от усердия губу закусила.

– Да не вертись ты, егоза! – Мамаша с бородавкой на щеке, основательная, как тумба, задрапированная в ворсистую морковного цвета материю, жакет и юбку, зачем-то трясет худое плечо дочки. – Не вертись, кому говорят. А то выйдет Баба-яга какая-нибудь. Костяная нога... Нам папка такой нагоняй устроит!

«Тебе, пожалуй, устроишь», – думает Славик про морковную тетку с бородавкой, сам ласково сюсюкает девчонке:

– Мама шутит, Светик. Шутит. Получается просто красавица. Принцесса! Ты принцессой хочешь быть? Хочешь?

3

– Слышь, Славик, – сзади, присев на корточки, дохнул пивом Коляныч, – там, в «Овощи-Фрукты» шампанское завезли... пока не выкинули... – Коляныч шуруется на солнце. – Но я могу взять.

Сцепив грязные пальцы, разглядывает руки. На пальцах выколоты фиолетовые перстни. На кисть из-под рукава выползает чернильная голова змеи. Славик знает, что змея эта выколота по всему телу, обвивает руку, вокруг груди, идет вниз по спине. Коляныч как-то показывал ему, куда хвост уходит. Дичь!

Славик достает червонец, подумав, добавил еще пять. Сверху положил трешку.

– Три! Сдачи не надо!

– Славик! Уважаю!

4

Руслан, он же Челентано, оказался, черт возьми, прав – действительно выглядело это потрясающе.

Десять минут тому назад он, наклонившись к Славику, мрачно объявил:

– Корейцы опять. Там. У Вахтангова. Очередь, представляешь?

Славик быстро закончил подвыпившего командировочного из Житомира, разомлевшего от послеполуденной жары и страдающего от икоты. Сунул купюры в карман рубахи. Пальцы нащупали приятную пухлость заработанных за день денег. Неплохо, неплохо – где-то под сотню... Попросил соседа приглядеть за этюдником.

– Что за такая техника? А? Черт разберет!

Челентано говорил без акцента, но в мелодике его речи все-таки угадывалось что-то высокогорное, кавказское. Он был чеченец, но почему-то откуда-то с Севера. Норильск, что ли, Славик точно не помнил. До этого он слышал про чеченцев только от Лермонтова – «злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал» или что-то в этом роде... В школе еще.

Руслан-Челентано (а ведь действительно похож!), по-кошачьи маневрируя меж художников, их хозяйства, разложенного тут же на брусчатке и прогуливающих зевак – по большей части «гостей столицы», москвичи сюда попадали, как правило, случайно или с провинциаль-

ной родней, – прокладывал путь вниз по запруженной улице. Славик на ходу поглядывал на работы коллег – так, в основном на троечку, дилетантщина по большей части. Хотя вот эта ничего... Уголь... Мастеровито. Волосы лихо сработаны. Надо будет присмотреться потом.

У аптеки пришлось огибать плотную толпу. У стены кто-то невидимый терзал фальшивую гитару, а кто-то другой нараспев кричал дискантом. А может, это был один и тот же человек. Толпе нравилось – особо ловкие поэтические пассажи отмечались хлопками. А строчки «Ночами грыз я горькие грибы, а зверь в Кремле строгал гробы» заслужили настоящей овации.

Вынырнули из шашлычной вони, густой и аппетитной, – надо будет перекусить на обратной дороге. И пивка!

5

– Что за техника? Знаешь, да?

Славик знал: «сухая кисть» называется.

Два корейца проворно, едва касаясь бумаги, сновали большими колонковыми кистями. Быстрыми кругами, словно щекоча ватман. А там, как на фото в проявителе, каким-то чудесным образом наливались тоном, проступали, оживали в невозможной мягкости теней и плавности форм шея, щека, губы. Глаза! Глаза действительно получались потрясающе.

– Вы крайний рисоваться? – чуть ткнула Славика в спину толстая гражданка с монументальной прической и голыми руками. – А почему, не знаете?

– Двадцать пять, – не оборачиваясь, ответил кореец. – Будете вон за той девушкой.

Шашлык подгорел и был жирный – щекотное сало стекало до локтей. Они макали куски мяса в темно-красный соус и запивали тепловатым пивом из зеленых бутылок, голых, без этикеток – вся информация о напитке уместилась на жестяной пробке.

Руслан кинул непрожаренный кусок бродячему псу – тот моментально материализовался, как только они разместились на ящиках, а после с немой укоризной гипнотизировал их.

– А чем это они трут, корейцы?

Славик запрокинул голову, последний глоток разочаровал – одна пена, черт. Все равно хорошо! Вытер губы ладошкой.

– Масло. Сажа или жженая кость.

– Какая такая кость?

Славик повернулся, посмотрел в глаза чечена.

– Ты рисованию, живописи учился вообще?

– Я кулинарный кончал, в Барнауле, говорил же тебе. А рисовать только здесь начал. Приехал – смотрю, ха! Улица красивая, женщины ходят сами, а? Свежий воздух, м-м-м... Думаю, художником надо, зачем поваром? Ну?

6

– В театральный? На актерский? Нет, почему, вовсе даже и не думаю! Наоборот, вот смотрю я на вас и вижу... Что? Нет, не просто симпатичное... даже, я бы сказал, красивое лицо. Одухотворенность! Вижу в вас эту самую страсть, жажду творчества. Ведь есть же страсть? Вот, к примеру, Ван Гог. Ага, который ухо... Вот где страсть! Гейзер! Фонтан! Или Рембрандт – мастер света, тот тоже э-э...

Славик выставил руку, прищурился, словно целясь:

– Так-так-так. Так...

Уверенным зигзагом закружил прядь за ухом, еще... Мазнул ластиком – блик волшебюно оживил волосы. Хорошо!

– Мне ли не знать? Как человек творческий утверждаю: главное – страсть! Огонь! Безусловно, безусловно... и это тоже. Но этому ведь и научиться можно. Вот вы поступите, да, да, тьфу-тьфу-тьфу, хотя я просто уверен. Уверен! Вы мне свой телефон дайте – я вам через месяц позвоню, с шампанским отметим. Приглашаю! Естественно.

Да, вот с таким вот неоперившимся чертенком, глупышкой и простушкой, как славно было бы покувыркаться, устроить кутерьму где-нибудь на природе, среди высоких трав, а? На дачу нельзя – там Ленка с пацанами... Может, на Николину или в Серебряный Бор? Куда Ольгу возил. А что? Отличное место, сосны, пейзажи открываются...

7

Последнего клиента добивал уже при свете фонарей и нервно моргающей надписи «Кулинария». Совсем пьяного майора-пограничника, упрямо сползавшего вбок, Славик закончил кое-как, наспех – стало совсем темно.

Получилось не похоже, разве что усы... Нехорошо, конечно, ну да бог с ним, майор все равно портрет где-нибудь в метро забудет.

До этого была еще одна – непоседливая и задастая тетка, с толстыми, как у борца, руками, громкая, из Воронежа. Еще тридцатник в плюс. С погранца взял четвертной – пожалел вояку.

Славик оглянулся, покрутив головой, пересчитал деньги. Сто сорок семь рублей – и это чистыми, минус шампанское и шашлык. Совсем даже неплохо.

Парковался Славик в Староконюшенном. Дотащил барахло до машины. Свалил этюдник и прочее хозяйство в багажник. Зашел в телефонную будку, чуть не задохнувшись от вони, ногой распахнул дверь. Достал книжицу, полистал, с трудом разбирая цифры и имена.

Так кто ж, юность бесенка? Или опыт, разворотные губы и грудной голос, а? Вот в чем вопрос... Лариса или...

– Лариса? Узнали? Вот весь день думал о вас... да нет, серьезно. Да, да... А зачем откладывать? Сейчас вот за вами заеду – и все. Как обещал: огни вечерней столицы. И туда тоже. Университет, конечно... Нет, невест там уже нет... Поздно. Невесты все уже бай-бай делают.

8

Славик этого района не знал.

Свернув с Волоколамки, поплутал по подслеповатым переулкам, наконец, нашел тот салон для новобрачных, про который говорила Лариса. Неожиданно вспомнил, что именно здесь покупали кольца и Ленкино платье. Шесть лет назад... Нет, восемь. С ума сойти – восемь лет!

Направо и сразу налево.

Ну и название – улица Соломенной Сторожки – полный маразм!

Остановился у самого подъезда, вздыбив машину на бордюр. Отвинтил зеркало, кинул на сиденье – черт его знает, что за место. Темень, кусты, заборы.

Достал из багажника увесистый пакет. Толстое стекло глухо звякнуло. Одну бутылку положил обратно в багажник. Подумал. И снова сунул ее в пакет. Шампанского много не бывает.

9

Квартира оказалась маленькой – пахло кошкой и какими-то лекарствами. Из замысленных овалов на стене выглядывала робкая деревенская родня. По стене – какие-то самодельные кружева, в углу – картонная Богородица.

Вторая бутылка шампанского хлопнула полиэтиленовой затычкой, полезла пена. Опять завоняло кислятиной и дрожжами.

Лариса проворно подставила чашку – пили из фаянсовых в красный горох чашек.

– Вот вы, Лариса, девушка не только красивая... да-да, и не возражайте, но и, – Славик, сделав паузу, поднял палец, – но и умная. Я заметил сразу. Что умная, в смысле...

Лариса сделала бровью вверх и чуть отпила из чашки. По белому краю багровыми укусами неопрятно лоснилась помада. Славик старался туда не смотреть.

– Вот вы меня поймете. К примеру – Ван Гог, да, который ухо... Но я не про ухо. Он писал брату: говорит, брат, я заплатил за искусство своей жизнью и рассудком. Жизнью!

Лариса слушала, вкрадчиво улыбаясь. Свет свечи выхватывал лицо из темноты, и она казалась Славiku одной из тех линялых фотографий на стене.

Славик все говорил, говорил, торопливо, словно боясь, что его перебьют и он не успеет сказать какой-то важной вещи, чего-то главного:

– А вот еще... Не верю я в нашу цивилизацию, не верю! Сколько раз я видел – это Ван Гог пишет, – как топчет она слабых и беззащитных. А истинная цивилизация должна быть основана на человеколюбии. Во! И нет сил моих больше – устал смертельно. А в конце приписал: так будет лучше для всех.

* * *

«Так будет лучше для всех», – написал Ван Гог в записке перед тем, как приставил пистолет к голове и выстрелил.

А до этого чисто побрился. Побрился той самой бритвой, которой пару лет назад он пытался зарезать Синьяка. Тогда, слава богу, великан Гоген, сграбастав тощего голландца в охапку, остановил его.

Той самой бритвой, которой позже он отрезал ухо и, упаковав, как сувенир, в шуршащую папиросную бумагу, а потом в коробку, перевязав голубой лентой, отправил в подарок Лильен, знакомой проститутке. «Какие у тебя, Винсент, красивые уши!» – как-то раз сказала она ему...

Он сбрил свою рыжую бороду и усы, заметив, как много волосков поседели и стали совершенно белыми.

А непривычно голым скулам сразу стало холодно.

Потом с трудом (в последнее время у него страшно болела спина) вытащил ободранный, еще отцовский чемодан из-под кровати, достал оттуда белую рубашку без воротника, надел ее, провел ладонями по груди, разглаживая складки. Рубашка пахла лавандой, домом и внезапно ускользнувшей жизнью.

Придвинул мольберт к треснутому зеркалу на стене. Долго разглядывал чужое лицо, проводя пальцами по гладким впалым щекам. Потом взял палитру, кисти.

И начал работать.

Этот автопортрет он написал специально для матери. Свой последний автопортрет. Потом взял револьвер и выстрелил.

* * *

Славик говорил, иногда усмехаясь совсем невпопад – к горлу подпирал мерзкий комок, – в эти моменты глазам становилось щекотно, но ему было наплевать, все равно в потемках слез не разглядеть. И эта комната, и эта женщина показались ему вдруг чем-то давным-давно прошедшим. Будто этого уже нет. И его тоже нет, а может, никогда и не было вовсе. Ему стало тоскливо. И страшно. Но пока он говорил, ему казалось, что еще есть надежда, еще не все пропало.

И Славик говорил.

Говорил до тех пор, пока Лариса молча не придвинулась к нему вплотную. Она повалила Славика на съехавшие подушки дивана и, сильно дыша носом, наконец заткнула ему рот своими мокрыми алыми губами.

Дачный портной

...воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал коростель...

А. П. Чехов

Я догадалась сразу.

Почти сразу.

У меня с детства время от времени случались, как бы половчее это назвать? – ну да бог с ним, – галлюцинации.

Я об этом стараюсь особо не распространяться, особенно после того давнего случая в школе. Урок, прямо скажем, на всю жизнь. Теперь стараюсь на чужих промахах учиться – Жанн д'Арк, допустим, – чем не поучительный пример, а? Один финал чего стоит!

Галлюцинации мои происходят в пограничном состоянии – между сном и реальностью, в момент засыпания или пробуждения.

Именно в этой зыбкой мути вдруг возникает совершенно отчетливый голос, иногда диалог, – словно громкое радио через хлипкую стенку, каждое слово отчетливо и ясно. Причем говорящие совершенно игнорируют меня (что обидно, – все-таки это в моей голове), обращаются лишь друг к другу или же произносят отстраненные (от меня) монологи.

– Мне не хотелось бы винить исключительно его матушку (пауза), но ничего другого не остается, – Это мужской баритон. Чуть картавый.

– А он ягненок? – женский, с вызовом.

– Да, он жертва! – Картавый, с пафосом. – Тот ад, что он пережил в детстве, нескончаемый караван маминых любовников – помилуйте, Глеб Ильич и не мог стать ничем...

Тут я просто подскочила – Глеб Ильич!

Естественно, голоса тут же исчезли, поскольку я совершенно проснулась.

Глеб Ильич... Конечно, конечно. Как я сразу не догадалась. Тогда, еще утром...

...когда он стоял в тени, чуть в стороне от толпы, примостив к бедру свой неизбежный велосипед (увидеть их врозь казалось делом немыслимым) и посасывая травинку, с некоторой даже скукой поглядывал в сторону сероватой простыни.

Смирившись, после бесплодных, хотя и вялых попыток справиться с напирющими дачниками, участковый сел на траву и, сняв фуражку, закурил.

– Из района приедут... Может, из Москвы! – азартно шептались за спиной. – А убили-то кого, известно?

– А то?! Машку Миронову!

– Допрыгалась, прости меня господи...

От произнесенного вслух имени картинка перед моими глазами дернулась, как пленка в заевшем проекторе, звук тоже исчез – вороний гвалт кто-то просто выключил, – вороны вили гнезда каждую весну в нашей Березовой аллее, собственно, где и лежала сейчас Машка Миронова. Под простыней.

Она была (прошедшее время в данном случае выглядит мрачно и значительно, согласитесь) года на три старше меня, недавно развелась, приобретенной после развода свободой пользовалась страстно и с удовольствием.

С эдакой развеселой открытостью, пожалуй, даже нарочитой, вроде как напоказ – вот я какая!

Что совершенно естественно вызывало изрядное раздражение у части дачников, в основном дам, как они выражаются, «интересного возраста». Фраза эта меня всегда смешила: не могу понять, с чьей стороны этот интерес?

Потоцкая, с сощуренным, чуть косящим глазом и густой пиратской бровью, упивалась внезапной популярностью, особенно после разговора со следователем, – к одиннадцати появилась «Волга» и микроавтобус с московскими номерами, участковый внезапно ожил, столичные сыщики, мигом оттеснив зевак, деловито засуетились с камерами, пакетиками. Ползали на карачках, словно обнюхивая траву и сухую глину тропинки.

Подбирали какие-то щепки и мусор.

Потоцкая, наткнувшись на Миронову (тело) этим утром, сначала просто рассказывала об этом, позднее ее история приобрела больший вес – она делала строгое лицо – разбойничья бровь изгибалась – это между нами, московский инспектор с меня слово взял! – громко шептала, пуча глаза:

– Маньяк!

Слушатель ахал. Или охал. Хватался за лицо.

– Орудие убийства (Потоцкая умело вворачивала милицейские словечки уже к полудню) – ножницы! Портняжные! Профессиональный инструмент. Как у закройщиков. Длина лезвий – сто семьдесят миллиметров! Более тридцати колотых и резаных ран.

Эти ножницы, сказать по правде, меня чуть смутили. Не очень они вязались с Глебом Ильичем. Хотя с ним вообще мало что вязалось. Очки, велосипед, разумеется. Книги. Вот, собственно, и все, что приходит на ум.

Обычная картина. Мы купаемся, загораем – Клязьма здесь достаточно широка, местами песчаные залысины, камышей нет, заходишь в воду без замиранья, что угодишь пяткой в какую-нибудь илистую слизь. Вода речная – не море, желто-коричневая, ныряешь когда – словно через пивную бутылку смотришь.

Глеб Ильич. Прислонил велосипед к дереву – всегда в тени, к воде даже не подходит, аккуратный, гладкие волосы какого-то неопределенного мышинового цвета, да и весь он линиялый какой-то, по большей части серый – с робкими добавками, в лице – чуть розового, в одежде – чуть синего, вот только велосипед – черный. Драндулету этому, должно быть, лет пятьдесят, с дамской рамой – чтоб юбка не задиралась. Скорее всего, его мамы покойной. Глеб Ильич велосипед покрыл черным лаком, и спицы, и руль. Все черное. И блестит.

Садится под деревом – непременно газету подстелет – чтоб штаны, не дай бог, не замарать. Раскроет книжку, мол, читаю – не отвлекайте, а сам поверх страниц на девиц пялится. И думает, незаметно!

Говорят, он преподает где-то. Что-то заумное, физико-математическое.

Но при чем тут портняжные ножницы?

Жертва номер два – пьянчужка со станции. Неопределенного возраста тетка с сизым лицом. Неизбежный персонаж любого привокзального пейзажа средней полосы нашей нетрезвой страны.

И если бы не предыдущее убийство, то, скорее всего, на это внимания никто бы и вовсе не обратил – брезгливое безразличие к этим бедолагам вполне понятно. Хотя и не очень оправданно.

Ее нашли за пивным ларьком какие-то работяги с утренней электрички.

Все это, из третьих рук, рассказано было с очевидными дополнениями и зловещими деталями. Очевидно, вымышленными...

...и платье, искромсанное в лоскуты, и жуткие раны, и, разумеется, опять ножницы. Скучное слово «портной» зазвучало по-новому. Неизбежность этого прозвища была очевидна, по-другому вскоре убийцу уже никто и не называл. «Портной!» – говорили зловещим полусшепотом. И озирались по сторонам – где он там прячется, этот маньяк-закройщик со своими страшными ножницами?

Меня всегда поражало – почему во всех этих фильмах героиня, трясаясь от ужаса, тем не менее непременно идет в подвал? Или в самую темную комнату заброшенного дома? – ведь всем ясно – Он там! Затаился. Со своим ножом-топором-пилой. Или ножницами... (неожиданно свежий поворот, а?) По-прежнему не могу найти этому объяснения. Хотя сама сейчас поступаю именно так.

Я начала следить за Глебом Ильичем. Причем (смешно!) практически помимо собственной воли. С самого начала было в этом подглядывании что-то гадкое, но неизъяснимо завораживающее, словно все перетекло из реальной жизни в какой-то сон, фантазию и происходило теперь лишь в моем воображении.

Я искусно дорисовывала недостающие линии, поправляла слинявшую краску точным мазком, оживляла пейзаж стрекотом кузнечиков и запахом теплой пыли.

От грузно перезревшей сирени в его саду тянуло чем-то сладковатым, как на кладбище в жару – бр-р-р! – в лаковом сиянии велосипеда мрачно угадывалась колючая костистость средневековых гравюр – тех, с пляшущими скелетами, даже в его покашливании, – в том, как он прочищает горло и плюет на траву, мне мерещились зловещие знаки и тайные смыслы.

Я наслаждалась – я только теперь понимаю, как мне это нравилось! – заниматься Глебом Ильичем, тайно изучать его.

...как он, резко затормозив, – одна нога на педали, другая уперта в землю, – вдруг улыбался и потирал, будто намыливая, руки. Словно готовился сказать речь.

Или, отложив книгу, ни с того ни с сего начинал разглядывать ногти, причем этак поженски, вывернув ладонь наружу. Долго, минут десять. Хотя, может, это он небо разглядывал сквозь пальцы...

Или – сквозь тюлевую занавеску – в оранжевом сиропе вечерней веранды, тряпичный абажур сверху, сам стоит над столом и что-то чертит. А может, рисует. Лицо в тени – как черная маска, а от затылка – сияние. Движения широкие, резкие. Сплеча сечет. Или полосует, режет будто – господи, неужели?

Потом случилось самое страшное. Я поняла, кто на очереди.

Куда бы он ни направлялся – к реке, это если солнце, сидеть на газете и пялиться тайком поверх книги, или в магазин, выходя, насаживал на руль облупившийся полиэтиленовый пакет, набитый цветными журналами и торчащей палкой французского багета, и, вихляя, давил на педали. Или просто куролесил по округе – до станции или в сосновый бор, иногда заворачивал к генеральскому госпиталю, там в стекляшке у проходной пил молочный коктейль, щурясь сквозь очки на плотных генеральш и их вальяжно пошаркивающих в мягких пижамах пастельных цветов супругов, – куда бы он ни направлялся, обратный путь его непременно пролегал мимо дачи Сомовых.

Да, Сомовых!

Обычно он останавливался сразу за поворотом, не доезжая до их участка. Присев, крутил рукой педаль, щупал шины. Тер шею и кивал головой. И поглядывал поверх забора.

Там на открытой веранде второго этажа загорала Лариса.

Она, похоже, была уверена, что с улицы ее не видно. Или почти не видно. В любом случае она ошибалась.

И, перегнувшись через колесо и что-то вроде подвинчивая, Глеб Ильич с налитым лицом и приклеенным взглядом немигающих глаз ждал, когда же наконец Лариса перевернется на спину.

Или привстанет за сигаретой.

Или (об этом можно было только мечтать!) поднимется во весь рост и, потянувшись, сонно проплывет и скроется в пещерной тьме комнаты. Но непременно вернется обратно на сияющую в послеполуночном огне сцену веранды.

Мои мысли, цепляясь друг за друга, суматошно мастерят планы, один нелепей другого. Да, я прекрасно отдаю себе отчет в их абсолютной вздорности – но ведь не могу же я просто наблюдать за ним, за Глебом Ильичем, за Портным – за маньяком! – не предпринимая ничего? Ведь нет же!

Глупо идти в милицию – мне был знак, так, что ли? Голос мне был?

Может, предупредить Ларису? Вместе прокрасться, показать, как он там у себя полосуется под абажуром что-то? Эх, знать бы, где его ножницы...

Странная штука эти зеркала! Иногда – мельком или впотьмах – глянешь, а оттуда черт знает что на тебя пялится. Глупости, глупости все это...

Я просто страшно устала – следить за Портным оказалось делом весьма утомительным, прежде всего не физически, а морально, даже, я бы сказала, психически (или психологически? – не уверена).

По натуре я человек увлекающийся. Страстный. Даже в мелочах. А тут такое дело – маньяк!

Неудивительно, что вся моя миленькая, превосходно тикающая дачная жизнь обратилась в жутчайший ералаш: чашки и тарелки шаткой пагодой выросли из раковины, разноцветные тряпки поползли во все стороны из ящиков комода и сплелись в клубки в недрах шкафа, в спальне приторно (до тошноты) воняло жасмином – расколотила почти полный флакон «Жози» – растяпа! – по полу обрывки журналов и газет, – короче, дрянь! – больше всего ненавижу безалаберность!

Бесило меня, что этот мерзкий Глеб Ильич так вплелся в мою жизнь, во все ее мелкие финтифлюшки и завитки, мои интимности и аккуратности, что я порой даже ловила себя на безумной мысли, что это он следит за мной. Он – за мной, понимаете? Своей розовой мордочкой вынюхивает, вышныривает, затхлый его запахок – тут он! Туточки!

Какая чушь! Смешно! Но я поэтому про зеркала и завела разговор... Так-то!

Я трогаю колкую хвою. Кончиками пальцев. Щекотно, трудно перестать. Оранжевый от заката песок, мягкий, в собачьих лапах и крестиках птичьих следов, в ботинок упирается змейка велосипедной полоски, утекающей вдаль по тропинке, изящно раздваивается в два колеса при повороте, а после сливается снова в один след.

У моего каблука – муравей. Большой, красно-коричневый, словно составленный из кровавых бусинок, страшно суетясь, пытается утащить шелковистую гусеницу с замысловатым узором. Гусеница пружинисто извивается – она вдвое больше, но муравей упорен и не сдаётся. Вновь и вновь подползает под нее и тащит. Время его на исходе – солнце уже почти село.

Вот и Лариса. Опоздала почти на двадцать минут – не сюрприз. Волосы мокрые – только из душа. Майка на голое тело – ну-ну...

Я глянула вниз, на муравья. Похоже, ничего у него сегодня не получится. Увы... Я впечатала его каблуком, крепко надавив, чуть даже ввинтив в песок – так, для верности.

– Вы сказали, что это очень важно? – улыбаясь, спросила Лариса.
– Жизненно важно! – Я тоже улыбнулась. – Вы все увидите сами. Пойдемте!
– Куда? – Это – игриво шурясь.
Мне не хотелось портить сюрприз – пусть сама все увидит.

...как он там под канифольной желтизной абажура кромсает и полосует этих мерзких девиц – бритвой! – вырывает их из журнала – и на стол! И бритвой! Так их, будут знать, паскуды! «Ни стыда, ни совести» – как матушка-покойница говорила, ведь что вытворяют, оторвы? Ни стыда, ни совести! Наказать гадких девчонок!

Пусть, пусть сама увидит!

...как еще там матушка говорила: «Не будешь меня слушаться, пакостный мальчишка, – я тебя вот этими ножницами, чик-чик (пусть, пусть на эти ножницы полюбуется – большие, страшные, аж острые – жуть! – сзади за ремнем спину как холодят приятно), чик-чик – и девчонку из тебя сделаю. Чик-чик! И готово. Был мальчик – и нету! Есть девочка. Егоза бесстыжая! А уж с грязными девчонками я знаю как поступать. Как их, негодных, наказать! Знаю!»

Я взяла велосипед за черный руль и мягко покатила рядом. Запахло дымком, кто-то топил самовар на веранде.

Вдруг Лариса остановилась:

– А сознайтесь, – она кокетливо, чуть по-птичьей склонила голову (так курица одним глазом – глупым и круглым – разглядывает червяка), – сознайтесь, что вы ко мне... э-э-э... не-ра-вно-душ-ны. А, Глеб Ильич?

Мне стало смешно.

Она даже не представляла себе, насколько была права.

Дюны Скарборо

В последней неделе августа есть некая печально-восторженная истома, упоение надвигающимся финалом, будто кто-то жестокий с иезуитской медлительностью показывает вам грустные картинки наступающей осени: то вдруг за ночь покраснеют листья клена, то распахнется настужь меловой скукой набухшее небо, то тоскливо потянет откуда-то сырым дымом небойского костра. От упрямого ветра слезятся глаза, он дует всегда в лицо, всегда с севера. Он знает, что делает, – он усердно гонит холод. Густой кустарник шумно кланяется, заголяясь светлой изнанкой листьев. Летняя пестрота почти слиняла, все вокруг кажется присыпанным серой пылью: соседняя роща, крыша флигеля, торчащая из-за сломанного бука. А дальше горбатый мосток на тощих сваях, за ним жестяная полоска океана с кромкой посеревавшего песка, такого золотистого еще вчера. По покатым склонам дюн гуляет сырой ветер, видно, как он треплет осоку, в которой все лето таились краснокожие охотники за скальпами, а теперь не осталось ничего.

1

Моя тетка умерла в эту пятницу, последнюю пятницу августа. Однако изысканную иронию работников небесной канцелярии я оценил чуть позже, уже в самолете: тетка умерла день в день со своим братом, моим отцом. С разницей в двадцать один год.

Отец остался в моей памяти высоким красавцем и лихим романтиком, жившим на всю катушку, шепутным и веселым – в молодости он выкинул фортель, тайком от родни женившись на моей матери, маленькой и ладной брюнетке с быстрыми беличьими глазами и крепкими икрами цирковой акробатки. На вылинявшей в пепельную синь афише, что до недавних пор висела у меня над диваном, ей от силы лет двадцать. Наивный цирковой грим, вскинутые в задорном восторге брови, мохнатые ресницы, на голове – немыслимое сооружение из страусовых перьев делают ее похожей на диковинную птицу, залетевшую из неведомых, почти сказочных стран. Что отчасти было правдой. Отец, оканчивавший тогда Гарвард, влюбился в нее, безоговорочно потеряв голову, во время гастролей московского цирка в Бостоне.

У нее был неожиданно низкий для дамы ее комплекции грудной голос. Она красиво и протяжно пела песни, от которых становилось грустно и хотелось плакать.

Помню восторг хмельных вечеринок, когда она с милой непосредственностью, ни с того ни с сего, вдруг делала стойку на руках на спинке стула, а после, пружинисто соскочив, обводила гостей изящным жестом миниатюрной руки, стреляя озорными глазами. Гости хлопали и орали, мамаша рассыпалась в ловких книксенах. Она была лилипуткой, моя матушка, ростом не выше второклассницы.

Отцовская родня оказалась в гораздо меньшем восторге от ее искрометных талантов. Отношения, могу предположить, не сложились сразу и закончились оглушительным скандалом, от которого в моей памяти остались хлопающие французские двери и визг бесящихся под ногами бабкиных болонок с гадкими коричневыми потеками под глазами. Отец размахивал руками и страстно шагал по толстому ковру, на дальнем углу которого я беспечно елозил пожарной машиной. Отец поворачивался спиной к горячо багровеющему камину и, сжав кулаки, зло выкрикивал что-то в лицо старику.

Старик, корявый, седой и страшный, с косматыми, как крылья полярной совы, бровями, сидел в кресле и пялился в огонь. Когда огонь иссяк и нутро камина замерцало волшебным рубиновым светом, старик встал и, не сказав ни слова, вышел, так крепко саданув стрельчатой дверью, что из дверной рамы брызнули разноцветные стекляшки. Дед был любителем сильных

эффектов, он с помпой покинул комнату и заодно мою жизнь. К слову сказать, именно тогда я в последний раз видел и свою тетку.

А через несколько лет она получила в наследство все: дед попал в пургу на Аляске, на полете к Ситке его одномоторная «Сесна» потеряла управление, и он протаранил маяк. С ним разбилась бабка и обе ее гнусные болонки.

Белобровый угрюмый старик оставил моего прекраснородушного романтического отца на бобах, за месяц до авиакатастрофы вычеркнув сына из завещания и переписав документ в пользу дочери. Единственное, чего бровастый угрюмец не смог лишить моего отца, оказалось материей эфемерной и практически неупотребимой. Мамаша моя величала это барской спесью, отец же называл родовой гордостью. Мне это представлялось чем-то мрачно-таинственным, вроде босховской пляски смерти или хоровода покойников на день Всех Святых.

На окраине Бостона, где я рос, если обойти старые доки и пересечь пустырь на север, стоит заброшенная кирпичная церковь с провалившейся крышей, из которой черными ребрами торчит островерхий остов колокольни с крестом, а стены над узкими оконцами до сих пор замазаны сажей. Говорят, что молния угодила в храм во время воскресной службы и священника убило на месте сорвавшимся распятым. Я даже залезал внутрь церкви, в надежде отыскать на битых плитах пола следы крови, однако ничего, кроме плесени, мелкого мусора, пары пустых бутылок и одной дохлой крысы, не обнаружил.

Разумеется, согласно молве, святой отец оказался чертовски грешен, разумеется, история не обошлась без простодушной молочницы с тайно народившимся младенцем, – короче, прихожане решили, что место это теперь безвозвратно проклято, и выстроили себе новую элегантно-белую церковь напротив кожевенных складов.

Заброшенный храм вращался в пустырь, с каждым летом все глубже увязая в лопухах и сливаясь с неброским северным пейзажем Новой Англии. С годами, вконец запутавшись в цепком и сочном плюще, церковь по-стариковски сгорбилась и просела. Забытое кладбище за дальней стеной заросло высоким репейником и чертополохом, днем оно звенело от кузнечиков, а по ночам там, разумеется, видели привидений.

Меня привидения не пугали, и я часто после школы отправлялся туда, предпочитая тихое внимание покладистых покойников домашней ругани и уличным дракам. Я ловил вертких стрекоз, наблюдал, как жирный рыжий паук, ловко перебирая мускулистыми лапками, пеленал незадачливых мух, угодивших в его воздушную сеть-невидимку, мастерски растянутую в шиповнике. Я бродил по могилам, с опаской гладил одичавшие камни надгробий и пористые, как сухой хлеб, крылья безносых ангелов, ушедших по грудь в мягкую траву. Трогал поникие каменные кресты, пытался разобрать стертые имена и даты: кто они, как выглядели? Вот этот самый Бабингтон-Смит, почивший в бозе в 1831 году, – каким он был? Пузатым, красногордым пиводувом в мятой треуголке, бабником и баламутом или занудным тощим крючкотвором в пуританской черной шляпе? Я замирал от восторженно-ужасной мысли, что этот самый Бабингтон-Смит, исчезнувший без малого две сотни лет назад и давно забытый всеми, лежит себе как миленький вот здесь, под моими ногами, на глубине всего каких-то шести футов! И от этого жуткого соседства у меня по спине бежали мурашки. Холодея от страха, я воображал буйную ветреную ночь с мутной бегущей луной, мокрый стук лопаты в гнилую дубовую доску, дрожащий фонарь и кошмарное месиво гнилого камзола с оловянными пуговицами, желтых костей и свирепо скалящегося черепа.

Что и говорить – у меня так и не хватило духу стать гробокопателем, но ощущение грустной заброшенности, кладбищенской тишины и полного забвения навсегда поселились в моей памяти в скорбном разделе «Бренность бытия». На ту же пыльную полку я пристроил, кстати, и столь лелеемую моим отцом родовую гордость. Прошло много лет, но мне и сейчас невдомек, отчего это я должен пыжиться и изнемогать от восторга, что неким смутным предкам отца и бровастого деда триста лет назад взбрело в голову вдруг оставить Англию, переплыть океан и

обосноваться в Новом Свете. В конце концов, мало ли кто куда переезжает с целью улучшения жилищных условий, что ж, теперь памятники всем ставить будем?

2

Голос в телефоне был брезгливо-скучающий, обычный для племени местных юристов. Он с безразличием земноводного проинформировал меня, что моя тетка Анабелла Скарборо скончалась и что похороны состоятся тогда-то и там-то. И прежде чем я сообразил, как бы язвительней послать звонящего и усопшую старуху, на том конце повесили трубку.

Последний раз тетка возникла в моей жизни давно, целую вечность тому назад, уже после того, как мой отец, проигравший неравную битву с «Джеком Даниэлсом», тихо и почти незаметно перебрался в Брэтвудский колумбарий у старого порта. Удивительно, но я испытываю к этому наивному романтику с большими скорбными глазами самые искренние и добрые чувства. Наверное, это и называется любовь, хотя после недавнего развода я уже не так самоуверенно расклеиваю столь яркие ярлыки.

В моей памяти к тетке навечно прилип запах сторовшего молока. На кухне убежало молоко, и по всей квартире тянуло горькой вонью.

Помню силуэт матери с телефоном в дверном проеме, узкие крашенные стены в хитрой географии трещин и пятен, низкий меловой потолок нашей убогой бостонской квартиры.

Чужим высоким голосом и отчего-то в нос, мать с деревянным русским акцентом выстраивает простенькие фразы, словно деловито укладывает детские кубики. Мне уже четырнадцать с половиной, и я почти вдвое выше нее. Я кусаю в кровь губы от стыда за то, что мать так и не выучилась порядочному английскому. И что она так неуклюже вымогает деньги на мое обучение.

Я украдкой поднимаю параллельную трубку и слышу теткин густой, почти мужской баритон. Значение слов «бастард» и «проститутка» мне уже известны. Я вообще был сообразителен не по годам.

Со смерти отца не прошло и трех месяцев, как к нам зачастил обстоятельный мелкий господин из бывших маминых коллег по московскому цирку, некто Пинскер, сбежавший во время гастролей в Калифорнии и тут же получивший политическое убежище как преследуемое меньшинство, что, на мой взгляд, было крайне иронично.

Как же я ненавижу этого карлика! Эти омерзительно влажные губы, этот томный олениный взгляд, прилипший к тугому декольте матери. Мамаша требовала называть его дядя Юра, сам же он, шаркая детским ботинком, гордо представлялся как Джордж Руффино, но я с подростковым упрямством величал его дядей Жорой.

Что и говорить, наши чувства с дядей Жорой оказались вполне взаимными: в результате я загремел в интернат, мамаша стала миссис Пинскер (или синьора Руффино – я не успел выяснить), и счастливые молодожены переместились из дождливого Бостона в солнечную Флориду.

После мне довелось жить в разных местах, период возмужания пришелся на казенные дома, преимущественно выкрашенные невеселой охрой. По большей части это были тусклые помещения, насквозь пропитанные хлоркой и эхом подзатыльников. Кстати, до сих пор диву даюсь, как я не угодил в тюрьму.

3

Я добивал уже вторую порцию бурбона, но так и не понял, зачем я все-таки направляюсь в «Дюны». Когда самолет, вздрогнув, выпустил шасси, я наконец сдался и чистосердечно при-

знался себе, что мне нужен был лишь предлог, чтоб сорваться с места. Сорваться и куда-нибудь побежать, неважно куда, главное – бежать и не думать. Ключевое слово здесь – не думать.

Моей недавней и, несомненно, лучшей половине удалось выкачать из меня все полтора галлона моей бодрой крови. Я стал пуст и прозрачен. Я качался на ветру, ветер гнал меня, как легкий мусор. И вот теперь я летел в «Дюны».

Года четыре назад жена наткнулась в Сети на имя моей тетки. Там же упоминалось, что на пожертвования мисс Скарборо был основан этнографический музей, что-то, связанное с культурой местных индейцев. Цифра в три миллиона производила впечатление, в статье говорилось и о другой филантропической активности старой девы, велись спекуляции на тему возможных наследников, перечислялись какие-то фонды и благотворительные общества с умильными названиями. Мое имя там не упоминалось вообще.

Вовсе не хочу утверждать, что жена была меркантильной особой, просто цифры с нулями мешали ей спать. Даже не сами деньги, а то, как старуха их транжирила.

А после того как половина моих клиентов вылетела в трубу и наш годовой доход съезжился до совсем неприличной цифры, единственной темой наших страстных бесед стали капиталы Анабеллы Скарборо.

Мои конвульсивные попытки спасти бизнес ни к чему не привели – кому и на кой ляд нужны туристические сувениры в самый разгар экономического кризиса? Я уже был готов удавиться от безысходности и бесконечных упреков, как мне вдруг все-таки повезло. Спасителем оказался незадачливый Чарльз Роджеро, коротконогий и веселый аргентинец, недавний эмигрант с деньгами сомнительного происхождения. Он, шутя и особо не раздумывая, купил мою умирающую сувенирную империю.

Одновременно Джилл подала на развод, так что в начале необычно жаркого для Манхэттена мая я неожиданно оказался абсолютно свободным человеком. Причем свободным во всех смыслах этого слова. Увы, избыток свободного времени – опасная штука. Поначалу мне легко удавалось убедить себя, что во всем виноваты стерва-жена и экономика. К концу июля я уже пьяно рыдал на костлявом плече какой-то мулатки в гнусном стрип-клубе на Тайм-сквер, проклинал бездельника-отца и всех остальных Скарборо, называл себя законченным неудачником и клялся, что сегодня же перережу себе вены.

Вены я так и не перерезал – я не боюсь боли, меня мутит от вида крови, – но горькое ощущение детской обиды, что меня уже больше не позовут играть, накрепко засело во мне.

От отчаянья я даже позвонил матери. Правда, тут же пожалел об этом – солнечный мир маленьких загорелых обитателей Флориды оказался неуязвим и глух к страданиям. Мамаша бодрым голосом тут же обвинила во всем отца и его родню и сказала, что опаздывает на гольф. Я не удержался и уточнил: мини-гольф? Она бросила трубку.

Ей, кстати, по непонятной причине никогда не нравилась фамилия отца, она так и осталась при своей девичьей – Мамонтова. При ее габаритах это было вполне забавное сочетание, гораздо смешней, чем будь она какая-то Скарборо.

Отец, напротив, фамилией своей гордился: его предки, доплыв до Америки лет триста назад, тут же задорно принялись осваивать целинные просторы, воевать с французами, англичанами и индейцами, строить города и прокладывать знаменитый Юнион Пасифик.

Некто Гарольд Скарборо, явный авантюрист, сгинул где-то в районе Клондайка, задолго до начала золотой лихорадки. Его более рассудительный брат Арчибальд оказался домоседом. Купив кусок побережья неподалеку от Портленда, он рьяно занялся рыболовным промыслом и вскоре, став консервным бароном штата Мэйн, завалил лобстерами, креветками, устрицами и угрями все рыбные базары от Нью-Йорка до канадской границы. В сорок его хватил удар.

Консервная империя, да и все состояние, перешли к старшему сыну Роджеру. Роджер любил жить на всю катушку, обожал нью-орлеанских жигелеток, абсент и входившие тогда в моду «слепые» салунные дуэли. И прежде чем его пристрелили по пьяному делу в порту Сан-Франциско, умудрился просадить за три года почти все, за исключением небольшой полоски земли с дюнами, соснами, большой белой усадьбой и парой флигелей для прислуги на берегу Атлантики. Называлось поместье просто – «Дюны».

Меня вывозили в эти романтические пенаты каждое лето, вплоть до того памятного скандала, когда дед, расколов вдребезги витражную дверь, с неумолимостью Саваофа и вполне банально следуя библейским стереотипам, изгнал наше семейство из фамильного Эдема. Потеряв рай, я стал проводить свои каникулы на заброшенном кладбище за старыми доками.

Вспоминаю тот огромный дом, круглый зал с витражами, заплутавшие в собственных отражениях галереи и коридоры. Закопченные портреты в пудовых рамках, усатые и бровастые, все как один с горящими очами. Во мне все эти непоседливые и воинственные Скарборо, к которым я по непонятной причине тоже отношусь, возбуждали скорее робость, но уж никак не восхищение. Их реальность вызывала вполне оправданные сомнения, так что моя детская фантазия разместила древнюю родню в ту же категорию, куда ранее угодил Санта-Клаус, а вслед за ним – разнообразные витязи, чародеи и спящие царевны из матушкиных чтений на сон грядущий.

По правде сказать, едва различимый в мутной сепии усатый кавалерийский лейтенант из армии генерала Кастера волновал мою душу куда меньше, чем русская русалка, живущая по непонятной причине в ветвях дуба. Бестолковые матушкины разъяснения загадки не прояснили, и я, засыпая, видел в лучах волшебного заката узловатый, разлапистый дуб, перетянутый крест-накрест крепкой золотой цепью, желтоглазого сонного кота и несчастную розовогрудую русалку, что, изнемогая, карабкается по сучьям, подтягиваясь на дрожащих от усилия руках, помогая себе влажно-оловянным селедочным хвостом.

4

Аэропорт Портленда, провинциальный и сонный, был наполнен пыльным, ленивым солнцем. Таким же вялым оказался и сам город.

В воздухе угадывалась сырая горечь, безошибочно чувствовалась близость океана, который долго играл со мною в прятки, скрываясь за скучными фасадами с большими немытыми окнами. Весь город был чуть наклонен, казалось, здесь все неумолимо сползает в сторону океана. Пройдя по покатою улице, я оказался на наклонной, мощенной красным кирпичом площади. Между двух седых лип возвышалась уродливая скульптура, сваренная, похоже, из кровельной жести. Попавший в ловушку ветер гонял по кругу пыльные листья и пестрый мусор. Шорох смешивался с занудным треньканьем.

Под липой стояла робкая девица с грязной фиолетовой шевелюрой и стальным кольцом в ноздре. У ее ног лежал раскрытый скрипичный футляр с парой монет на плешивом бархате. Скрипку девица держала на манер мандолины и непрерывно тренькала пальцами по струнам, зажав один и тот же аккорд.

Сбоку, на чугунной лавке, плоско блестя бритым затылком, сидел могучий мужик. Рядом, подавшись вперед, застыл кряжистый, пыльно-серый дог. Твердым, как палка, хвостом он стучал по чугунной лапе скамьи, попадая в такт треньканью. Мужик мрачно повернул ко мне кирпичного цвета лицо, дог, перестав бить хвостом, тоже недобро взглянул на меня. Мне стало не по себе, и я пошел дальше.

Наконец внизу мутно вспыхнула вода, долетела злая ругань чаек. Над крышами коренастых халуп показались мачты и засветились белыми углами верхушки парусов.

Потолкавшись в толпе голодных туристов, я устроился за кривым столиком у самого парапета. От воды тянуло тиной. Залив был забит лодками и яхтами, на мелководье прямо подо мной плавал одинокий ботинок.

Пиво оказалось неожиданно свежим и холодным. Одним глотком я отпил половину и, жмурясь, стал разглядывать лодки. По парапету прогуливалась чайка, она подошла и бесцеремонно уставилась в мою тарелку. Я кивнул ей в сторону гнутой жестянки со страстным запретом: «Чаяк не кормить ни в коем случае!»

Допивая пиво, я с радостным облегчением вдруг понял, что там, в «Дюнах», меня никто не знает и мне не придется играть противную роль бедного родственника. Я подмигнул чайке – прикинулся каким-нибудь столичным репортером. Пренебрежительно шаркая тапками, квелия официантка возникла из черноты кухни и шлепнула на стол счет, припечатав по привычке солонкой. Ветра не было, в заливе был полный штиль.

Чайка, поджав одну ногу, с укором кивнула лакированным клювом, проследив, как я сунул двадцатку под солонку. Она явно пыталась меня пристыдить.

Оглядевшись по сторонам, я кинул умной птице остаток сэндвича и пошел к машине.

5

Из бардачка я выудил карту, что мне вручил в прокате ленивый и рыхлый клерк, он прочертил корявой линией кратчайший маршрут по первому шоссе. Решив, что спешить мне некуда, на перекрестке я свернул на проселочную дорогу – ту, что, согласно карте, вилась вдоль береговой линии.

С пейзажами мне явно не везло сегодня: романтические виды седой Атлантики снова загоразивали сначала какие-то бесконечные ржавые пакгаузы, а после, кое-как выстроившись в линейку, потянулись мелкие, по большей части уродливые домишки, низкие пеналы мотелей с выбеленными вывесками, желто-красные котлетные, убогие лавки с антикварным старьем, у дверей которых были свалены деревянные колеса от телег, кучи битой домашней рухляди, кресла-качалки, гнутые каминные решетки, ведерные чайники с мятыми бронзовыми боками и прочая никчемная дрянь.

Суетливо замелькали придорожные забегаловки, неумело прикидываясь охотничьими берлогами или рыбацкими лачугами, они божились накормить от пуза и почти даром, заманивая трехфунтовыми лобстерами, камбалой утреннего улова, акульими плавниками, крабами, мидиями, устрицами и бесплатным буфетом. Кое-где дети до десяти лет щедро угощались за счет заведения.

Без особой надежды переключая шипящее радио, я пытался вспомнить свою тетку, собрать, составить ее из осколков то ли памяти, то ли воображения. Получалось что-то сродни раннему кубизму Пикассо. Разумеется, сразу же вспоминались крылатые брови, но эта горделиво-хищная черта присутствовала практически на всех закопченных портретах лихой родни, не говоря уже про грозного филинобрового деда.

Из лоскутков памяти сложились пестрые тени на траве, перестук крокетных шаров, полосатые зонты и шезлонги, надутые морским бризом... откуда-то приплыл запах какао и горького шоколада – удивительно, оказывается, было время, когда я даже не знал вкуса бурбона. Вспомнились слезы и чинные похороны какого-то зверька, кролика, кажется... Всплыли огромные комнаты, наполненные душным солнцем, бескрайний ворсистый ковер, из узора которого, если всмотреться, постепенно проявлялись рожи страшных чудовищ.

Тетка подарила мне коробку красок и этюдник – как водится в хороших семьях, я подавал в детстве большие надежды. Увы, из моих увлечений изящными искусствами ничего толком не вышло – талант мой оказался скуден, так, талантишко. Поздней, в юношестве, я упрямо изводил себя бесконечными упражнениями, пока не понял, что одного упорства в этом деле мало. Среди творцов встречаются редчайшие бриллианты, те, что играючи выдувают божественные мелодии, едва коснувшись губами хрустальной флейты; порой им даже и флейта не нужна – гении, одним словом. Другие, назовем их крепкими талантами, соединив усердие с умением, ловко порхают по клавишам, наполняя вселенную чудесными аккордами. Еще есть унылые ремесленники, кое-как овладевшие немудреной техникой, и, подобно шарманщику, что у входа в трактир устало крутит ручку своей нехитрой машинки, сотрясают воздух хрипом и лязгом назойливого мотивчика.

Что касается меня, то я сижу в этом самом трактире и барабаню тяжелыми и непослушными ладонями по щербатым доскам стола, упрямо выбивая мрачный ритм. Да, вот такая музыка, синьоры.

К счастью, мои предпринимательские способности оказались более обнадеживающими. Бизнес свой я начал скорей от безысходности, а вовсе не в полете за американской мечтой. Скитаясь по безотрадным ущельям Манхэттена в поисках работы, я разговорился с уличным торговцем сувенирами. Тот плохо различимый в ноябрьской тьме развеселый негр и натолкнул меня на счастливую мысль.

Начав свой бизнес в тесной бруклинской конуре (жилище было не больше шкафа, не вставая с кровати, я мог достать пиво из холодильника на кухне), через четыре года я стал фабрикантом с дюжиной нелегальных пуэрториканцев и двумя раздолбанными шелкографными станками, без устали шлепавшими трафареты на копеечные китайские футболки. Я сам развозил коробки с товаром на битом пикапе, сам до зари щелкал на грязном, как грех, калькуляторе, составляя сметы и балансы, сам пронырливо шарил по роскошным салонам Пятой авеню, стараясь запомнить новейшие модные узоры и стильные завитки, чтобы впоследствии бессовестно их передраť.

Усердие не пропало даром – постепенно жизнь моя наполнилась солнцем, вместо ржавой стены склада за моим окном теперь играла зелень Центрального парка и сияла игла дома Крайслера. Мне доставало здравого смысла не мнить себя богачом, но уютное чувство толстенького достатка добавило мне мягкость барственных манер и снисходительную томность во взгляде. И казалось мне тогда, что не будет уже ни конца и ни края благоденствию, что жить я буду счастливо и, скорее всего, вечно.

6

Промелькнул указатель. Почти прозевав поворот, я въехал в деревню. Огунквит на местном наречии означает «Прекрасное место у моря». От индейцев здесь ничего, кроме названия и унылых экспонатов теткиного этнографического музея, не осталось.

В детстве название так нравилось мне, что я повторял это таинственное слово «Огунквит» на все лады и, вооружившись биноклем, часами пялился с обрыва в дюны, мечтая разглядеть в сочной осоке тайно крадущегося медноликого ирокеза. Тогда же строгий дед пресек мои фантазии, заявив, что никаких индейцев, кроме молодого садовника-чероки, помешанного на клематисах, тут нет, земля была куплена по закону, а индейцы вывезены в резервацию.

– В штат Огайо, если не ошибаюсь, – добавил он, двигая мохнатыми белыми бровями. – Можно уточнить в купчей. Если тебе так уж любопытно.

Он был крайне обстоятельным джентльменом и не выносил неточности и расхлябанности, мой дедушка.

Согласно купчей, землю приобрел Арчибальд Скарборо, эсквайр. Взамен индейцы племени чероки получили товаров на сумму тридцать семь долларов. Список прилагался: шесть топоров, триста ярдов пеньковой веревки, два ящика гвоздей, бочка с крышкой, три молотка.

Дед, раскуривая трубку и временами исчезая в клубах медового дыма, разъяснил, что на стороне сэра Арчи в сделке приняла участие кавалерия. Вообще, кавалерия – отличный аргумент в любом споре, в этом я не раз убеждался впоследствии.

Деревня Огунквит делилась пополам главной улицей, которая так и называлась – «Главная». Я приткнул машину за пустым баром и решил осмотреться. Широкие тротуары, ярко-белые, по-курортному кокетливые домики в новоанглийском стиле. По большей части пансионаты и гостиницы. Все они изо всех сил намекали на близость океана: на крыльце одного я заметил невзначай забытый кем-то в углу чугунный якорь и пару бухт швартового каната, из крыши другого торчала мачта с пестрыми сигнальными флажками.

Дело шло к вечеру, и уже начиналось неторопливое курортное гулянье. Я без труда уловил ритм и, сунув руки в карманы штанов, лениво зашагал по тротуару, блаженно шурясь в темные отражения витрин. Я брел, улыбаясь незнакомым курортникам с алыми носами и пропеченными лицами. Мне показалось, что я почти органично влился в этот фальшиво-парусный маскарад.

Крохотная девчушка с бантом, отдавив мне ногу, ракетой прошмыгнула мимо. Она распахнула дверь в мороженную лавку, и меня обдало карамельно-сливочным духом. Солнце садилось. Вторые этажи порозовели, стекла вспыхнули и растеклись рыжим. Я брел как зачарованный, совершенно позабыв о цели приезда, да и была ли цель? Выплывая из ароматного облака булочной-пекарни, я тут же погружался в горько-приторный дух соседней кондитерской.

Названия поперечных улочек будоражили фантазию и аппетит: Устричный Спуск, Нежный Лобстер, Вечерний Улов. Не отставали от них и имена пансионатов, налегая на морскую романтику и домашний уют. На высоких террасах, опутанных тяжелыми выюнами и мелким леденцовым разноцветьем, сияли корабельной белизной удобные даже на вид кресла-качалки с полосатыми подушками. Оттуда пахло кофе и вечерней «гаваной». Колыбельно поскрипывая, кресла мерно раскачивались, в них покоились плотные тела постояльцев. Розовые пальцы переплетены на тугих желудках, веки прикрыты, на лицах печально-загадочные улыбки. Я огляделся – все места были заняты. Мне стало слегка обидно, что даже такой пошлой курортной мелочи, как кресло-качалка, и то на меня не хватило.

Пахнуло пряным одеколоном. Светски-валяжно, шаркая подошвами итальянской кожи, фланировали геи. Сияли гладким абрикосовым загаром по-ребячьи нежные лица, украшенные неброским пирсингом из мелких бриллиантов. Один ласково говорил по-французски, что-то про «опечаленность ускользнувшим летом». В руках у него скалился и дрожал черный пуделек в кокетливо-алом ошейнике. Я улыбнулся и протянул руку, чтобы погладить его, чертова псина пронзительно затыкала, превратившись в маленького злого дьявола. Француз закудахтал, принялся успокаивать собачонку, целуя ее и по-бабьи обиженно тесня меня округлым плечом.

Небо остывало, темнело. Я миновал перекресток и уже собирался свернуть к океану, как вдруг из густой зелени вынырнул белый бок часовни и бурые булыжники кладбищенской ограды. Я подошел. За этой оградой, на этом кладбище с ироничным названием «Оушенвью» лежала почти вся моя скарборова родня, за исключением самых непоседливых. Там уже чернела аккуратная яма (моя фантазия мигом нарисовала свежеевыкопанную могилу во всех подробностях, вплоть до гильотинированных лезвием лопаты червей, высохших и похожих на бордовые колечки), в которую переберется завтра тетушка Анабелла.

Трогая пальцами дикие шершавые камни, я побрел вдоль стены. В этот момент где-то пробили часы. Плавный звон медлительно и сочно растекся надо мной, я задрал голову, казалось, что звонят именно на небе. К слову, там уже сворачивали скромный, но умело поставленный северный закат, впопыхах затягивая горизонт пыльно-лиловым.

Именно здесь, когда я замешкался у ограды, меня вдруг накрыло смутным, тоскливым чувством абсолютной непричастности не только к этому уютному захоластью белых террас и синих теней, но и ни к какому другому пункту во вселенной. Печальней всего стало от догадки, что неприкаянность – это не географическая проблема. На этот раз дела обстояли гораздо сложнее: механизм моей неказистой вселенной заклинило, шестеренки-колесики замерли, шустрые молоточки застыли на полувздохе. Мое мироздание плавно перешло в разряд хлама.

Я почти бегом направился к машине. Прихватив в придорожной забегаловке бутылку местного бурбона, доехал до ближайшего мотеля, быстро напился и, не снимая ботинок, заснул под беззвучно моргающий телевизор.

7

Поутру картина мироздания показалась мне гораздо устойчивее, невзирая на легкую головную боль и сухость во рту. Уже поднималось солнце. Я, улыбаясь, жадно глотнул свежего воздуха – прохладная девственность утра намекала на возможность искупления.

В моей памяти усадьба рисовалась почти сказочным дворцом, утонувшим по самый флюгер в дремучем сосновом бору. Там, в моей памяти, в крутой обрыв свирепо били серые океанские валы, а бездонную синь резали по диагонали белые чайки. В окрестных чащах прятались коварные индейцы и рыскали кровожадные чудовища. Что же я нашел в действительности?

Притормозив у ворот, я замер и прислушался к себе, пытаюсь уловить душевное волнение – как-никак родовое гнездо! Увы, разбодяженная едкой скифской кровищей благородная кровь Скарборо безмолвствовала. Хотя, правду сказать, ничего другого я и не ожидал.

Мрачные ворота, кованые, с железными латниками на столбах, были распахнуты настежь и, похоже, не закрывались давно. Запутавшись пиками ажурной решетки в цепких плющах, они были накрепко пришвартованы к земле. Шелуха позолоты с готических букв слезла, «Н» криво болталась на одном гвозде. Я хмыкнул. Ни жалости, ни сожаления, даже грусти не было. Беспризорность и запустение колыхнули в душе гаденькое злорадство.

Мне стало ясно, что равнодушие мое и к тетке, и к проклятому поместью, и к ее нештучным капиталам на самом деле были не более чем тщательно запрятанная ненависть пополам с завистью.

Да и сам приезд в «Дюны» на самом деле не более чем банальное желание упиться наконец крахом клана, который меня отверг. Надо мной весело гаркнула чайка, намекая не только на близость воды, но и на то, что секрет мой раскрыт. А ведь я так гордился ледяной индифферентностью, так лелеял стоическое пренебрежение к ее деньгам, что порой хотелось снять шляпу перед собой. На деле я оказался не лучше Джилл, просто ненависть моя была сильнее жадности.

Пожалев, что бросил курить, я въехал в ворота и покатил по аллее в сторону усадьбы.

Да, память моя – никуда не годный инструмент. На деле все оказалось мельче, беднее, обшарпанней. Я был разочарован, но разочарован приятно.

Миновав гостевые флигели (три убогих избушки, ветхих, а вовсе не таинственных и пугающих), сиротливо скучающие в густой тени от вымахающих почти вдвое кряжистых сосен, я остановил машину перед главным входом, приткнувшись за сияющим черным лаком, фургоном похоронной конторы. Нерешительно потоптавшись у клумбы, я малодушно пошел от дома

в сторону обрыва. Чертова старуха, даже мертвая, даже в дубовом ящике, отчего-то пугала меня!

На краю возвышался тот же валун, с которого я тридцать с лишним лет назад выслеживал кровожадных ирокезов. Или гуронов – некоторые детали бесследно стерлись. Проворно, но без прежней ловкости, я вскарабкался на камень. От распахнувшейся дали у меня екнуло сердце – дюны, горбатыми волнами пепельно желтели внизу. По склонам точно так же играла на ветру осока, а дальше синел океан. Ветер доносил ворчанье прибоя и горьковатый запах морской травы.

Я опустил на корточки, мои ладони безошибочно узнали нагретую шероховатость камня, я провел пальцем по глубокой трещине, как я это делал тогда, много лет назад.

Похоже, ответственные за стыковку кусков времени халтурно отнеслись к своей работе, и я провалился в небрежно пригнанный стык. Мне стало вдруг жутко, как это бывает во сне, жутко до мурашек. Я очутился в каком-то безвременье. Будто не было прошедших лет, а события моей жизни, и до этого выглядевшие вполне нелепо, сейчас казались мне полной несурасицей.

Я стоял на коленях, уперев руки в плоское темя валуна. Я глотал свежий бриз и не мог оторваться от синих, будто осколки неба, луж, оставшихся от прилива. Чайки разгуливали вокруг этих осколков на прямых ногах, с интересом заглядывая в отражения. Они деловито клевали песок крепкими желтыми клювами и с аппетитом лакомились незадачливыми моллюсками и мелкими крабами. Теплый ветер гулял по дюнам, ероша островки осоки, ее шелест сливался с глухим бормотаньем океана, который перетекал в такое же голубое и такое же бездонное небо.

– Начинаем в полдень, – произнес женский голос за спиной, – священник уже здесь.

Я повернулся, от неожиданности смущаясь своей нелепой позы. Попытался светски-небрежно присесть, что, судя по ее усмешке, вышло не столь грациозно, как я рассчитывал.

Лицо показалось мне знакомым, хотя я определенно не встречал ее раньше, это было чувство смутного узнавания, словно ты раньше бывал где-то или знал кого-то.

– Прекрасный вид, – вольно откинувшись на локоть, небрежно заметил я.

– Вид как вид, – она пожала плечами, – дюны.

На ней было темно-фиолетовое, почти черное, какого-то вороньего цвета, платье с широкой цыганской юбкой в мягких складках. Скуластое смуглое лицо с бархатистым оранжевым румянцем, чуткие смородиновые глаза, строгие брови, загорелые ключицы. Вообще, несмотря на деревенскую свежесть, она выглядела как-то слишком черно и мрачно на пестром утреннем фоне.

«Ах да, похороны», – вспомнил я, пробормотав ей, что сейчас буду.

Она снова пожала плечами и, повернувшись, быстро зашагала к дому. Она удалялась, бойко цокая подковками. На ней были короткие фермерские сапожки, черные с чем-то серебряно-сверкающим, на наборных скошенных каблуках.

Крепкие икры загорело мелькали в пышном трауре юбки, тут солнце зажгло белоснежную полоску воротника, брызнуло ультрамарином в забранной наверх чернильной копне. Шея, долгая и ладная, была, безусловно, штучной работы. У меня запершило в горле, и я закашлялся.

Смутно узнавая черты старого дома – низкое парадное крыльцо, ступени с зеленеющей в трещинах молодой травой, худые меловые колонны, гипсовых львов при входе, больше

похожих на больных собак неясной породы, – я обогнул разросшуюся акацию и, решительно пройдя в распахнутые настежь дубовые двери, оказался в полумраке прихожей. Пахло паркетной мастикой и еще чем-то горько-пряным, я попытался угадать и тут же увидел: лилии, два циклопических букета белели в конце галереи.

Миновав профессионально скорбную фигуру с лоснистым цилиндром в белых перчатках, очевидно, из погребальной конторы, я, безбожно скрипя паркетом, быстро зашагал по галерее в сторону раскрытых дверей в зал.

Я сразу увидел ее, едва войдя в душный сумрак, дрожащий и воняющий ванильными свечками и прелыми цветами. Там былолюдно, полукругом стояли в несколько рядов стулья, одинаковые, складные, тоже из похоронной конторы, отметил я, уже впившись глазами в массивный темно-вишневый гроб. Крышка была откинута, меня поразила внутренняя обивка – белоснежный атлас, словно это имело значение для того, кто был внутри. Среди цветов, в пышной пене кружев, тоже белых, почти свадебных, матово и страшно желтел острый восковой профиль. Я не мог оторваться от этого костистого маленького лица, от спекшихся в нитку серых губ, от фальшивого румянца на тугих скулах. Я заворожено разглядывал ее, постепенно проникаясь странным чувством, что от этой высохшей мертвой старухи в лакированном ящике исходит невероятное презрение не только ко мне – к этому-то я привык, – а ко всем, ко всему, что она оставила. К этим почтительно-скорбным людям, настороженно шуршащим черными одеждами, к пыльному лучу солнца на паркете, к пестрому от ласточек небу за стрельчатым окном, к уютному ворчанью океана где-то вдали. Словно она, эта мертвая старуха, знала некую важную тайну, о которой все мы даже не подозревали, продолжая с детской наивностью строить планы, прислушиваясь к щебету в синеве и важно полагая, что это знак чего-то очень хорошего.

К подиуму, убранному тяжелой материей в торжественных складках, выходили люди. Строго и грустно говорили, сочувственно обращаясь к сидящим, время от времени косясь на лакированный ящик. Скрипели стулья, белели скомканые платки, хотя никто не плакал. Смысл слов смутно доходил до меня, я не слушал. Джилл, моя бывшая, оказалась права – тетка раздавала деньги направо и налево, все выступающие представляли всевозможные фонды, конторы и общества благотворительного свойства. Совсем не хочется быть циником, но, похоже, я был единственным бескорыстным участником церемонии. Разумеется, не считая тетки.

Солнце угодило в витраж. На соседней стене, вспыхнув, заплясало легкомысленное разноцветье. Впереди, среди скучных затылков, я заметил знакомый кружевной воротник. Мне было видно аккуратное ухо с невзрачной, какой-то школьной серьгой, и персиковая щека.

Неожиданно после казенного бормотанья благотворителей зарокотал баритон, я даже вздрогнул. Говорил священник, сухой, с длинными мосластыми руками и жилистыми кистями. Указательный палец его был вложен в кожаную библию, тертую и мягкую на вид, другой ладонью он поглаживал книгу, будто лаская. Он говорил с мрачной тусклой страстью, покачиваясь большим телом вперед и чуть привставая на носки в ключевых фразах. После, раскрыв книгу, начал читать из Евангелия.

Из-за плавной красоты речи, похожей на магические заклинания, смысл снова ускользал от меня. Я глазел на плавающую от солнца тень витража, на розовую изысканность уха с дешевой серьгой, на ставшее уже привычным серо-лимонное лицо.

9

Около четырех все было кончено.

Уже плетясь с кладбища, я заметил белый воротник, догнал и, тронув за локоть, спросил имя.

– Фло, – ответила она, добавив, что это означает «летающая стрела» на языке чероки и что она дочь садовника усадьбы.

Я тут же вспомнил ее отца, хмурого меднолицего красавца, которым меня пугала матушка, зловещим шепотом уверяя, что он вовсе не индеец, а из тех кастильских цыган, что по ночам крадут детей. Еще она говорила, что они живьем едят змей, смолистые волосы индейца действительно стягивала полоска змеиной шкуры.

Как же все перепутано в этой жизни: ее отец оказался моим ночным кошмаром, являясь за мной из черноты неприкрытого шкафа с большим мешком из грубой рогожи. Мы рассмеялись, а после она сказала, что он умер четыре года назад.

А о матери она вообще ничего не знает.

Я, грустно улыбнувшись, сказал, что бывает и хуже. И вкратце пересказал свою историю, слепив яркий коллаж из папиных барских амбиций, маминой миниатюрной непосредственности, личной детской захудалости и бездарности, сдобрил это все тоской по звездному небу, тоской, впрочем, невнятной, хоть и вполне очаровательной.

Мы добрались до океана. Ослабшие краснотелые отдыхающие тащились с пляжа, нагруженные своим пестрым скарбом. Это было похоже на эвакуацию цирка. Начался отлив, вода отступала, оставляя гладкий и плотный, как серый цемент, песок. Вечерний прибой накатывал без особого задора. Пенился и убежал назад, превращая прибрежную полосу в мокрое зеркало. В нем отражались косматые, розовеющие по краю облака и неутомные птицы.

Фло звонко шлепала пятками по мелководью. Я, присев, расшнуровывал ботинки и любовался ее породистыми шиколотками, мелькавшими из-под черной цыганской юбки.

Океан поспешно уходил, зазевавшиеся крабы кособоко семенили обратно в воду. Иногда нам попадались большие моллюски в шершавых меловых раковинах, похожих на сложенные в молитве ладони. Фло подбирала ракушки и, смеясь, ловко закидывала их на глубину.

На веранде, оранжевой от заката, в дальнем углу, где что-то пестрело и цвело, задумчивая дама с прямой спиной тихо ухмылялась прибою, загадочно прикрывая траурно подведенные глаза. Она мелкими глотками отпивала чернильное вино из бокала – я ощутил вдруг пронзительную жалость к этим чернильным губам и к кустарно нарумяненному лицу.

Бесцеремонные чайки прохаживались меж стульев, взлетали и бессовестно пялились в наше блюдо, полное креветок и мидий. Я утверждал, что чаек нельзя кормить ни в коем случае, Фло смеялась и трогала букетик цветов в маленькой вазочке. На белой скатерти ее руки казались такими загорелыми...

Я легко запрыгнул на парапет, распугивая птиц, промчался по перилам стремительным колесом, лихо соскочил, сделав двойное сальто-мортале... Хотя нет, такими мамашиними талантами я, увы, тоже обделен, – я просто сидел и улыбался.

Мы пили кофе, снаружи все уже посинело, сосны слились в черный орнамент. Пахло ночной лесной свежестью. Закрыв на минуту глаза, я прислушался – механизм вселенной снова тикал. Он пошел! С изумлением я вслушивался в тихий перестук небесных молоточков и шелест воздушных маятников.

– Все хорошо? – Фло коснулась меня своей загорелой рукой.

– Все хорошо.

Я, оказывается, забыл, что можно радоваться самым простым вещам – уютному голосу, ночной прохладе, шороху волн. Прошлая жизнь выглядела нелепостью, и было жутко, что я мог так и остаться там, в скуке, суете и бестолковости, упустив смысл, будучи совсем рядом, всего лишь за несколько слов до разгадки.

Мы добрались до усадьбы. В ботинках было щекотно от песка, про носки я забыл – посеял где-то на пляже. Фло жила в крайнем флигеле между двух сосен, на самом краю обрыва.

В раскрытом окне ветер раздувал занавески. Фло выключила свет, и по потолку сразу загуляли мутные лунные тени.

10

Нас разбудила гроза. По крыше редко и весомо стучали тяжелые капли. Где-то вдали умирало ворчливое эхо раската, что разбудил нас. Тут дождь забарабанил бодрее, а после пропустил всю. Вдруг прямо над нами раздался адский треск, флигель трянуло. На кухне испуганно зазвенела посуда.

– Дождь, дождь! Наконец-то дождь, такое сухое лето... – засмеялась Фло и, быстро откинув одеяло, спрыгнула на пол.

Не зажигая света, настезь распахнула дверь. Она повернулась ко мне и хотела что-то еще сказать, но в этот самый момент снаружи все осветилось жутким голубым заревом, застыв на миг, как на фотографии: капли дождя замерли на лету, корявые сосны вспыхнули мокрой корой, дорожка до главного входа казалась залитой сияющим синим лаком. И тут же, шипя и плюясь белыми искрами, беспощадно красивая молния вонзилась в купол усадьбы, совершенно ослепив нас на секунду. Одновременно оглушительным залпом ухнул гром такой мощи, с таким неукротимым скрежетом и хрустом – я даже испугался, что там, на небе, что-то уже непоправимо и навсегда сломалось.

Да, это было на редкость сухое лето. Когда приехали пожарные, тушить уже было нечего. Усадьба сгорела дотла.

Огонь дышал жаром, ревел, швыряя снопы искр в черное небо. Мы с Фло стояли обнявшись в дверном проеме, и я любовался рыжими и красными всполохами на ее лице. Изломанные длинные тени пожарных металась по черным соснам и мокрой и, блестящей как стальная щетка, траве. Пожарище догорало. Быстрые призраки нервно бегали на фоне рубиновых россыпей, бесконечно разматывали шланги, безнадежно долго лили воду. Сизый дым вырос пеленой, лениво затянул всю округу свинцовой бледностью. Стало темно и тихо, горько запахло сырым костром.

Это было на редкость сухое лето – дождь, так и не став ливнем, давно кончился. Мы сидели в кромешной тьме на краю обрыва, расстелив на траве колючее домотканое одеяло. Мы молчали и разглядывали усталое, исхлестанное грозой небо. Луна забилась в самый угол и угадывалась по размазанному белесому пятну за ключьями черных, как копоть туч. Заканчивался самый сумрачный, предрассветный час. Внизу темнели неровной полосой дюны, за ними ворчал океан.

Фло наклонилась ко мне, вытянув руку, прошептала:

– Видишь?

Я присмотрелся, но не разглядел ничего. Мои глаза, похоже, притупились за годы любования городской иллюминацией и балаганными фейерверками – я не увидел ничего. Но душой я понял: мы в секунде от рассвета.

Утром деревенский нотариус распечатал конверт с теткинским завещанием. Все деньги достались благотворительным фондам и обществам, Джилл и тут оказалась права. Впрочем, она бы страшно удивилась, узнав, что кровь Скарборо все-таки взяла свое: упрямая старуха завещала «Дюны» мне и Фло. В равных долях, пополам. Но без права продажи, в завещании так и было сказано: в случае продажи право собственности аннулируется.

Ни у меня, ни у Фло мыслей о продаже и не было.

Фло продолжает усердно разводить клематисы, а я купил настоящий голландский этюдник в дубовом лакированном футляре на стальной треноге и свободную белую рубашку.

Мой любимый сюжет – восход солнца над дюнами. Я снова стал старательным учеником, снова усердно натягиваю холсты, смешиваю кадмии с берлинской лазурью, ультрамарины со

стронцием, а вот белил стараюсь избегать. Белила убивают цвет, делают его меловым, именно в эти мертвые краски был покрашен тот мир, из которого мне посчастливилось вырваться.

Иногда я пишу Фло. Правда, довольно редко, – меня смущает изгиб ее бровей – уж слишком он напоминает тетюшку Анабеллу, да и всех остальных Скарборо из погибшей в огне семейной галереи. Да и какой из меня портретист при моих скромных талантах! Вот пейзажи – другое дело.

Кстати, в конце месяца у меня выставка в этнографическом музее Огунквита. Там, при входе, большое фото моей тетки в старомодной шляпе, кокетливо украшенной букетиком клематисов. Музею присвоили ее имя, а галерея – на втором этаже. Заходите, если будете проездом, хотя, если честно, не думаю, что вам моя живопись приглянется. Говоря между нами, пейзажи мои скучноваты, да и сюжет один – дюны, дюны, дюны.

Искушение амазонки

Даша Савельева:

«Как-то, гуляя в парке, мне было лет пять-шесть, отец посадил меня на тумбу. Постамент. Рядом с гипсовым пионером. Хлопнул в ладоши, сказал: «Прыгай! Я тебя поймаю».

Я прыгнула.

Он сделал шаг назад, я растянулась на щебенке, расшибла в кровь коленку, разревелась. Отец взял меня на руки и сказал: «Запомни раз и навсегда! Никогда и никому не верь!»

1

Даша ненавидела сушилки для рук, эти электрические фены или как их там? – те, что режут, а толку ноль. Поэтому, поднимаясь по тесным ступенькам из туалетной комнаты, она просто вытерла мокрые ладони о джинсы.

Наверху солнце блаженно растеклось медовыми лужами по полу – дело шло к вечеру. До рейса оставалась еще уйма времени, и это замечательно. Допьем кофе – не спеша, не торопясь доедем до аэропорта, все будем делать плавно.

За стойкой, полуулыбка мимоходом, кивок в ответ, розовая с ямочками (все как положено) немка трет и трет уже прозрачные до почти невидимости стаканы, за ней бутылки пестрой стеной до потолка, в каждую запечатан острый блик.

Тут Даша чуть запнулась – что за черт? – за ее столиком у окна сидит кто-то, – и почему? – свободных мест прорва.

Подходя ближе, разглядела, – ну вот, только этого мне не хватало.

Первое, что зацепило ее взгляд, была шея, даже не шея, а выя, – очень точное русское слово, – выя, вид сзади; незнакомец сидел спиной к залу.

Толстая и тупая шея, две румяных складочки в месте вrastания в череп, без складочек и не определишь, где начинается голова. Череп выбрит до младенческого лоска, до парафиновой жирноватой склизкости. Непреодолимо хочется потрогать его пальцем, надавить, осторожно и гадливо, – так дети трогают снулую рыбу, видели?

Пара секунд – Даша уже ненавидела эту шею.

Села – с фасада незнакомец выглядел еще менее привлекательно: лоб – почти зеркальное отражение затылка – те же две жирные складочки. Приоткрытый рот, сигарета, дымок вверх.

Сигарета! – мерзавец курит ее сигареты! Короткими хамскими пальцами поигрывает пачкой «Голуа», синей, с крылатым шлемом на этикетке. Новехонькой пачкой «Голуа», которую она только что купила в автомате при входе в бар. И даже еще не распечатала – не успела... А теперь – вон, в пепельнице мятый целлофан с ленточкой и комок фольги.

Прозрачные серые глаза с набрякшими веками (наверняка пьянь), глубоко ввинченные в голову, наблюдают за Дашей. Глумливо-насмешливо? – вот ведь мерзость! Даша ощутила, как у нее запылали щеки, густой жар, лихой и бесшабашный, знакомый еще по детским дракам (она отчаянно дралась в школе, как тогда говорили, «до первой крови»), налил упругой силой лицо и плечи. Костяшки кулаков побелели.

Наглецу принесли пиво.

Высокая кружка, в пол-литра, с удобной на четыре пальца ручкой. Пена плотно выперла и нависла над краями, чертя быстрыми каплями вертикальные линии на потном стекле.

Хам вдохновенно засопел, наливаясь желанием.

И тут Даша, неспешной (все делаем плавно) деловитой рукой развернула кружку к себе – чтоб половчей ухватить, подняла – тяжелая, зараза, – и, примяв ртом нежную белизну, отпила.

Бритый остолбенел. Ворованная сигарета прилипла и свесилась с синеватой, чуть, может, в перламутр, губы.

Даша сделала гримасу как от горького – фу-у, гадость! – и выпустила пиво тонкой струйкой обратно в кружку.

И поставила перед ним.

Потом ловко подцепила с подоконника свой баул (аппаратура, тряпки, зубная щетка – привычный комплект) и, бойко боднув плечом стеклянную дверь, вылетела на улицу.

Делать все плавно и не спеша сегодня явно не получалось.

Зажмурилась – свет и тень, яркое и черное.

Пронзительно пахло прелой сиренью – жарко – а ведь только начало мая.

Даша закинула баул за плечо, руки чуть дрожали, но дрожали приятно, с синеватым звоном – как высоковольтная линия. Она азартно зашагала, громко цокая и стараясь не наступать на трещины в мостовой. Как в детстве.

Потом поймала такси.

Верх сиденья раскалился через стекло, Даша откинулась. Блаженно утонула головой в мягком тепле.

Перевернутые вверх ногами карнизы и крыши понеслись куда-то назад, смешались с синим, выскочило и пропало слепящее крыло и наконечник копья – так, Золотая Эльза, после запрыгали-заплясали зеленые макушки Тиргартен, теперь уже по прямой до самого Тигеля.

– Какой терминал? – спросил шофер.

– Сейчас. – Даша поставила мир обратно на ноги, голова чуть кружилась, стала шарить по бесчисленным карманам. – Сейчас посмотрю.

Паспорт, аккредитация – столько карманов! Ага, вот билет!

Из внутреннего кармана вместе с авиабилетом она достала пачку сигарет «Голуа», синюю, точнее, кобальт, шлем с крылышками на этикетке. Нераспечатанную. Ту самую, что она купила в автомате при входе в бар где-то с полчаса назад.

2

Москву она теперь пролистывала – мимо, мимо, из Шереметьева без задержки в Домодедово или во Внуково, а оттуда уже дальше.

Поначалу было невыносимо: ну как же – Москва! Постепенно стало скучно. Теперь невыносимо скучно – хватит. Конечно, бывает, куда деваться, порой эта Москва топорщится неловко сложенной картой, лезет жухлой краской – охра да белила, вроде задника к прошлогодней пьеске, что кое-как бездарно доковывляла до конца сезона, – и кому это все нужно? Хлам.

Хватит! Теперь все под плотной крышкой.

Вот, например, запахи июльской гари и мокрой пыли после слепого дождика. Тут же настой тополиной горечи. Подорожник на коленке с красной тенью посередке... что еще?

Сладковатый шепоток кривеньких свечек у прибитых страшным гвоздем ног Христа, ног, коричневых, как копченая камбала. А голова его унеслась в сумрачную высь, что еле-еле шевелит вялыми пальцами пыльных лучей сквозь мутные стеклышки. Головы не видать – черная бездна. Но ты-то знаешь – там колючки венка и бусинки крови по воску бледного лба. Жалко до слез. Говорят, кстати, тут Суворов венчался...

...И лодка на воде цвета стреляных гильз, лодка застыла, умерла, да и вода не шелохнется, вся в седом пухе – и откуда столько одуванчиков? Дальше – мосток полукругом с белыми балясинами – смешное слово – это отражение, а сверху точная копия – так и срослись в кольцо.

Еще выше другое кольцо, нет, колесо! – и спицы есть, а как же, – то важно царит в пестром от солнца небе. А из кустарно раскрашенных кабинок восторженные руки:

– Гля! Вон наш дом!

– Ага! А вон школа!

Туда же (под плотную крышку) на самое дно были упрятаны и осколки-обрывки прежних московских дружб и знакомств, лица слиняли, стали под стать картонной Москве – бутафория, одним словом.

Одни, неудачники, страстно завидовали ей: «Фифа европейская – немецкий паспорт! Выставки у нее в нью-йорках, как же! Забыла, как под «солнцедар» ее по подъездам тискали!»

(Вовсе нет, она не только не забыла, а очень даже любила об этом вспоминать, кое-что при случае могла рассказать со вкусом. Были, как же, были там забавные истории.)

Другие, удачливые, бесились от того, что ей было абсолютно наплевать на их машины-бриллианты-виллы-евроремонты. Абсолютно!

Разговоры о деньгах и на темы смежные Даша обрывала грубо, порой нецензурно. Матом она крыла крепко и без затей, как пехотный капитан. Деньги, вашу мать!

Вот и получалось: одни не могли поскулить, насколько у них этих самых денег нет, другие – какая их чертова прорва.

Поэтому-то все плоские человечки – и везунчики, и те, кто остался на бобах, да и сам нелепо напoмаженный город, увы, увы, совсем уже неузнаваемый, так вдруг и впопыхах утыканный страшноватыми башенками и гнусными статуйками, – все оказалось скомкано, смято и прихлопнуто сверху. Той самой крышкой.

А вы говорите – Москва.

3

Нет, Москву – мимо, теперь на юг.

Из захолустного аэропорта дальше, уже на восток, в горы, выставив в окно изящную руку с сигаретой, стремительно тающей, – алый ободок прытко ползет вниз, скорость слизывает пепел и дым. Таксист возмутился азартно: «Можно курят?! Дэвушка! Дажэ нужно!» – после этого не замолкал до самого перевала.

Курить так курить. Вот Даша и курила.

Курила и смеялась, кивала, половины не понимая, да и какая разница?

Закладывало уши, вдруг волшебной бирюзой выплескивалось море далеко внизу – райское сиянье. И тут же кто-то злой рукой в скользких бликах задерживал его траурными кипарисами и хмурыми утесами.

Мотор зычно вгрызался первой передачей в отвесный асфальт, божественный воздух осквернялся горечью выхлопа, Даше жутко хотелось трогать замшелые бока скал, но она лишь улыбалась и плющила окурочек в забитую до отказа пепельницу.

– Как такую красавицу муж отпустил? В горы?! – смеется таксист. – С ума сошел, да?!

Даша тоже смеется.

Муж? Да, конечно, был и муж. И не один. Разумеется, не одновременно – по очереди.

Муж номер четыре, последний на текущий момент, был найден в Москве, где он настойчиво и безнадежно актерствовал и с удивительной легкостью переходил на «ты» уже на второй фразе с любым собеседником.

Там, в Москве, краснея пятнами от груди вверх по шее и в лицо, лицо чуть бабье, но не без вялой умильности, будущий муж номер четыре гвоздил звучным баритоном столичную театрально-киношную сволочь (его слова) за бездарность, продажность и почему-то гомосексуализм. Да, еще за жидомасонство. С мрачным торжеством надсадно хрипел: «Травят меня, как волка травят!»

Выехав на Даше (вот ведь свинья неблагодарная!) в Берлин, он уже к осени, грызя ногти и снова краснея шеей, обличал уже жидомасонских гомосексуалов Европы – явно и тут был заговор!

А как иначе?

Его единственным заграничным успехом была эпизодическая роль глухонемого укротителя-румына в полупорнографическом сериале, что показывали по средам глубоко за полночь.

К Рождеству, под сырой перезвон озябших колокольчиков с Курфюрстендам, он добрался наконец и до Даши.

В черной, расстегнутой до третьей пуговицы сорочке, жутко вращая припухшими глазами на небритом лице, терзая разгорающуюся красной сыпью шею, он кричал:

– Герои! Победители! Я их зову – чемпионы мира! Истинные! Настоящие!

(Два больших глотка красного вина.)

– А есть другие (голос с крика падает в зловещий шепот – актер!), – те вырезают из консервной жести звезду, цепляют на грудь, пыжась, встают на цыпочки, вопят – эй, вы! Смотрите! Мы тут! Мы тоже герои!

Тычет в стремительно мрачнейшую Дашу подрагивающий палец с объединенным ногтем.

– Кому твой доморощенный героизм нужен? Ну? Кому, кроме тебя?!

Это уже кричит, по морде пятна вовсю.

– Шляешься по своей чертовой Чечне-Абхазии-Уганде вместо того, чтобы...

Даша так никогда и не узнала, что она должна была делать вместо этого.

Всего через три часа он хмуро нянчил перебинтованную белым голову, уныло глядя в собственное отражение, сквозь которое кто-то с мерным перестуком сматывал назад мокрый безразличный Берлин.

В то же самое время Даша, брезгливым жестом ссыпав в мусорное ведро зеленые осколки и грязный ком бумажных салфеток, бурых от вина и мужниной крови, поставила крепкую точку на своем четвертом замужестве.

4

Миновали Табал, теперь по утесам вдоль реки.

Горы как-то вдруг придвинулись, близко, словно кто-то навел сбитый фокус. Мрачные складки ущелий, наверху все бело от снега, торжественная и строгая красота. Даже таксист не балагурил больше. Хотя, может, просто выдохся, иссяк. Лишь, ткнув рукой вправо, сказал:

– Джохал! Самый высокий пик на Шандурский хребет! Више, чем даже на три километра.

Даша каждый раз лелеяла момент возвращения в горы.

Когда замираешь, и сердце спотыкается, и ощущаешь собственную нелепость, да и ненужность всей цивилизации, кичливой, громкой, бессмысленной и столь безнадежно жалкой перед этим бескрайним величием.

Даша, впитав до капли всю торжественную сладость, деловито принялась готовить аппаратуру: достала из баула старый «Никон», тяжелый, как утюг, ловко прищелкнув к нему новенький зум – сказка! С каким-то ультразвуковым мотором. На той неделе купила, ни разу еще не пробовала. Вытащила и остальную оптику в бархатистых черных чехлах: телевик 70—200, так, на всякий случай, фиш-ай – этот уж явно было ни к чему брать. Фильтры, аккумуляторы – все в порядке. Пристегнула ремень к камере, навела на пик, как его? – Ходжал? Нажала спуск.

Пейзажи Дашу не интересовали, так – фон, да и не умела она их снимать, если честно, тут особый глаз нужен. Не было у нее холодного терпения натуралиста, цепкого прищуря живописца. Растаять в солнечном блике на острие травинки, умереть в лиловой тени тучи ползущей

на луг, раствориться в молочном мареве тумана над тусклыми корнями лесной прогалины – нет, это все не ее, скучно.

Ее стихией было действие.

Она так и говорила на открытии лондонской выставки «Уганда: между небом и землей»: «Мне плевать, что вы там напишите, плевать. Я снимаю жизнь! Я ставлю диагноз! Но я не доктор и не врачую раны. Моя цель – сорвать ханжескую кисею и ткнуть обывательской мордой в боль, кровь, грязь! В страдания, голод и смерть. И нечего нос воротить, – да, воняет!»

Аккредитацию и деньги на эту съемку она получила опять от «Ройтерс».

Год назад, перед самым конфликтом, они купили ее репортаж из этих мест – этнические страсти – фактурный материал, дети гор, короче. Замес там гремучий, кого только нет: осетины, абхазы, армяне, грузины, русские, даже греки. Разумеется, у всех претензии.

Через месяц началась пальба, и ее снимки отрывали с руками.

Теперь она ехала в ту же самую деревню, почти на границе.

Причем поначалу планировалось снимать горскую свадьбу. Концепция простая и сильная: праздник жизни на фоне шрамов войны – лезгинка, папахи, газыри, кинжалы в серебре, вино из пузатых кувшинов, шашлык (сочные куски баранины чуть с жирком, промеж перламутровые круги сахарного лука, багровые с черным поджаром ядерные помидоры и баклажаны, малиновый перец), чернобровая невеста, красавец-жених.

Красавец-жених, вот именно...

Буквально за три дня до отъезда, еще в Берлине, созваниваясь и утрясая последние детали, ей сообщили, что жених погиб: поехал в город покупать костюм и там был сбит пьяным водителем. Умер на месте.

Так что теперь Даша ехала на похороны.

А в Ройтерс ничего, даже оживились – горские похороны тоже этнический материал, даже поактуальней свадьбы! – личная трагедия на фоне трагедии народа. Так что давай, Даша!

5

Проснулась вдруг, словно кто-то выпихнул. Пинком.

Тьма крошечная, поначалу не поняла даже, где она.

Снилась какая-то гадость, что именно, не вспомнить – ускользнуло, сквозь пальцы протекло, ухватила вроде за самый краешек – нет, куда там, кануло.

Но ощущение осталось, точно – гадость!

Пить хотелось страшно, зря она эту чачу на ночь вчера, зря. Экая мерзость во рту.

Надо постараться заснуть, подумала она, перевернулась на спину. Расслабленно раскинув руки, начала считать – иногда помогает.

Вокруг затолпились цифры – одни жирные с увесистыми блямбами и фигуристыми боками, как на старых отрывных календарях, другие – субтильные, чахоточно вялые – эти откуда? Честные черные с трамвайных номеров – 21, 22, 23... Вот промелькнул номер ее московской квартиры – 35, вот ее возраст, а сколько осталось, а?.. Не думать, считать, дальше, дальше...

К концу второй сотни цифры уже обступили ее, разрослись, как разлапистый репей по пустырю.

197... Нависая и тесня, сплелись с темнотой.

200... Откуда эта гнусная томительная тяжесть? Тревога. Или это что-то во сне?

217... Или это танки на разъездах? Брошенная техника с красно-белыми крестиками?

Даша доверяла интуиции. Чутью.

Особенно после того случая в Намибии, когда вопреки логике она отказалась поехать снимать вместе с ребятами из «Ньюсуик». Почему?

Или во время налета, тогда, в самом начале Второй войны, почему она вдруг решила выскочить из-под моста? Казалось – куда уж надежней. Что за сила выдернула ее оттуда буквально за минуту, а?

Так что к чутью она относилась с уважением и строгим суеверием. Еще она понимала, что каждый удачливый день таких вот командировок, каждый час сжимает ее шансы, истончает запас прочности в целом, ведь тут достаточно оступиться всего лишь раз, один-единственный раз, и все – конец.

Поэтому полунамеки ощущений, смутные очертания чувств, трепетные преломления настроения приобретали вдруг волнующую значимость, стальную важность. Превращались моментально в блеск и жар немедленного действия.

Но сейчас, сейчас что ж тошно-то так, господи? Так жутко.

6

Утреннее небо нервно выдергивало клочья облаков из-за гор и бесконечно летело вверх упругой синью – у Даши даже голова закружилась, она ухватила дверь, – нельзя ж вот так, не предупредив.

Маленькие радости: аппетитная крыночка простокваши, как ее, мацони? Жестковатый хлеб – пыльная на ощупь лепешка с черными припеками, руками рвешь – и в рот.

Сидела, жмурясь на солнце. В голове пусто и хорошо. Даже курить не хотелось.

Посидела еще, уже больше притворяясь, внутри росла вялая досада, полезли мутные мелочи – вот и все. Счастье улизнуло.

Теперь – работа...

Даша подошла ближе – как-то вмиг обветрились, высохли губы, сердце страшно заколотилось.

Гул голосов, суету накрыло чем-то ватным, солнце вздрогнуло, качнув вбок лиловые горы и уже затоптанную, но все еще такую зеленую лужайку с неровно составленными столами и длинными скамейками в пестрых пятнах скользкого света.

Подошла.

Фарфоровый лоб, пепельные веки.

Дощатый, некрашенный гроб на табуретках уперся свежим желтоватым бортом в торец дальнего стола.

Даша сделала еще шаг.

Вертявая лимонница, словно дразня, поплескалась юрким бликом и упала на лацкан пиджака, застыла, раскрыв крылья.

Даша непроизвольно подняла камеру и нажала спуск.

Зум.

Еще раз – крупный план: золотистый отлив распластанных крыльев на бездонной черноте пиджака, острый подбородок с синеватой тенью щетины, серые губы.

Самое жуткое – имя стерлось, совершенно пропало, даже зацепиться не за что – пустота. Как же его звали?

Прошлой летом: его трескучий мотоцикл – музыкальная тема, по отвесным тропам, рыча и плюясь гравием, только и успеваешь уворачиваться от веток, жмуришься и втыкаешься лицом в сухую горячую спину.

Уехала, и все рассыпалось, забылось, будто не было.

А что было?

Звонкая паутинка за его головой? Да, было.

На горизонте – пошлейший горный пейзаж, как на дешевых открытках «Привет из Сочи».

Восторженная предзакатная пастила из розового перетекла в оранжевое, после налилась алым и под конец, одумавшись и посерьезнев, вышла в фиолет – это тоже было?

Или ложбинка, где сходились его ключицы, которую так хотелось поцеловать? Или хотя бы потрогать.

...А она вместо этого взяла его руку и прижала к груди.

«Неубедительная грудь у тебя», – шутила ее парижская Милка Полешук, подруга еще со школы, смешливая мешаночка, которая говорила «ехай» и «кофэ» и любила «сделать променада по Елисейке» тайком от своего мужа, дымящего сигарами смекалистого комсомольского вожака с толстой шеей, случайно забытого здесь ельцинским МИДом и с тех пор с неиссякаемым задором торгующего чем угодно – «импорт-экспорт!» – из России и обратно.

...Рука оказалась неожиданно горячей и гладкой. И как раз в размер. Неубедительная грудь до краев наполнила ладонь, уверенно клюнув ее изюминкой твердого соска.

Так что не все забылось, вовсе нет.

7

Сумбур приготовлений незаметно перетек в поминки.

Был и тамада – красногубый бородач, похожий на лукавого кабана, говорил, мерно раскачиваясь, будто куда-то плыл.

Возник подполковник, русский, в бушлате, с ним еще один офицер, вертлявый холуек. Помельче и чином, и телом.

Подполковника тамада называл «дарагой наш друг Гена» и, плавно подплывая к нему, закручивал тост за тостом про дружбу с великим соседом. Застолье одобрительно гудело.

Лукавый кабан вдохновенно завернул что-то про братство и помощь – выходило, что нет на свете никого симпатичней русских. Застолье одобрило и это.

Друг Гена – красивое хамское лицо, наливаясь чачей, упирал обветренные кулаки в стол, словно подумывал на него вскочить. Его взгляд все чаще цеплялся за Дашу, она что-то жевала на ходу, возясь с камерой и делая снимки, изредка приседала за стол, так, на минутку, выпить-закусить. Старалась не встречаться глазами.

Потом мелкий офицер отошел к машине, куда-то звонил. Бабской ладошкой прикрывал трубку, быстро говорил.

Тамада исходил патокой: Осанна! Осанна могучему старшему брату! Это он взрастил и вскормил гордых орлов земли нашей!

Среди орлов оказались и Фазиль Искандер, и киндер-премьер Кириенко, и певец Соткилава. Попалась и орлица – Ксения Георгиади. Даша толком не знала, кто это такая, и все ждала – а выпорхнет ли самый знаменитый орел наш, могильник – Лаврентий Палыч, дорогой товарищ Берия. Расправит ли свои могучие крылья? Но нет – не выпорхнул, не расправил.

Вместо этого Кабан нырнул в орнитологию, да и как красиво нырнул – поэт!

«Орлы, – вещал он, – никогда не умирают на земле, в старости чуя смерть, они собирают всю свою силу и из последних сил взмывают к солнцу! А после камнем летят вниз и падают на землю уже мертвыми!»

Становилось все гаже.

Даша перестала снимать – просто уже не могла себя заставить, ее мутило то ли от горелого бараньего жира и чачи, то ли от нелепости происходящего.

А может, от губастого тамады. Или от подполковника Гены и его вертлявого холуйка? От сомнительной, но очень старательной массовки на фоне снежных хребтов, чрезмерно красивых, чтобы быть настоящими?

Нет, скорее всего, от чачи – крепкая, спирт медицинский какой-то, не надо было по полной. Даша прищурилась на солнечный зайчик в стекле, подумала, а как же его все-таки звали? – подумала и выпила залпом, как лекарство. Хлопнула маленьким граненым стаканчиком по столу и громко захрустела редиской. Гори оно все огнем.

Подкатила белая «Нива», уткнулась в забор.

С этого момента – как фотография, застывшая сцена, жесткий свет. За ней другая, третья. Происходящее распалось на фрагменты, грубо нарезанные и кое-как склеенные.

Холуек до этого постоянно оглядывался на дорогу, тут же вскинулся и скоро засеменил к машине. Что-то живо говорил в приспущенное окно. Даша следила краем глаза, внутри поднималось мутное беспокойство. Плохо дело.

Из машины появился мужчина, выскочил ловко и энергично – кожанка, ежик черным углом врос в лоб, брови – мазок сажи. Выпрямился, разминая спину, бегло перешував застолье, нашел ее лицо, впился.

Беспокойство исчезло, замаячила неизбежность. Да, плохо дело, подумала она, совсем плохо.

Из «Нивы» появились еще двое, лениво потягиваясь, словно только проснулись. Тоже в кожаных куртках, один с «калашниковым», лихо подхватил его за цевье, легко, как игрушку. Закурили, шурясь на солнце – вот ведь погодка выдалась, благодать.

«Безопасность» и «майор» – вот и все, что Даша ухватила – черно-белый кадр, удостоверение тут же захлопнулось.

– Документы, цель поездки? – почти без акцента.

Даша мотнула головой – мол, там, придерживая камеру, вылезла боком из-за стола.

Тамада даже не запнулся, лишь отвел глаза, друг Гена всю ухмылялся сальным ртом, жир блестел и на подбородке.

Даша быстро зашагала, те трое за ней. Было совсем рядом, полсотни шагов, не больше. Сбоку залаяла собака. Даша толкнула дверь, еще одну. Из-под кровати вытащила баул. Достала паспорт.

Майор раскрыл темно-бордовую книжку, перелистал страницу за страницей, вглядываясь в штампы и записи, вернулся к началу, поднес к сощуренному глазу, разглядывая фотографию. Сравнил. Даша мрачно огрызнулась:

– Не похожа?

– Аккредитация?

Даша протянула запаянную в пластик картонку с морковного цвета словом «Пресса» поверху.

Майор молча разглядывал с минуту.

«Чего там рассматривать – три слова да фотка с печатью?» – Даша исподлобья следила за ним. Взглянула на дверь, двое мордатых в зеркальной симметрии привалились к косяку, толстыми ладонями баюкая «калашниковы» – идиллия.

– А это что? – он ткнул в раскрытый блокнот.

На кровати лежали ее записи, дневник, не дневник, так мысли всякие, начала еще в самолете. Кое-что ночью добавила, когда не спалось.

– Это, – Даша сделала паузу, закончив с нажимом, – личное!

Майор, по-птичьему повернув голову и чуть подавшись вперед, прочитал громко и почти без акцента:

...«Из вождельня вызревая, тоскливый эрос бытия, Моих набрякших губ срывая, не тех, а...»

И тут произошло поначалу чуть замедленное и вдруг внезапно ускорившееся движение, как на бильярдном столе, когда ловким шаром расшибаешь пирамиду: Даша нерешительно качнулась вбок и, резко поднырнув, ухватила блокнот, майор вцепился смуглой клешней в ее запястье, Даша с размаху впилась в солоноватую кисть мелкими белыми зубами, майор зарычал и приподнял ее, запросто так приподнял, да и немудрено – в ней и шестидесяти нет, а он на голову выше – бугай!

Прогнувшись спиной, Даша со смачным оттягом саданула его коленом промеж ног.

Майор охнул и скорбно сложился пополам. Мордатые, суетясь и толкаясь, заломили ей руки за спину. Больно и всерьез.

8

– Вот там и разберемся. – Странное дело, акцент у майора то появлялся, то пропадал вовсе, это он буркнул не оборачиваясь.

«Ниву» плавно качнуло на ухабе. Дашу, запечатанную между мордатыми, качнуло в унисон с ними. Один хмыкнул и глуповато выдал «опа» – кретин.

– Вы мне съемку сорвали! – крикнула она в красную шею и колючий затылок. – Для «Ройтерс»!

– Ты, слушай, – правый сосед боднул ее плечом, – ты, эта, нэ шуми. Видишь, дарога не ровний... раз... и выпал вниз. Бывает. Горы, понимаешь?

Зря он это сказал, зря.

– Ты! Скотина, грязь! Пугать меня будешь?! Я иностранная подданная, немецкая гражданка! – взорвалась Даша, толкая мордатых локтями.

– Вот именно, иностранная, – с переднего сиденья резанул майор, круто повернувшись к Даше, – ты думаешь, тебя первую ловим? Ты про Карен Виттенберг слышала?

Про Карен она, конечно же, слышала. И про отбитые почки, и про три месяца в подвале тоже. Красный Крест все это время пытался ее найти, власти разводили руками. Странно, что она вообще выбралась живой.

– Я что, по-твоему, шпионка?!

– Вот я и говорю, приедем – разберемся. – Майор лениво отвернулся.

– А чего время-то тянуть? Разберемся! Ты меня здесь прямо и шлепни! Как твой коллега советует! – Даша зло засмеялась. – Моего деда в тридцать седьмом как английского шпиона расстреляли. На Лубянке, без суда и следствия. Во дворе прямо. Вывели и расстреляли! Так что нам, Савельевым, не привыкать! Давай, майор, не ссы, действуй!

– Моего деда тоже в ГПУ расстреляли. – Акцент майора прорезался снова.

Даша задохнулась даже:

– А ты им служишь?! Им же! Кремлевской шпане! Вору конторскому! Вовану-вертухаю задницу лижешь! – тут Дашу понесло, не остановишь. – Они же твой народ за людей не считают. Слыхал слово такое – черножопый? Так это про тебя! И про деда твоего, и про детей твоих! А ты у них, значит, в холуях?! Ай да джигит! Сокол ясный! Вот ведь матери-то на старости лет радость – сынок на отцовых убийц спину гнет! Иуда!

9

– Лицом вниз! На землю! – гаркнул майор, дергая «калашников» – ремень зацепился за сиденье.

Дашу вытолкнули на обочину. В щеку остро впился мелкий щебень.

Майор еще что-то кричал на своем, горском злом языке.

«Что? Все? Сейчас?! Вот прямо сейчас?!» – Даша зажмурилась до боли. Дико заломило в висках, голова, казалось, вот-вот лопнет.

Так же внезапно отпустило.

Она медленно открыла глаза – перед ее глазом степенный жук-долгоносик, тускло отсвечивая кованой синью, обстоятельно перебирал лапками и куда-то направлялся. Наверно, домой, куда ж еще...

Вот он перевалил через камушек. Гладкий, как речная галька, круглый, коричневый, так похож на шоколадную конфету-драже, с палевым пояском посередине.

Получается, что этот камушек и этот жук и есть последнее, что она видит?

В этой жизни.

О том, что есть еще какая-то другая, загробная жизнь, некий таинственный полутропический парк культуры и отдыха с бесплатными напитками и плавными аттракционами, где ей и предстоит провести вечность в скучно трезвой компании, под нудные музыкальные номера местной самодеятельности, – вы это серьезно, да?

Но тогда получалось, что грохот воды внизу в ущелье, уголок сырого неба, жук-долгоносик (жук, кстати, уже уполз, вычеркнуть жука) и этот, похожий на шоколадную ириску, камушек, – вот, собственно, и все...

Отчаянно силясь что-нибудь вспомнить, ведь вся жизнь прокручивается как в кино, прямо с раннего детства, ведь так? Все впустую.

Ничего, кроме соседского Ромки, который за гаражами играл с ней в доктора холодными, в цыпках, руками, в голову не пришло.

Потом всплыл хвост стиха «...звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг». Начало пропало и теперь уже, скорее всего, навсегда.

И не было никакой черемухи, никаких звезд, никакой упоительной в своем ужасе романтической бездны – ничего, кроме страха, усталости и бесконечной тоски.

Сверху маслянисто клацнул металл – затвор – какой уверенный лязг. Она этот звук знала не по кино.

Даша непроизвольно закрыла затылок руками, вплющила тело в гравий. Застыла в страшном напряжении, почти судороге. Каждая ее клетка стиснула до хруста зубы, до крови вогнала ногти в ладони, замерла.

Она ощущала кожей, каждой своей порой, эту жуткую черноту бездонного зрачка ствола, горячий блеск усердного курка, страстно потный палец. Такой убедительный палец.

«Нет, не может быть», – произнес кто-то не очень уверенно в ее голове.

Уже на подлете к Берлину, где-то в районе Фюрстенвальде – до Тигеля оставалось всего минут двадцать – Даша отвернулась от неживого белесого неба и начала перебирать бумажки, копаться по карманам. Среди монет и мелкого колючего мусора пальцы нашли что-то приятное, прохладно-гладкое на ощупь. Она достала. Шоколадный камешек с палевым пояском посередине...

Ей сделалось не по себе.

Невозможная тоска, всплыв из живота, наждаком застряла в горле. Ей захотелось реветь. Реветь громко, отчаянно, по-детски.

Перешагнула через брудастого, натужно храпящего британца. Качнувшись вместе с полом, крепко пихнула в тощую спину вежливо ойкнувшую стюардессу.

Просеменила вниз по тесному плюшевому проходу, внезапно нырнувшему и тут же плавно поплывшему под горку.

Сломав поплам хилую дверцу, втиснулась в химическую вонь туалетных освежителей.

Клацнула задвижкой – моментально белый свет включил в зеркале ее лицо – безжалостно ярко. Близко, почти вплотную.

Ее лицо: пунцовые высохшие губы – пыльные, бледные веснушки, вялые щеки – все как-то слиняло, выцвело... Вроде тех неживых вывесок над южными провинциальными парикмахерскими – дрянной кич!

Но главное – глаза! – чужие, чужие... Будто кто-то шулки ради напялил маску, натянул на себя ее кожу. Напялил и теперь изгаляется, куражится, щурится зло и насмешливо.

Даша впиалась в эти глаза, безразличные, скучные, – ох, как им все равно, этим карим глазам! Ну хотя бы жалость, а? Снисхождение? Попытайся хоть понять, сука!

Понять? – сука из зеркала усмехнулась. – А что там понимать? Банально до зевоты. Ярость и ненависть, пламя обвинений: убийц – под суд! Палачей – к ответу! Что там еще у тебя? Голод? Геноцид? Эфиопия на краю пропасти, спасти Африку! Так, да? Спасать? Вот ты и спасаешь, а как же!

Снимаешь эти голодные глазища и пустые миски, горелую солому крыш, красноватую лужу с отражением минарета, сгорбленную старуху в пыли, жестяной указатель «Цхинвали – 3 км», прошитый очередью, грязные бинты в углу – рядом безглазая кукла. Мятая каска – крупный план – на ней божья коровка, красное на зеленом, дополнительные цвета, очень удачно!

А как об этом можно потом говорить в интервью! Рассказывать на коктейлях. Не забывая, конечно, о скорбном выражении глаз и губ – это у тебя получается весьма убедительно.

Но что бы ты там ни снимала, в центре каждого кадра – ты и только ты. Даша Савельева в полный рост. А остальное – так, просто фон, задник, на который тебе, в общем-то, наплевать. Оно и понятно – на то он и фон.

А ты говоришь – попытайся понять...

В седьмом классе Даша прикрепила над своим столом вырезанную из «Штерна» фотографию Солженицына, ту, где он в зековском бушлате с номером. Внизу печатными буквами вывела: «Не верь, не бойся, не проси».

До Солженицына на этом месте висел герой войны Маресьев, строгий, в летной форме, с его собственноручным автографом: «И девчонки тоже бывают героями!»

И подпись – Маресьев.

Когда проходили «Повесть о настоящем человеке», Даша написала ему письмо, сама. Классическая пионерская трель: вы – герой, хочу как вы.

Через пару недель на негнувшихся ногах (ей отчего-то запомнились начищенные до невозможности его тупорылые ботинки), гулко ступая, в класс вошел бровастый старик, мрачно сел под традесканцией, звякнув медалями.

После зычным голосом рассказал про войну, про подвиг советского народа, про вероломство фашистского зверя, про лобовую атаку. Все в полном согласии с эпохой.

Потом сильно жал Дашину ладошку, что-то, чуть согнувшись, ей говорил.

Класс завистливо сопел.

Классу тогда казалось, что в их конопатую Савельеву, в эту Дашку, пигалицу с обветренными губами и дурацким черным бантом, именно в этот момент что-то перетекает из этого громкого страшноватого старика, некая таинственная сила.

Отчасти это была правда – именно тогда Даше в голову пришла любопытная мысль: какая это все-таки скука – быть как все. Да и какой в этом смысл? Никакого. Тоска смертная.

В хлюпку дверь прусской воинственной дробью – Furchtbar! – долбилась тощим кулачком стюардесса, требуя немедленно вернуться в кресло, пристегнуться ремнем безопасности и приготовиться к приземлению в аэропорту Тигель, город Берлин, столица Федеративной Республики Германии.

Немецкой дуре было совсем невдомек, что за дверью, собственно, никого и нет. И красная надпись «занято» не более чем обман зрения, ошибка.

Пассажир экономкласса Даша Савельева осталась там, далеко-далеко, в стране с труднопроизносимым и смешным для германского уха названием, и лежит она себе на обочине горной дороги. А внизу ущелье с приткой шумной речкой. Сверху небо. Небо как небо, может, чуть синее здешнего. А так все то же самое, ничего особенного.

Канарейка

*Раз. Два. Горе – не беда!
Канарейка!
Жалобно поет.*

Солдатская песня

Часть первая

1

Дубов... Ну что это за фамилия? Словно нехотя что-то тяжелое подняли – ду-у-у..., а после лениво уронили – боффф. Тупая, неповоротливая фамилия – чушь, короче!

То ли дело – Любецкий! Вот это звучит! Как звонкая пощечина по гусарской морде – блеск, а не фамилия. Тут и ус тебе торчком, и шпор перезвон по паркетной доске:

– Мэ-э-эдам, позвольте...

Что?! Да как вы смеете, Любецкий?!

Грянул телефон.

Я сбиваю стакан, по звуку – вдребезги, на ощупь нахожу трубку:

– Да?

– Любецкий повесился.

Зачем-то запомнил время – зеленые цифры 3:33, потом выскочила четверка и все испортила: гармония исчезла.

«Повесился!» – такой же едкой зеленкой замигала в мозгу неоновая надпись. Дрянная вывеска подмаргивает и зудит.

– У себя в номере. В шкафу. На этой... ну на перекладине, куда вешалки...

Сразу появился настезь распахнутый шкаф, из него бледные ноги, удивленные пятки врозь. У него был поразительно маленький размер, ботинки казались почти детскими.

Воображение дорисовало эти детские ботинки рядом на полу. Один на боку, черные червяки шнурков вползают в нутро.

– Ты как? – спросил я глупость, лишь бы избавиться от этих босых пяток.

– Мне жутко... Ты приехать можешь?

Голос жены Любецкого неприятно задрожал, суксился, всплыл кругловатый южный говорок, сейчас начнет реветь. Не жены, да, вдовы... конечно.

Вот ведь странность какая: в эти самые 3:33, когда я поднял трубку и расколотил стакан, она была еще жена, по крайней мере, в моей голове (а что же еще прикажете считать истинной реальностью, как не собственное субъективное мнение?), минутой позже – вдова.

– Вдо-ва, – я попробовал слово на вкус, расчленив по слогам: нет – скучное, неинтересное слово.

Не включая света, большим кругом обошел осколки стакана – острые мерцающие блики.

Прошлепал босиком на кухню, обшарил ящики, ища сигареты, открыл холодильник. Вспомнил, что два года как бросил.

«Повесился!» – злым молотком стучало внутри черепа.

Почему-то потирая ладони, доплелся до гостиной. Упер лоб в ледяное стекло.

Выпуклое сонное небо, черное с оранжево-ржавым отсветом, плоский тусклый город. Смоляной загиб реки – мертвой, без отражений – слепеньким пунктиром повторяли желтые фонари набережной.

Что-то там, снаружи, впрочем, было не так.

Ах да! Гостиница. Не могу привыкнуть, что ее там нет.

Грязновато-белую линияющую уродину снесли. Торчала лишь церквушка, что уютилась во дворе, да мусор по квадратному периметру фундамента. Теперь можно было видеть всю южную часть крепостной стены и кокетливо разукрашенную башню с часами. Приглядевшись, при

желании даже рассмотреть время. У меня до сих пор единица: никаких тебе очков, кроме солнечных.

Холод от стекла заморозил настырный метроном в моем мозгу, сонное оцепенение прошло.

Я вдруг ощутил растущее чувство постыдного восторга, мелкое и гадкое. Мерзкое карликовое ликование, будто смерть Любецкого неким таинственным образом делала мое собственное существование более значимым, наполняла мою личность добротным, серьезным смыслом, выщелкивала мне какие-то призовые очки.

Вернулся в спальню. Разумеется, наступил на осколок – тут уж проснулся окончательно! Чертыхаясь, проковылял в душ, капая по паркету красным.

2

– Ты знаешь этот древний фокус с канарейкой? В клетке?

Наш последний разговор с Любецким я запомнил в мельчайших подробностях, особенно запомнились его неугомонные пальцы, в них скоро крутится то нож, то вилка, пальцы мелким галопом барабанят по скатерти, пробегают по нежно скроенному лицу, ударяют в воздух глухонемыми аккордами. Словно этими тайными знаками он подает какие-то секретные сигналы. Кому?

– Факир накрывает клетку с канарейкой платком. Дробь барабанов! Внимание! Невероятная минута! Платок прочь – ах! – клетка пуста. Публика в восторге. Маэстро, туш! – Гладкие ладошки Любецкого изображают рукоплескание, щеки выдувают цирковой марш. Ну так что в фокусе, на твой взгляд, самое главное?

Он уже изрядно пьян.

Очень жарко, очень накурено в этой стекляшке.

Любецкий выцеживает последние капли в свою рюмку. С грохотом ставит пустой графин в центр стола.

– Официант!

Сочный баритон совсем не подходит к его умильной, почти ангельской внешности – просто Боттичелли! «Красна девица!» – язвил мой мужественный папаша-генерал в наши школьные годы.

Впрочем, Любецкий мало изменился с тех пор, чуть, может, потускнел и обвис. Да и шутка ли – двадцать с лишним лет! Но все те же бледно-русые волосы с трогательными завитками у ушей, нежная шея с голубой жилкой. Отрадная живость глаз, правда, сменилась чем-то оловянным. Его нынешнего взгляда я не переношу.

– Ну! – азартно наседает он. – Так что же самое главное?

Я отмахиваюсь: прилипнет же!

– Барабаны! – Указательный палец Любецкого тычет в потолок. – Самое главное – барабаны! У клетки второе дно. Накидывая платок, факир спускает пружину, и птаху плющит вторым дном. Как прессом!

Он уже кричит.

– Всмятку!

Розовые ладошки звонко изображают и это.

– А дабы достопочтенная публика не услышала такой неаппетитный звук (тут он крякнул со вкусом, причем действительно очень неаппетитно), и нужны барабаны. Во! В них, родимых, все дело!

Опрокидывает рюмку, пальцами выуживает из салата бледный кругляш лука, хрустит и мокро улыбается неприятно алыми губами. Взгляд тяжелый и тусклый.

Я опускаю глаза.

3

Темой его диссертации была «Деперсонализация личности». Любецкий хвастал, что «сам великий Томас Сас» (при этом он пучил глаза, привставал на цыпочках и непременно цитировал: «Если мертвые разговаривают с вами – вы спиритуалист, если с мертвыми разговариваете вы – вы шизофреник») поздравлял его и пророчил в скором времени нобелевку.

Лиха беда начало: Любецкий скромником не был никогда, но с этого момента собственная исключительность стала для него фактом совершенно очевидным, вера в свою особую научную миссию – абсолютно неоспоримой. Во вселенском пантеоне Великих от античности до наших дней, среди пыльных мраморных бюстов, коринфских капителей и потускневшей имперской позолоты, он с простодушной небрежностью располагал себя где-то между Моцартом и Эйнштейном. Слово «гений» стало чем-то вроде домашних тапочек – уютным и очень персональным.

После почти года шнырянья по Сибири он выпускает книжку «Шаманизм. Архаическое похищение души».

Я пытался даже читать – вопреки крепкому названию, текст внутри вполне мог бы быть хоть на китайском – я не продрался сквозь бурелом корявых терминов типа «ферментопатия» и «гештальт-анализ» дальше введения.

К тому времени я уже дал драпу из клиники, скорбная доля врача-попрошайки с заплатками на локтях мне виделась даже более безвкусной, чем научное подвижничество Любецкого.

Страну колотило, страна разваливалась, замаячили серьезные перемены.

Стране нужны новые герои! – это я ощутил кожей – такого шанса больше не будет – это очевидно! Тут уж главное – не прозевать, не проворонить. Действовать! Незамедлительно и решительно!

Я выкинул свой диплом и занялся компьютеризацией родины. Переключился после на медицинское оборудование, как-никак я ведь медик. Постепенно из кустарной кооперативной самодеятельности выросла солидная (почти что западная) фирма «Медэкспорт-Ю» и ее президент господин Дубофф – прошу любить и жаловать. Представительство в Лондоне, а вы как думали?

Оглядываюсь порой назад: да, конечно, не обошлось без некоторых, так сказать, издержек и досадных недоразумений. Что поделать, время такое было... Период начального накопления капитала – все по Марксу. Впрочем, победителей не судят, не так ли?

4

Разумеется, гениальный простофиля Любецкий прошляпил эту золотую возможность и остался на бобах. Впрочем, как и вся тогдашняя наука – уж если рукой махнули на оборонку, наивно было ожидать финансирования экспедиции к тунгусским колдунам!

Наивно? Не для Любецкого.

С невыносимым упрямством отвергал все предложения пристроиться в моей фирме каким-нибудь там консультантом или экспертом – что мне, жалко? Дела просто перли в гору! Просто сорил деньгами тогда, за ночь мог просадить состояние в казино, смешно сказать, увешал весь офис модным в ту пору Шемякиным, даже в сортирах золотые рамы, отчего ж другу детства-то не помочь?

Любецкий почти нищенствовал, кажется, даже голодал, но упрямился, юродствовал и тратил последние гроши на книги, на рассылку своих нелепых рукописей.

Промаялся так пару лет, я все ждал и ждал, когда же наконец образумится. Позвонит. Придет. В ноги кинется.

Так и не дождался...

Вы будете смеяться, но случилось нечто прямо противоположное, почти чудо: его заметили! Но, увы, увы, лишь на Западе. Здесь на него и его гештальт-анализы всем было по-прежнему плевать.

Более счастливого Любецкого я не видел.

Я даже опасался, что он спятил, ну так, слегка, в хорошем смысле этого слова. Хохотал, клоун, паясничал, распевая дурацкий романс, еще со школы изводивший меня. Голосил шутовским гортанным баритоном: «О-о-о, отчего ты отч-ч-ч-алила в ночь!»

И как же я ненавидел его тогда!

Этого порхающего, сияющего изнутри, изрыгающего бессмысленно-счастливые звуки Любецкого!

Как я ему завидовал!

И вот что омерзительнее всего – никакие деньги, никакая глупая мишура не могли убедить меня в собственной правоте, в собственном превосходстве. В неоспоримом главенстве моей модели вселенной, моего взгляда на мир, в беспрекословном величии моего почти божественного «я».

А ведь еще вчера я обожал, лелеял, почти любил его, в том непризнанном, жалком и нелепом состоянии, готов был поделиться последней коркой хлеба, рубашкой, чем еще? Мог битый час выслушивать его пьяное нытье пополам с психиатрической абракадаброй! Еще вчера!

Как это все вдруг переменялось.

Да, он начал получать заграничные гранты.

Пропадал в диких малярийных экспедициях где-то на экваторе, на Карибах. Возвращался до неприличия для русского человека загорелым, тряс линялыми русыми волосами, размахивал руками и пугал подвыпивших девиц гаитянской околесицей: умбанда, кимбанда, кандомбле. Или нечто созвучное.

Во время одного из таких безалаберных наездов в Москву возникла Варвара: круглые колени, на которые она натягивала бирюзовое платье в желтый горох, толстая украинская коса и столь же безнадежно украинская буква «г» – короче, они поженились.

Цикл его статей «О бразильском ответвлении Вуду» опубликовала Американская психиатрическая ассоциация в своем еженедельнике. Почти сразу он получает приглашение читать курс в Сиракьюсском университете. Кстати, там же учительствовал его любимец Томас Сас.

Я не думаю, что это – случайность или совпадение, но одновременно его пригласили и из другого учреждения, уже не из штата Нью-Йорк, нет, гораздо ближе. От меня, с Котельнической, так вообще рукой подать – Лубянская площадь, один дробь три.

5

Я открыл дверь.

Любецкий, мрачно потеснив меня, прошагал напрямик в гостиную, оттуда донесся деликатно-мягкий «чпок» (французский коньяк, догадался я) и округлое бульканье.

Я так и стоял в дверях, пока гнутая соседская старушонка в абрикосового цвета кудряшках и ее мокроносовая шоколадная такса не поздоровались со мной, причем такса не унималась и из-за двери.

– Они мне сделали предложение. – Любецкий рывком закинул голову, словно был сражен ударом в спину, и влил в себя еще коньяку.

Он сел, начал рассказывать, звучно отхлебывая из бутылки, лохматя выгоревшие волосы, скребя немилосердно щеки и до белизны оттягивая мочку правого уха. Постепенно стало ясно,

что предложение, о котором шла речь, было из тех, от которых не принято отказываться. Точнее, просто невозможно.

– И представляешь, этот подонок-майор, рожа, кстати, вылитый Банионис! Помнишь, артист латышский...

– Литовский.

– Да какая, к черту, разница!.. – Глоток. – Ладно, не в этом дело... Говорит мне, сволочь: «Вы ведь патриот? Патриот!» И игриво так добавил: «Я надеюсь?» Вот тварь!

Еще глоток.

– А я ему: а где ж вы были, сукины дети, когда я по три дня не жрал?! Где ваша родина была? А сейчас, видите ли, моя научная деятельность за границей нецелесообразна. В интересах безопасности государства! Родины!

Любецкий вскочил и заходил взад и вперед по диагонали.

Солнце садилось, и, когда он головой влетал в дальнем углу в яркий сноп пыльного света, всклокоченная шевелюра его вспыхивала оранжевым, почти что электрическим сиянием.

Набегавшись, он снова сел в кресло. Ерзая и терзая кожу подлокотников ногтями, наконец рассказал про то, что о его исследованиях, экспедициях, научных трудах осведомлены не только за границей. Но и на Лубянке. Мало того, оказывается, у них где-то под Болшево есть свой центр с лабораториями, испытательной базой, гостиницей, спорт-клубом.

– Даже бассейн! Олимпийского класса! – причмокивая, Любецкий надувал щеки, видимо, изображая майора-баниониса.

И работают они практически над теми же проблемами, что и Любецкий.

– И ты согласился?

Любецкий сощурил глаз, поскреб белесую бровь, потом очень неспешно сложил миниатюрные пальцы в аккуратнейший кукиш, смачно чмокнул его в маковку и ткнул мне прямо в нос.

6

Он начал работать в Болшевском центре недели через две, нет, пожалуй, три. Называл его «Обезьянник», презрительно выпячивая нижнюю губу на букве «з». Тогда, кстати, я впервые и заметил тот отвратительный оловянный наплыв во взгляде Любецкого.

Конкретно чем он там занимался, сказать трудно. Из его сумбурных, как, впрочем, и всегда, рассказов (с непременно «это абсолютно секретная информация», – говорила эта фраза вкрадчиво в лицо, почти касаясь моего носа и с косым зырканием по углам) сделать какие-то внятные выводы было практически невозможно.

Он мог начать с огня кундалини, мимоходом отметить, где ошибаются даосы в определении праны как энергии ци, почему алхимики считают ее пятым элементом, а в оккультизме называют эфир. Потом перескочить к Фрейду и понятию эго, раздолбать Юнга, походя плюнуть в Уильяма Джеймса, нырнуть в дебри вуду, с их теорий нескольких душ в одном теле. Объяснить на пальцах все стадии околосмертных переживаний (это там, где туннель), в чем ошибался Кастанеда и его ведьмы, зачем шаману бубен и почему гаитянские колдуны сдирают кожу со своих жертв при ритуальных убийствах.

– Ты вот думаешь, человек – мясо да кости? Ну там, потроха всякие, да? – Любецкого уже не остановить – все! – сорвался, слетел с катушек, кричит, плюется, и руки дрожат. – О нет, дорогой мой! Нет! Все это покров, внешняя оболочка, а вовсе не сам человек. Душа – вот где человек! А это все (машет рукой) внешняя одежда. Как пальто! Пальто!

Тычет в сторону прихожей.

– Да не смейся, я ведь говорю «душа», это чтоб тебе, дураку, понятней было. Это ж не про поповскую душу, с крылышками, ангелочками ежеси на небеси! Я про энергию толкую. Квинтэссенцию человеческого духа!

Сказать по правде, я считаю все это совершеннейшей дичью. Может, слишком привык смотреть на себя со стороны, извините уж! Так что признать белизну зубов, отманикюренность ногтей, ухоженность каждой, едва заметной морщинки и складочки, холеность и блеск каждого лоснящегося волоска чем-то неважным, отстраненным от себя просто не могу. Да и не хочу. Безо всякого жеманства.

Прошло несколько лет; я был почти счастлив – удачливый красавец, почти что полубог, счастливец, в крахмальном воротничке и галстукe цвета гавайских закатов.

Любецкий же стал завлабом в своем «Обезьяннике», постепенно превратившись в законченного мизантропа. Взял манеру мрачно острить и пялиться оловянным прищуром. Кстати, именно по одной из таких шуток я понял, что они там проводят опыты вовсе даже не над обезьянами. «Материал» – так говорил Любецкий. Оказалось – это люди.

– Зэки, бомжи... Откуда я знаю, – он отмахивается, – главное, чтоб живые были. По крайней мере, – смеется, – до конца эксперимента.

7

Последний раз (слово «последний» приобретает здесь чуть другой оттенок, не правда ли?) мы с ним встретились в стекляшке на Чистопрудном, он позвонил, говорит: «Помнишь? Мы, прогуливая уроки, учились там пить пиво из теплых зеленых бутылок без этикетки. Страшная гадость!»

– Варька мне изменяет. – Первое, что он тогда сказал.

– Глупости! – пожалуй, слишком поспешно возразил я. Тут же принялся рассеянно ошупывать карманы, выворачивая на скатерть случайный мусор, ключи, бумажки.

– Плевать. Не в этом дело, – отрезал Любецкий. – Сперва – водки.

Чокнулись.

Резкой рукой опрокинул рюмку, не ставя на стол, наполнил опять до краев, с горкой. Бережно донес и выпил снова, поставил, нацедил из графина, помедлив, выпил и эту.

– Ты знаешь, Дубов, я ведь гений, – мягко, почти ласково сказал он.

Я пожал плечами, знал, что он всерьез.

– Разгрыз! Вчера ночью, – он отставил графин и нырнул вперед, – в «Обезьяннике» ничего не знают. Тебе первому рассказываю. – Любецкий щелкнул по графину. – Гордись!

– Так, может, и мне не стоит, – с унылым зевком протянул я, слегка обидевшись.

Любецкий задумался, мне даже почудилось, что он вот-вот встанет и уйдет.

– Тщеславие, – усмехнулся он, – распирает, вот-вот лопну... Вот ведь глупость. Так что слушай.

– А при чем тут канарейка?

Любецкий закатил глаза:

– Ну как мне еще объяснить?! Канарейка – это душа. Образно, понимаешь? Квинтэссенция человеческой личности. Клетка – тело.

– А барабаны?

– Вот в них-то все и дело! Мы год бились, столько материала извели – все впустую... Правда, в процессе выяснили, что идея кандомбле совершенно ошибочна: в теле может находиться всего одна душа. Научились убивать прану, не повреждая тела, – ну это тоже не велика премудрость, в Карибском бассейне это делают при помощи барабанов и яда иглобрюха. Что еще?

Любецкий громко икнул:

– Черт! Главная проблема была в том, как воткнуть новую душу... – Он запнулся, поморщился. – Как дьякон просто: «душа, душа»! – сплюнул на пол. – Не душа – эгоквинтэссенция, мы говорим просто «кви».

– Кви, – зачем-то повторил я. – А на кой черт весь этот огород городить, тем более этим? – Я мотнул головой вбок. В сторону Лубянки.

Любецкий расстроился, похоже, от моей непонятливости, передразнил глупым голосом:

– На кой черт?.. Да так, пустяки. Бессмертие, контроль над миром, мелочи всякие...

– Это как?

– Элементарно! – сказал с английским акцентом и цыганисто прищелкнул пальцами. – Душа, тьфу! Кви – это, собственно, и есть я. Вот я стал, предположим, старенький – печень там, сердце, понятное дело – старость не радость. Вроде как все – финита, под фанфары ногами вперед, так?

– Ну так...

Любецкий хитро подмигнул.

– Ан нет! Не тут-то было! Я подыскиваю новое тельце, – он завертел головой, – помоложе, посимпатичней, могу даже в девичье, хо! – вроде вон той, жопастой, так, для смеху, влезть!

– Желаете еще заказать? – энергично прицокала крупная молодуха с круглыми икрами.

– Во! Вроде этой! – Любецкий захохотал.

Он рехнулся. И на этот раз, похоже, всерьез.

Вальяжно сполз и, раскинувшись в кресле, Любецкий сладострастно фантазировал о занятии тел политических деятелей, знаменитостей, плел соблазнительно-коварную паутину мирового влияния: цены на биржах – Токио, Лондон, Нью-Йорк, что кнопки телефона: жми любую; нефть, золото, алмазы. Играем на повышение – пожалуйста. Надо понизить – нет проблем!

Чего это премьер Англии вдруг разорвал дипломатические отношения с США? А вовсе и не вдруг. Это ведь он только снаружи их английский премьер, а внутри... Внутри там наш майор, допустим, Дроздов!

– Проблема была в синхронности. Мы выбиваем старое кви из тела и моментально транспортируем новое кви. Тело остается открытым доли секунды.

– А куда девается старое... кви? – Я ощущал себя драмкружковым актером, произнося этот глупый текст. Что я здесь делаю? Бред...

– Аннигиляция. Переход в другой вид энергии. Короче, убиваем, или, как выражаются мои коллеги, мочим.

– Душу?

– Ага, ее, родимую. Оказалась, кстати, не такой уж бессмертной, как попы гарантировали.

Любецкий радостно закивал: недолюбливал он попов.

– Кви-транс – штукавина, что мы смастерили – это так, испытательный образец, приборчик, на палец надевается, вроде кольца. Нужен непосредственный контакт при аннигиляции и переходе. В будущем, уверен, можно будет все то же самое делать с приличного расстояния. Чтоб не нужно было нашему майору Дроздову до их премьера или там папы римского дотрагиваться. Приторочил майора к кви-трансу, навел на объект, кнопку нажал – бац! – и в дамки! И вся любовь! Но это в будущем... сейчас ма-а-ахонький такой приборчик, колечко. Перстенок...

Любецкий пьяно набычился, засопел: тошнит, что ли?

– Главное, все оказалось так просто – ведь и ребенку понятно, что в бегущей волне электрическое и магнитные поля синфазны. А в стоячей они сдвинуты на четверть периода. И ведь никто не догадался. Никто! Кроме меня!

Он снова засмеялся.

Оборвал и внимательно посмотрел на меня.

– Тебе этот галстук не идет, – вдруг совсем трезво произнес Любецкий. – Лиловый? Прямо скажу: не идет!

Я хотел ответить как-то небрежно-остроумно, непринужденно. Ничего в голову не пришло – промолчал.

Любецкий пьяно навалился на стол, воткнул подбородок в скатерть. Исподлобья разглядывая меня, пробормотал:

– А как хочется, о, как хочется... – Он сладко сощурился и промычал: – Мм-м-м! Взять да и посла-а-ать вас всех...

Вдвоем с предельно услужливым коренастым таксистом (деньги творят чудеса! И даже не спорьте со мной) воткнули неуклюже тяжелого гения на заднее сиденье. Любецкий пихался, грозил и ругался. Откидывал голову, кошмарно рыча, наконец рухнул, поджал колени и замер.

Я добавил еще одну купюру, так, на всякий случай, заставил шофера повторить адрес.

Чавкнув дверью, такси телегой громынуло по трамвайным стыкам и укатило, «отча-а-алило в ночь», увозя моего друга прямо в тот самый распахнутый шкаф, где перекладина, к которой так просто привязать веревку с петлей и резко выдернуть вперед ноги, бледно сверкнув глупыми пятками на прощанье.

8

Решительно. И без соплей.

Прямо с порога и в лоб: так, мол, и так. Прости-прощай. Никаких объяснений. Да и кому объяснять-то?

Глупой, нерасторопной дуре: называет меня «кися» и читает, слюнявя палец, мягкие «ужастнокашмарные» детективы с ветчинного цвета грудастыми красотками и убийцами-брюнетами в темных очках на обложке.

По-деревенски мелко плюет через плечо и дробно стучит по мебели. Суеверна неряшливо – обожает (тоже, кстати, ее любимое словцо), сложив ладошки лодочкой, подпереть щеку и, мурлыча, по-детски коверкая и растягивая слова, рассказывать мне свои сны, нудно и подробно мусоля тягучую околесицу, гоголь-моголь, приторный до тошноты от уменьшительно-ласкательных суффиксов, что-то там про выпавший зуб, грязную реку, какой-то дом, где она голая (тут уж непременно хихикнет) ищет что-то или кого-то.

И еще: вытираться нельзя (ни-и-зя-я-я) одним полотенцем – к ссоре это. Хочешь убежаться от сглаза – носи булавку. Хочешь дом уберечь от сглаза – воткни в дверь иголку с ниткой, кися!

Кися!

Объяснять пошлой провинциалке, что после смерти Любецкого в «нашем тайном романе» (ее слова) нет смысла?

Особого смысла не было и при его жизни. Зависть? Пожалуй, да. Какой смысл лукавить с самим собой, тем более сейчас, когда его уже нет? Была в этой гадкой интрижке какая-то нечистоплотная смутная радость. Не могли, ну не могли голенастые тугобедрые девицы всех мастей и размеров, ну никак не могли мне именно вот этот вот нюанс презентовать. А он, нюанс этот, дорого стоит! Как там народ говорит: муж и жена – одна сатана. Так что была во всем этом некая пикантность. Только не подумайте, что я себе в эти моменты Любецкого представлял – я неисправимый гетеросексуал, вот еще глупости.

Я мягко заплыл на бордюр правыми колесами. Прямо под фонарь. Авось не влезут на виду-то. Заглушил мотор. 4:20.

Вкусно чмокнула дверь – я читал, у них там, в Баварии, целый отдел работает над правильным звуком захлопывающейся двери. Цивилизация.

Так. Теперь самое скучное – поговорить с Варварой.

Я вдохнул всей грудью, подошел к подъезду, набрал код. Шумно выдохнул.

– Вы Дубов?

От неожиданности вздрогнув, повернулся.

Лицо чуть помятое, глаз с прищуром. Знакомый или просто похож на кого-то? – не припомню никак.

– Имел счастье работать с Любецким.

Банионис! Точно, и ведь действительно похож, копия просто! Все встало на свои места, я развел руками и улыбнулся:

– Товарищ майор!

Банионис оскалился, просял. Не без гордости проговорил:

– Полковник.

– Однако! Поздравляю.

– Всем обязан покойному – кристальной души человек был, а умище, умище-то! Гений.

Банионис потряс кулаками, изображая умище Любецкого.

Мне показалось, что он либо пьян, либо паясничает. А может, и то и другое. Банионис пошмыгал носом:

– А вы к вдове? Так сказать, визит скорби нанести и искренние соболезнования засвидетельствовать? Это правильно, – он снова пошмыгал, – и по-дружески. Позвольте, я с вами поднимусь. Не возражаете? Я на секунду, тоже засвидетельствую и исчезну.

Было что-то неприятное в нем, его манерах. Раздражали лакейские обороты речи, панибратская развязность. Но, с другой стороны, похоже, так будет проще отделаться от Варвары.

– Прошу.

Я зачем-то, подражая Банионису, галантно шаркнул ножкой, толкнул тугую дверь и пропустил его вперед в затхлую вонь полутемного подъезда.

Часть вторая

1

Умиравший лифт, дрожа, скуля и жалуясь, дотащился на девятый, сердито лязгнув железом, встал. Испустил дух.

– После вас, после вас, – громким шепотом энергично зачастил полковник. Подобострастно нырнул вперед и ловкой дугой выкатил ладошку: – Только после вас.

Дубов, гулко шаркая по кафелю в серую с коричневым шашечку, даже в этом тухлом свете безнадежно грязному, подошел к двери и позвонил.

Дверь открылась сразу, хвостик трели звонка еще висел в воздухе квартиры. Приторно пахло прокисшей парфюмерией и сигаретами.

Варвара подалась вперед, тут же осеклась, увидев, что Дубов не один.

– Лишь засвидетельствовать, так сказать, как коллега и, не побоюсь этого слова, друг. Да, друг, – уверенной скороговоркой произнес полковник, чуть толкая Дубова в спину, привставая на цыпочки и вытягивая шею.

Варвара, быстро моргая, маленькой цепкой ручкой запахла ворот халата, скомкав кружева, похожие на сладкую вату, смущенно пробормотала:

– Да-да, конечно.

Они вошли.

Дубов брезгливо оглядел тесную прихожую, ненавистные бордовые с золотыми лопухами обои, тощую африканскую маску, черную и лоснящуюся, гнусный календарь с бледной японской купальщицей, застрявшей в марте.

– Позвольте мне на кухню с вдовой. Пять секунд, тет-а-тет, так сказать, – сладко заворковал полковник, тесня Варвару по коридору. – А вы уж в комнате покамест, в комнате. Пять секунд!

Дубов прошел в комнату. В «залу», как говорит Варвара.

Ничего не поделаешь, чертов Банионис! Словно боясь измараться, с опаской опустился в разлапистое плюшевое кресло. Оранжевое. Вздохнул, осторожно прислонился спиной, откинулся, вытянул ноги.

Зевнул.

Может, еще удастся пару часов поспать, быстренько с этой курицей потолковать и домой – бай-бай. Все равно никаких дел в офисе до полудня. Даже в бассейн по дороге заскочить, а? Минут тридцать кролем, сауна, душ... Красота!

Он посмотрел на большой розовый пастельный портрет хозяйки, скверный и непохожий: желтые кудряшки и вытарашенные непомерного размера травяного цвета глаза, вспученная пена каких-то рюшек – то ли принцесса, то ли кукла.

Он подмигнул розовому лицу и вкрадчиво усмехнулся, сказал тихо:

– Ну вот и все.

Рядом с портретом висели какие-то тусклые мрачные иконы, толстые распятия, гипсовые маски, испуганные фотографии деревенской родни.

Дубов снова вздохнул, прислушался. Нехорошо, товарищ Банионис, пора бы и честь знать.

Посмотрел на часы.

2

Тут же отворилась дверь, входит Варвара. Потирает руки, глаза блестят, улыбается:
– Ушел наконец, вот ведь прилип. Банионис вылитый, как тебе? Копия! Кристальной души человек, говорит, гений просто. Гений!

– Варвара, – Дубов, покашливая, неловко встал, – нам надо...

– Молчи, молчи, – сочно качнув бедрами, она шагнула к нему, – не надо слов, к чему слова? – Конец фразы она игриво пропела.

Ладони Дубова вспотели, он проглотил зевоту, сжав зубы.

Варвара подошла вплотную.

«А ведь глаза у нее и вправду зеленые, – совсем невпопад подумал Дубов. – А сама-то дура душой».

– Да-а, – она разглядывала его со странным интересом, будто видела впервые, – пришел-таки... дружочек ненаглядный.

Дубову стало не по себе, спятила она, что ли? Он рассеянно проговорил:

– Ты ж сама позвонила...

– Я? – Варвара нехорошо засмеялась. – Звонила?

Точно, свихнулась, подумал Дубов, кашлянул и сказал:

– Ну... так... Ничего... Пойду я, пожалуй.

Варвара вкрадчиво улыбнулась:

– Конечно, конечно. Сейчас и пойдешь. Только вот что... Дай-ка я тебя на прощанье поцелую. Друг ты мой любезный.

Она обеими ладонями притянула к себе лицо Дубова, тот вдруг ослаб, противно обмяк в коленях, то ли от этих жутких блестящих глаз, то ли от внезапно цепких и сильных пальцев – такого с ним не было со школы, с того дня, когда нужно было выходить драться с пэтэушниками из Факельного – таганской шпаной – таким заточкой в бок тебя садануть – раз плюнуть! А его стало тошнить, и он сполз в угол и тихо там скулил. И все видели. Все. А Любецкий пошел, и ему выбили зуб, но он вернулся грязный и веселый, рубаха в крови, и рукав оторван...

Иконы и маски на стене вдруг поехали на портрет, розовая принцесса Варвара завалилась на бок и свесилась из рамы кудрями вниз, кресты, кресты тоже тронулись и поехали к окну. Дубов ватными руками вяло толкнул Варвару в живот, тараща глаза и пытаясь остановить эту карусель.

Трудно дышать.

Жарко, невыносимо душно, ее ладони сжимали лицо, что-то жутко острое ужалило в щеку. Сквозь эту стеклянную боль в него потекла жгучая звенящая ртуть, или ему это просто казалось, что ртуть, при чем тут ртуть? Это жар, жар сейчас взорвет голову, глаза лопнут, что это? Господи, что это?

Варвара сдавила еще сильнее, сипло прохрипела:

– Маэстро! Туш!

3

Дубов, запрокинув голову, странно дернулся назад. Вытянулся и застыл, будто насаженный на кол.

Варвара уронила руки, обмякла и поползла вниз, лениво, как шуба, что сползает с вешалки. Шурша.

Дубов ловко подхватил ее под мышки, развернув, мягко опустил в рыжее кресло. Запахнул ворот халата, прикрыв выползшую бледным тестом вялую жирную грудь. Поправил мизинцем кокетливую прядку-кренделек на лбу. Хмыкнул, покачал головой:

– Эх ты, дура-дура, крашенная кукла.

Взял ее руку – что снулая рыба. Снял с пальца кольцо, толстое, массивное, словно выпиленное из белого камня. Пошарил по карманам пиджака, нашел платок, тщательно завернул кольцо, спрятал во внутренний.

Как тихо! Как неподвижно все вокруг и мертво. Словно и мебель, и ковер, и стены до этого жили, дышали, и вдруг – раз, и все! Умерли... Лишь кран на кухне безразлично отмеряет какое-то свое время, выкладывая плоские холодные интервалы между этими бездушными точками: кап... кап...

Дубов, аккуратно ступая, прошел тусклым коридором, открыл дверь на кухню.

На полу, раскинув руки, лежал полковник Банионис. Застывшие глаза тарачились удивленно, словно разглядывая что-то там, наверху.

Дубов чуть наклонился, разглядывая серое лицо:

– Что, потолок не того, не нравится? Побелить надо? Согласен, согласен, товарищ полковник.

Вздыхнул. Закрутил кран. Тихо. Вот теперь тихо.

Зашел в ванную. Долго разглядывал холеное лицо, скалил зубы, даже высовывал длинный язык. Язык как язык, розовый и гладкий. Хороший язык, короче.

Вздохнул. Волосы. Так вот оно лучше.

Достал бумажник. Быстрыми пальцами пробежался по отделениям, карточки, деньги, диппаспорт.

– Ай да Дубов, ай да сукин сын! Вот ведь удружил!

Дал щелчок зеркалу, подмигнул и вышел, не гася свет, бережно притворил нежно клацнувшую входную дверь.

Лифт словно дожидался его.

Недовольно пошипел и обреченно пополз вниз, облегченно кряхтя и постанывая по-стариковски – слава богу, хоть не в гору переть! – вниз, вниз!

Звуки механизмов, сонно укутанные круглым эхом, удалялись, тонули, тягуче падали в колодезь подъезда.

Вдруг к ним прибавилась мелодия: сначала мурлыканье, так напевают дворовые доминошники и старые часовщики, выводя гортанные сочные рулады, потом возникли слова, сперва невнятные, после чуть громче, отчетливей и под конец уже можно было различить в меру приятный баритон: «О-о-о, отчего ты отч-ч-ч-алила в ночь!»

Кармен-Сюита

– Как, вы сказали, это называется? – Басманов приблизился вплотную к холсту. В нос ударил скипидарный дух. Сочные мазки, похожие на багровых гусениц, слились в жаркое месиво. Вблизи картина напоминала горящие угли, оранжевые, рубиновые. Басманов в детстве мечтал стать пожарным, он рос на Таганке, и когда выселяли Гончарную слободу, он забирался в пустую хибару с бутылкой керосина и поджигал дом. Чуть погодя звонил в пожарную охрану из автомата. А после, замирая, наблюдал из толпы, как медноголовые храбрецы с топорами и баграми врывались в пламя и тушили его. Оставался черный остов трубы и столб серого дыма, уходящий прямо в ночное небо. В одном из пожаров погиб бомж, спавший в доме. Приехала милиция, по пепелищу бродили какие-то серьезные дядьки и что-то там вынюхивали. Поползли слухи о поджогах. Илюша Басманов храбрецом не был, и после этого случая пожары прекратились.

– «Завтрак Кармен» называется... – сиплым голосом ответил художник, прокашлялся и повторил, – Кармен... завтрак.

«При чем тут Кармен?» – Басманов поморщился, ныл затылок, а аспирин был в машине. Он почти час проторчал в пробке на Маяковке, а потом еще сорок минут плутал по этим выселкам за Бутырской. Он отошел на несколько шагов, опрокинул пустое ведро, извинился. Состояния картина ему не нравилась вовсе: квадратный холст метр на метр был вымазан красной краской, вымазан неаккуратно, казалось, даже нарочито грубо и грязно. Это раздражало.

Басманов тоскливо оглядел подвал, воняло плесенью и чем-то кислым, в слепом окошке прошли чьи-то ноги. Из темноты распахнутого настерж сортира доносилось тонкое журчанье. Художник молчал, изредка подкашливая и тихо прочищая горло.

«Этот точно долго не протянет. Хоть здесь Михалыч прав». – Басманов украдкой разглядывал художника, его острый кадык, серые, странно крупные кисти рук в узлах синих жил.

Басманов сунул руку в карман, достал телефон, громко и официально сказал: «Да! Говорите!» Кивнул художнику и боком протиснулся в прихожую. Прикрыл дверь. Он стоял в темноте, прижав к уху молчащий телефон. В черноте угла что-то шевелилось: он разглядел кошку, она ела из консервной банки.

– Господи, – прошептал Басманов, – господи... Ну что же делать?

Он сморщился, как от зубной боли, и помотал головой. Повременив, набрал номер. Вытянулся и глубоко вдохнул. На том конце ответили.

– Сергей Михалыч, извините, что беспокою опять... Да, Басманов... – он хихикнул странным фальцетом. – Я вот как раз у этого, у художника. Да, у Рябулиса... Ну вот я и... – он замялся, кусая губы, – я вот подумал... – Потом, словно прыгнув с моста, выпалил: – А нельзя ли скидочку мне на картину? Дискаунт типа? А?

В трубке возникла тишина. Потом на том конце что-то сказали и нажали отбой. Басманов вытер потные руки о штаны, присел на корточки и, поглаживая тощую кошачью спину, грустно прошептал:

– Михалыч... вот ведь сука какая этот Михалыч.

1

Обвинять Михалыча было грешно, он лишь выполнил то, о чем его просил сам Басманов. Они встретились на прошлой неделе в бизнес-клубе на Трубной. Михалыч опоздал минут на сорок, во время разговора постоянно отвлекался – то звонили ему, то он сам звонил. Подхо-

дили какие-то типы, здоровались, заискивающе глядя в толстоносое лицо Михалыча. Он напоминал потного, розового гиппопотама, добродушного, но все-таки слегка страшноватого.

– Ну а чего ты в салоне-то не купишь? Их как грязи теперь, – и Михалыч ткнул ручищей в сторону задрапированных окон ресторанный зала. – Галерей этих.

– Я так и хотел сперва, Сергей Михалыч, – торопливо жуя, говорил Басманов. При разговоре с Михалычем его голос становился выше и приобретал деревенскую простодушность. – Но... но, во-первых, нам нужен формат... а формат и там, в галереях этих, денег стоит. А во-вторых, я подумал... – он быстро отпил вина, вытер рот салфеткой, – уж если тратить деньги – так с умом. Типа вклада, чтоб в рост. С процентом. У нас вон Ляльке уже пятнадцать почти. Нужно будет учиться отправлять.

– Илюха, дорогой ты мой! Пойми, я ведь сам ни рожна в этой живописи не понимаю. И от того, что я работаю там, – Михалыч кивнул на тускло мерцающую люстру, – толку ноль.

– Не скажите, Сергей Михалыч, нет, нет, – замотал головой Басманов. – К вам же все эти барыги галерейные на поклон ходят. Таможня, разрешение на вывоз, пятое-десятое.

Михалыч кивнул и улыбнулся, вытер блестящую лысину. Пыхтя, сунул большой, как парус, платок в карман.

– Ходят... Это точно, – задумался. Помолчав, добавил. – Есть один. Кушельмац. – Михалыч усмехнулся чему-то, с грохотом отодвинул стул: – Ладно, Илюха, пойдем сигары курить.

2

Илья Басманов был невысок ростом, гораздо ниже, чем ему самому казалось. Татарская кровь придавала его лицу что-то неаполитанское, а дорогие очки в костяной оправе делали похожим на архитектора из зарубежного кино. На людях очки он старался не снимать, без них лицо выглядело голо и по-детски незащищено. Он работал на «Реал-ТВ» и не хотел, чтоб у коллег сложилось неверное представление о его характере. Тем более сейчас, когда он наконец получил свое шоу.

Шоу стояло в сетке следующего сезона, но он уже заказал себе визитки: Илья Басманов, Эксклюзивный продюсер, шоу «Погасшие Звезды». Ему особенно нравилось слово «эксклюзивный». В пресс-релизе шоу именовалось «революцией в реалити-ТВ», сам Басманов повторял эту фразу в интервью, приятелям и даже Ирен. На деле он знал, что это будет очередная телебодяга, где спившиеся певички, спортсмены, рок-н-рольщики будут материться, рыдать и сплетничать. И если он выжмет рейтинг, то переползет в следующий сезон. А за это время нужно будет замутить новый проект, утвердить и воткнуть в сетку.

– Тараканьи бега!

Басманов со злобой вдавил клаксон. Он сам не знал, относилась фраза к работе или к пробке, в которую он угодил, сдуру свернув на Дмитровку. Месяц назад Басмановы переехали за город, и теперь любая поездка в Москву превращалась в пытку.

«Шаха» впереди снова заглохла, Илья, матерясь, нажал клаксон и уже не отпускал. Из машины выскочил дохлый мужичок в кепке и, увидев хищную морду басмановского «Лексуса», принялся извиняющеся пританцовывать и разводить руками.

Басманов отпустил сигнал, он вдруг вспомнил, что именно такая «шестерка» была и у него:

– Точно, цвет «белая ночь», моя первая тачка...

Он опустил стекло, мужичок испуганно замер.

– Не гоношись, земляк! Все путем, – сказал Басманов, смеясь. – Бывает...

Та «шестерка» была почти новой, меньше трех лет. Деньги дали родители. Он как раз защитил диплом, ему удалось отмотаться от распределения на Казанскую студию. Через отца его пристроили в Останкино, и Илья гордо парковал сияющее авто перед телецентром. Жизнь

складывалась на редкость удачно, если не считать недоразумения с Люськой Сомовой: на пятом курсе она залетела и каким-то невероятным образом уговорила Басманова жениться. Они развелись, когда сыну исполнился год. После развода Басманов видел его раз пять, потом Люська отказалась от алиментов. Илья не настаивал.

Пробка тронулась, «шаха» завелась и поползла вперед. Басманов воткнул в ухо наушник:
– Ирэш! Сладкий! Как ты?

Илья кивал головой, слушая и улыбаясь.

– Да. Да. Все тип-топ. Задание выполнил! Михалыч обещал какого-то барыгу прижать. Будет тебе Пикассо.

3

Идея с покупкой картины принадлежала Ирен. Сам Басманов хотел сделать, как у Аругтюнова – у того над камином был прибит ковер мрачной расцветки, а по нему в художественном беспорядке развешаны сабли, янычарские кинжалы, самурайские мечи с висюльками. «Мужественно и стильно, – подумал с завистью Басманов. – Так и надо!»

Ирен спорить не стала, просто сказала:

– Нет, Бася. Кинжалы – это пошло. Мы повесим там картину. Большую, настоящую, в золотой раме. Какого-нибудь знаменитого современного художника.

Ирен была на четырнадцать лет младше Басманова, он подловил ее семнадцатилетней дурочкой на одном из конкурсов красоты, которые в те дикие годы проводились везде и почти непрерывно.

– Ирен, – гордо представилась она и тут же поспешно добавила: – Без «а» на конце.

Басманов тогда усмехнулся: куда ни плюнь, непременно угодишь в Лолиту, Анжелику или Веронику. Или Ирен. Та обиделась, достала паспорт. Там действительно стояло: Ирен Васильевна Хохлова.

Сейчас ей перевалило за тридцать, кое-что кое-где чуть поотвисло, но Басманов с удовольствием замечал все те же маслянистые кобельи взгляды, что ощупывали ее ладную фигуру на коктейлях, презентациях, в круизах и на пляжах. Когда родилась Лялька, Ирен решила не кормить ее, чтоб не испортить грудь. Басманову было все равно: он был счастлив, что у него вырастет девка, такая же смазливая, такая же ногастая, как и ее мамаша. Илья представлял, как лет через пятнадцать он, – седовласый и загорелый, будет прогуливать ее, соблазнительно румяную стервочку, где-нибудь по Сен-Жермен-де-Пре или Пикадилли. Покупать ей вздорный хлам в роскошных лавках на Пятой Авеню, рассеянно расплачиваясь платиновой кредиткой.

Ирен никогда не работала. Как-то, заскучав, она устроилась в галантерейный бутик на Петровке, но сбежала на второй день, навсегда усвоив, что «вся эта работа» не для нее. Одно время она подумывала завести любовника, но ничего стоящего не попадалось, а искать было лень. Потом пришли йога, фитнес, солярии и массажные кабинеты, у нее там завелись подружки, и времени перестало хватать вообще.

Решение перебраться в Успенское-Ершово далось Басмановым не просто. Илья понимал, что денег в обрез. Даже после продажи московской трешки.

– Пойми ты, я ж не Абрамович! И я не рублю нефтяное бабло, как эта гэбэшная братва вроде Михалыча. Я – творческий работник. Честный! И взятки мне, увы, никто не несет.

Ирен дулась и молча уходила в спальню, от души саданув дверь. Басманов спал на диване и с ломотой в спине уезжал на работу. Женины ласки его не очень интересовали, тело тоже – на студии этого добра – румяного, молодого, смекалистого – было хоть отбавляй. Басманов сам диву давался, что были готовы вытворять девицы за плевою должностью ассистента или возможность влезть в кадр. Однако инквизиторский диван взял свое – спина болела зверски. Через две недели Басманов сдался.

Ирен отнеслась к покупке дома и его декорированию как толковый император к захвату небольшого государства. Их круглый стол в гостиной постепенно был погребен под крупномасштабными картами Подмосковья, мебельными каталогами, образцами колеров и обивок, глянцевыми альбомами сантехники и туалетной утвари.

Вопреки басмановским страхам, и продажа, и покупка, и переезд прошли гладко. Правда, просыпаться теперь приходилось в пять, без четверти шесть он уже был за рулем, промедление грозило вечной пробкой на Новорижском или Можайке. Но новый адрес того стоил, хоть и не настоящая Рублевка, а звучал весомо: Успенское-Ершово.

Да и к дому он постепенно привык, поначалу, после сталинской массивной добротности, новое жилище казалось макетом, декорацией. Тощие двери из непонятого материала, подозрительно глянцевый якобы дубовый пол, хлипкие окна, которые нельзя было открывать при западном ветре из-за вони с Ершовского свинарника.

Но был камин. И тут Басманову возразить было нечего. Камин он полюбил сразу, жег дрова почти каждый вечер. Сидя в кресле или растянувшись на ковре, тянул ирландский виски и глазел в огонь. Иногда дымил «гаваной».

4

– Ты знаешь, а мне нравится! – Ирен по-куриному наклонила голову, закрыла один глаз ладонью. – Мощно. Стильно. Колорит.

Басманов уже и сам не знал, нравится ему картина или нет. Он тоже наклонил голову. Полотно висело над камином, Илья сам вколотил стальной крюк толщиной с палец.

– Раму только вот надо. Бронзовую... – задумчиво пробормотала Ирен. – Ну это уж я сама... Как называется, говоришь?

– «Завтрак Кармен», – отчего-то смутившись, ответил Басманов.

– Это которая с Казановой, его Джонни Депп играет. Там его в психушку сажают, помнишь?

Илья промолчал. Налил ирландского и залпом выпил. Он уже переоделся в бархатный халат с золотыми кистями на завязках, «графский», как Ирен его называла. Потом достал из портфеля прошлогодний каталог «Сотбис». Сел в кресло, похлопав по колену, поманил Ирен.

– Секунду, Бася. Джазуху только включу.

Ирен называла джазом инструментальные мелодии, которые заводят в холлах гостиниц и в приемных у дантистов средней руки. Она говорила, что будь она американским президентом, то обязала бы всех негров играть джаз – все равно от них толку ноль. Кроме джаза.

– Они охренели! – Ирен чуть не поперхнулась «кампарии». – Сто двадцать тысяч! Долларов! За эту фигню?!

Она тыкала в лот номер 434, художника Рудольфа Стингеля. На репродукции было полотно, покрытое однородной бурой массой, похожей на высохшую глину.

– А тут что написано?

– Картина без названия, – перевел Басманов.

– Они точно там охренели... Мужик, этот Рудольф, даже названия не может выдумать, а ему сто двадцать тысяч. И картина дрянь, не то что наша. Как нашего-то зовут?

– Рябулис. Художник Рябулис.

Ирен вернулась с новым «кампарии», игриво прошла перед ним подиумным шагом, виляя бедрами. Опустилась на колени, сказала томным голосом:

– Мне кажется, кое-кто заслужил сегодня эксклюзивный сервис, – и, облизнувшись, распахнула полы его халата. – О!

Сквозь полуприкрытые веки Басманов разглядывал красную картину, смотрел на огонь, на женину макушку с мелированными под седину прядями. Волосы от постоянных перекра-

сок стали походить на кукольную капроновую шевелюру. Неожиданно Ирен подняла голову, вытерла рот тыльной стороной ладони:

– Слышь, Бась, а как же картина попадет на их аукцион, если она у нас?

– Не эта попадет. Кушельмац на аукцион воткнет другую. Как только Рябулис засветится на «Сотбис», так сразу все его работы взлетят до потолка. Понимаешь?

– А-а... – Она опустила голову, потом, вспомнив, подняла опять: – Кись, ты с Лялькой поговори. Я тут ее почту шерстила, она с каким-то Маликом... Шуры-муры, ляля-тополя... Из Махачкалы...

– Какая, на хер, Махачкала?! Ладно, поговорю. Ты, Ирэш, не отвлекайся.

5

Конец лета и сентябрь выдались хлопотными: Басманов шестерил у Арутюнова вторым продюсером на ток-шоу «Развод и девичья фамилия». Записывали весь сезон сразу, все шесть эпизодов. Шоу получалось склочным и скандальным, дело иногда доходило до мордобоя. Собственно, ради этого Арутюнов и стравливал бывших супругов при поддержке родни с обеих сторон. Чья-то теща, рыжая круглая хабалка, в азарте раздолбила камеру стулом. После этого всю мебель прикрутили к полу студии, как в каталажке, и в первый ряд посадили мордоротов из охраны, нарядив их в цивильное. К концу дня у Ильи раскальвалась голова от криков и ругани. Раз в неделю Басманов звонил Михалычу, якобы проведать, как здоровье. Под конец разговора невзначай спрашивал про Кушельмаца. Старый хрыч разнообразием не баловал: «Все идет своим чередом» – ничего другого вытянуть из него не удавалось.

Ирен тоже была вся в делах: она планировала коктейль-пати и светские салоны, составляла меню и списки гостей. Она решила до аукциона держать «Кармен» в секрете. Даже от Лолы и Жанны.

К середине октября Басманов извелся вконец. В среду с почтой получил каталог «Сотбис». Он пролистал его трижды. Никакого Рябулиса там не оказалось. Он нервно ходил по кабинету, ероша волосы. Позвонил Михалычу, тот буркнул – разберемся. Басманов сел, до боли тер лицо руками, после вскочил, крикнул Леночке, что уехал с концами в «Интер-Медиа».

Двор он нашел быстро. Объехав помойку, запарковался у ржавых качелей с оборванными веревками. В подъезде была темень, но он сразу увидел, что дверь в подвал опечатана. Посветив телефоном, он разобрал на фиолетовом оттиске: УВД, 54 отделение милиции. Басманов подергал ручку, пнул дверь. Прижался ухом, внутри все так же тихо журчал сортир. Выскочив во двор, чуть не сбил старуху. Та отпрыгнула, выругалась.

– Бабуль, извиняюсь! Вы не знаете, художник, который там, в подвале? Рябулис?

Старуха чему-то обрадовалась, сморщила лицо:

– Латыш-то? Данилка-ханурик? Так его ж надьсь в дурку упекли. Как есть приехали на карете санитары, спыймали и увезли. Лихоманка у него, беляночка случилась. Он в исподнем от них по площадке детской скакал. Но они спыймали. Это уж после милиционеры там у него агрегат нашли.

– Какой агрегат? – потухшим голосом спросил Басманов.

– Самогонный, какой же еще! Запойный был – страсть! А когда трезвый – культурный: будьте так любезны, если вас не затруднит... Латыш, одним словом.

Старуха ушла. Во дворе быстро темнело. Грязные окна зажигались желтыми мутными огнями. Кто-то наверху пел фальшиво и громко про то, что не отрекаются, любя. Басманов стоял, привалившись к капоту, разглядывал окурки и мусор под ногами. Зазвонил телефон. Басманов приложил к уху, долго слушал, потом вдруг закричал:

– Неувязка?! Какая, на хер, неувязка?! Да не кричу я на вас, Сергей Михалыч. Вы меня-то поймите! Я ж этому жиду четырнадцать тысяч зеленью отвалил! Лялькин фонд раздербанил,

Сорбонны и Кембриджи медным тазом накрылись. Да не кричу я! Знаете что, Сергей Миха... Але! Але!

Басманов сунул телефон в карман и закрыл лицо руками. Наверху пели про миллион-миллион-миллион алых роз.

Он гнал, прикусив губу. В голове вертелась фраза «Домик имел и холсты», повторяясь снова и снова, словно кто-то усердно винчивал в мозг шуруп с сорванной резьбой.

– Та, что любила цветы... – прошептал Басманов, подавшись вперед и неотрывно вглядываясь в летящий асфальт, вырванный светом фар.

Проскочил Ершово, до поселка оставалось полтора километра. Илья дал газ, педаль легко и беззвучно ушла в пол. Стало тихо, до Басманова вдруг дошло, что не работает движок. Машина отяжелела и, теряя скорость, катилась по инерции. Басманов вывернул руль, съехал на обочину. Щиток мигал разноцветными огоньками, бензин был на нуле.

– Из окна, из окна видишь ты... – Илья, бормоча, набрал домашний номер. Включился автоответчик. – Ирен! Возьми трубку! – заорал Басманов. – Это я! Трубку возьми, слышь!

Запиликали короткие гудки. Он позвонил на мобильный. Манерный голос его жены попросил после сигнала оставить сообщение, номер телефона и пообещал непременно перезвонить.

– Але! Ирен, я тут... у меня бензин... за Ершово, – торопливо заговорил Басманов.

Потом позвонил Ляльке, ее мобильник сразу скинул на короткие. Хотел перезвонить, но тут его телефон жалобно пискнул и погас.

– Где же вы, курвы, шляетесь! – Басманов с треском хлопнул дверью, поднял воротник. Сунул кулаки в карманы и быстро пошел по обочине. Мимо изредка проносились машины. Илья руку не поднимал, он знал, что не остановятся. Он бы сам не остановился. Когда машин не было, наступала непривычная тишина. Далеко за речкой завывала чья-то сигнализация, ее подхватывали собаки, потом все снова стихло.

У шлагбаума он постучал в стекло будки, окошко открылось, оттуда пахло потом и щами.

– Славик, здорово! Открой.

Охранник в окне что-то буркнул. Илья не расслышал, переспросил.

– Документы, говорю! Чего не ясно-то? К кому?

– Славик, ты что? – изумился Илья. – Я ж Басманов. «Лексус» стальной металлик... Тридцать семь, пятьдесят два...

На тропинке его облаяла собачонка, чуть на сорвалась с поводка. Илья замахнулся на шавку, выругался. Молодая хозяйка, в розовых мушкетерских сапогах на высоченных шпильках, утянула твякающую тварь. Напоследок повернулась и с ростовским говорком изобретательно обматерила Басманова.

– Понаехало быдло... Лимита... – морщась от приторного парфюмерного духа, пробормотал Илья, роясь по карманам.

6

Дома никого не было. Басманов разжег камин, шаркая, походил из угла в угол. Достал из бара бутылку ирландского, налил полный стакан. Медленно опустил в кресло и, не отрывая взгляд от огня, выпил до дна. Выпил не торопясь, как воду. Налил еще.

Березовые поленья занялись, огонь, весело потрескивая, заплясал по бересте. Стало светлей, по потолку и стенам забродили, загуляли рыжие тени. Его взгляд остановился на картине. Мазки маслянисто блестели и переливались. Шевелились, будто гусеницы.

Зазвенел телефон, Илья вздрогнул, дернулся из кресла, а потом, словно передумав, снова опустил. Включился автоответчик. Ирен, пьяно растягивая слова, шмыгала носом:

– Бася, ну где ж ты? Мобильник не отвечает... Бася... у нас горе...

«Лялька!» – Сердце у Басманова ухнуло куда-то вниз и там застыло.

– Лялечка, дочурка наша сбежала с этим, с Маликом. В Махачкалу... С абреком этим...

Мне эсэмэску отправила: «Не ищи, уехала с Маликом в Махачкалу». Ба-ася, ну где ты?

Илья впился ногтями в поручни кресла. На том конце послышались голоса, Ирен высморкалась, кому-то крикнула: «Да приду сейчас, приду! Лола, отстань, твою мать, дай с мужем... Блин!» Что-то упало и со стеклянным звоном разлетелось. Ирен выругалась, телефон затрещал. Потом раздались гудки.

Басманов закрыл глаза, откинул голову. Едва слышно простонал:

– Что ж вы, суки, со мной-то делаете?

Потом встал, его качнуло, но он удержался, схватившись за спинку кресла. Тихо засмеялся, пошел на кухню. Вернулся с ножом, двенадцатидюймовым, золлингенговской стали. Он им обычно разделывал индейку или баранью ногу.

Привстав на цыпочки, хотел снять картину. Веревка зацепилась, он стал дергать, тащить подрамник вниз.

– Ах ты, шалава мадридская! Кармен, твою мать! А ну поди сюда!

Басманов подпрыгнул и всей тяжестью повис на раме. Крюк хрустнул и с куском цемента вырвался из стены. Илья вместе с картиной кубарем покатился по ковру.

– Лярва севильская... Вот я тебя сейчас...

Стоя на коленях, он вонзил нож в холст и с треском распорол его по диагонали. Потом вонзил еще и еще раз, кромсая полотно и ковер. Когда на подрамнике остались лохмотья, Басманов разломал раму, сунул все в камин.

– Что, не хочешь гореть, шмара? Не хочешь?!

Он схватил бутылку «Джеймисона» и с размаху хряснул о каминную решетку. Осколки весело брызнули во все стороны. В камине полыхнуло, синие огоньки побежали по ковру.

«Как керосин... там, в Гончарной слободе...» – подумал Басманов, глядя на шустрые языки пламени.

Он опустился на ковер, лег на бок, сунул кулак под щеку. Не отрываясь от огня, пробормотал:

– Что же вы со мной, суки, сделали...

Лицу стало тепло, Басманов улыбнулся – он вспомнил, как отец первый раз взял его на рыбалку. Солнце еще не взошло, сизый туман полз по озеру, по темной и неподвижной воде, похожей на черный лед. Их лодка скользила сквозь шуршащий камыш, на острых ярко-зеленых листьях сидели сонные стрекозы, похожие на изумрудные украшения. А вечером они варили уху из окуней, тянуло горьким дымом и укропом. Басманов, шестилетний Илюша, лежал на траве, уставившись в костер – там можно было разглядеть пылающие замки, волшебные арки мостов, шпили готических соборов. Ему мерещились рубиновые сады, лимонные скалы вырастали и рушились, исчезали без следа. Но на их месте тут же появлялись новые утесы и новые пики. Ничего чудесней он в жизни не видел. Он лежал и тихо радовался: какой же он счастливый, как же ему повезло, какая же замечательная штука – эта жизнь. Прекрасная и бесконечная штука.

Пожарные приехали не сразу, огонь полыхал уже вовсю. Блестя касками, они сноровисто размотали шланги, подключили брандспойты. Пламя ревело, клочьями рвалось в небо. Водяные струи, тонкие и беспомощные, испарялись, не причиняя огню никакого вреда. Через час от дома осталась черная труба, куча углей и серый столб дыма, уходящий прямо в ночное небо.

Ничего личного

Я сижу и вглядываюсь в мертвый океан, в едва различимую линию горизонта. Вода и небо почти одного цвета и напоминают лист кровельной жести, согнутый пополам.

Ты мне скажешь, что это не самая удачная из моих метафор. Скорее всего, ты права.

1

Людам присущ интерес к событиям и обстоятельствам трагического свойства, им нравится читать про неприятности. Про всевозможные страдания, разнообразные переживания и муки. Вынужден огорчить сразу – читатель ничего такого здесь не найдет. Жизнь моя почти лучезарна и покрыта тонким слоем позолоты, а по вкусу напоминает зефир в шоколаде. Точнее, суфле. То самое, из детства, в золотистой фольге и с палевым бумажным пояском. Фабрика «Красный Октябрь», кажется, если не ошибаюсь. Воспоминания о детстве любого взрослого человека – как ускользающий сон, мои воспоминания – вдвойне.

Я был впопыхах увезен родителями на другое полушарие в весьма нежном возрасте: красные галстуки, размытая акварель крымского лета, щекотный песок в сандалиях и божья коровка на загорелой руке – все это слишком похоже на полузабытые кадры незатейливого подросткового кино, чтобы быть правдой.

Оканчивал школу я уже здесь, на Ист-Сайд, в чопорном гетто роскошных особняков. Строгая геометрия Нью-Йорка, логичная рациональность и практичность Манхэттена оформили мой характер, загушевали и свели на нет славянскую безалаберность и лень, все то, что мои милые покойные родители, так и просидевшие до конца на двух стульях межкультурья, именовали нелепым словосочетанием «русская душа».

Отец – хмурый красавец, его профиль с короткой трубкой чернеет силуэтом в проеме двери, дальше, в жаркой тени веранды, моя мать в качалке и с веером. На столе запотевший стакан лимонада с листом мяты, белые дюны и синее, плоское, как аппликация море. Океан, если быть точным. Добавим пару чаек. Мы снимаем летний дом под Бостоном. Разумеется, разумеется – «дача», никак иначе он не именуется у нас. Вечерний чай, самовар натужно пыхтит и царапает красными искрами лиловое небо, пахнет дымком и яблочным пирогом; я обожаю объедать поджаристые, сочные перекрестья плетенки.

Мать покачивает ногой в такт тихому фокстроту с гибким кларнетом, отец, сдвинув брови, словно совершая некий ответственный акт, беззвучно хлопнул рюмку водки. Он сам настаивает ее на бруснике.

Каникулы, и вам пятнадцать: у вас непременно должна быть соседка. Без соседки, считай, лето псу под хвост. Моя соседка – Бэки, рыжая и томная не по годам, полоснула, как и водится, чем-то острым по душе. Зализывал, скуля, аж до Рождества. Белые гольфики с кисточками, след от пластыря на загорелой коленке, хрестоматийная синь в глазах, а в итоге – первый шрам на сердце. Мимоходом замечу – наука впрок не пошла.

По недомолвкам, намекам и обрывкам взрослых бесед (тема нашей эмиграции – семейное табу) я почти уверен, что отец был связан с органами и что-то там пошло наперекосяк. Не исключено, однако, что шпионская версия не более чем детская придумка: я с самого начала был отчаянным вруном и фантазером.

Тепло, в ночном воздухе неуловимо звенит хор цикад из черной рощи за дюнами. Ветра нет, прибой мерно перелистывает тягучее время. Мать зажигает керосиновую лампу, колба густо наливается оранжевым светом, пламя чуть коптит, пестря мошкаррой. Из темноты распахнутой гостиной куртуазно грассирует Вертинский, и кажется – вот-вот сам выйдет к нам

и, по-домашнему усевшись рядом и закулив тонкую папиросу, будет лениво любоваться остывающим океаном.

Затейливая родительская игра в Россию мне видится трогательной и нелепой, я в ней зритель и участия не принимаю. Я заехал на каникулы и через неделю уезжаю с университетскими приятелями в Мексику. Там будет жарко, слишком много дрянной текилы, мутное бирюзовое море, Криса пырнут ножом на набережной, Ли подцепит триппер. А еще через два года я уже буду дипломированным специалистом в сфере формирования общественного мнения и управления потребительским спросом. Я не шучу – у меня так и записано в дипломе.

Да, кстати, запомните вот еще что: мне платят за то, что я умею врать. Платят, между прочим, очень и очень неплохо. Мои клиенты – компании с подмоченной репутацией, это мягко говоря. И чем безнадежней репутация клиента, тем выше мой гонорар. Сколько? Между нами – в год выходит под тридцать миллионов, чистыми, после налогов. Имидж – материя тонкая и стоит дорого.

Не буду утомлять профессиональной технологией и хитростями моего бизнеса, скажу самую суть: психология и дураки. Причем ключевое слово здесь именно «дураки». Лично мне они, дураки, вообще симпатичны как вид, а уж дураков с гипертрофированным самомнением я просто обожаю. Нюанс: насчет ключевого слова я чуть слукавил: не «дураки», а «деньги». Вот ключевое слово, дураки в данном случае имеют такое же отношение к деньгам, как шланг к воде. Отличная штука – деньги. Недоучка Геббельс, этот хромой тролль с его теорией чудовищной лжи просто нелеп: ложь должна быть изящной. Ложь – искусство, и, как во всяком искусстве, здесь все дело именно в нюансах, майн либер херр Джозеф!

Я ненавижу солдатскую прямоту, не выношу безапелляционности выбора между белым и черным, пошлую грубость «да» и «нет». Мое оружие – оттенки, полутона, нюансы: когда простецкое «нет», робким эхом отразившись от прохладной синевы сомнения и проплутав по лабиринту намеков и недомолвок, возвращается к тебе неожиданно уверенным «да». Образ слегка цветаст и громоздок, ну да бог с ним, да и вообще, хватит о работе.

2

Декабрь в Северной Калифорнии пахнет сырой еловой смолой и дымом. Пахнет морем. Вдыхаю полной грудью. Сам факт существования Сан-Франциско с предновогодней толкотней и шумом всего лишь в двух часах неубедителен.

Вот пересек залив по циклопическому мосту, выкрашенному красным суриком. Начало пути откровенно гнусное: тоскливые окраины с неизбежными заторами и прорвой светофоров, проехал хмурые постройки за бесконечным забором, явно что-то военное. Настроение уже было сошло на нет, но вдруг дорога вздыбилась, и с неожиданно открывшейся высоты распахнулся простор торжественно бескрайнего океана. Океан мерно колыхался, будто слушал Вагнера. Справа зеленой стеной скоро и хмуро поднялись горы. Потом дорога сузилась и, петляя, упрямо пошла вверх. Иногда шоссе вползало в мохнатое облако, наехавшее на склон, и тогда приходилось пробираться почти на ощупь. Ватные звуки, слепящая белизна, уже не понять, где верх, где низ, мне казалось, что так, заплутав, можно запросто ненароком заехать в рай. Увы, каждый раз молочное марево таяло, тусклый пейзаж проявлялся, как на полароидном снимке, и наличие рая снова оставалось под вопросом. Ну и ладно, зевал я, будем смело грешить дальше.

Да, вот что еще: если женщина уверяет вас, что не собирается иметь детей и не мечтает выйти за вас замуж, то, скорее всего, вы ее больше не увидите. Если же вы продолжаете с ней встречаться и убеждены, что она говорит правду, то вы безусловный идиот. Вроде меня.

Алекс в данном случае имя женское, сокращенное от Александры. К России, слава богу, отношения не имеет, хотя я и звал ее Шурой, иногда Сашей, шутливо, на русский манер. Ей

особенно нравилась Шура: для англоязычного уха в нем корень «уверенность», а уж чего-чего, а уверенности в ней было с избытком. Но этот факт выяснится чуть позже.

Для полноты картины к имени следует добавить пару длинных и стройных (но вовсе не тощих, как у этих жилистых страусих с подиума) ног, также пару задорных сисек, крепкую и круглую задницу, которую было просто невозможно не похлопать, погладить или хотя бы потрогать. Ключевое слово здесь – «было». Прошедшее время.

Мы познакомились... хотя нет, слишком банально. Скажу так: виной всему теннис. Та самая игра с мячиками лимонного цвета. Она лупила по ним звенящей ракеткой, и мячики послушно летели именно туда, куда ей хотелось. Это вовсе не так просто, как может показаться со стороны. И это производило впечатление. Иногда эти мячики залетали мне в самую душу, да так метко, что я только охал.

Не говоря уже про бесстыже загорелые в апрельскую пору ноги и порхающую белым морским флажком юбку. Хотя, если честно, белый флаг больше подошел бы мне, я вообще не отличаюсь стойкостью в баталиях с противоположным полом – моментально сдаюсь на милость победителя. Но этот случай был явно особым: то ли моя детская зазнаба Бэкки, тряхнув рыжими кудрями и мелькнув белыми гольфами, снова ущипнула меня за самое сердце, преобразившись в ловкую теннисистку, то ли застрявшая зима решила напоследок выкинуть забавный фортель.

Алекс была вылитая Весна с картины Боттичелли, той самой, из Уффици. Хотя сходство это, возможно, мне лишь мерещилось, я всегда был равнодушен к боттичеллиевским флорентийкам с их насмешливо вскинутой бровью и по-детски надутым губам на аристократических, бледно-фарфоровых лицах. Еще у нее был превосходный вестибулярный аппарат; мы шли набережной, ветер рвал белые облака и гнал их ключьями по голубому, она вдруг сунула мне в руки свою ракетку и, лихо запрыгнув на парапет, как ни в чем не бывало (даже не прервав фразы) зашагала своими изумительно золотистыми ногами по узкой кромке камня. Я знал Алекс всего два часа, но, если что, клянусь, прыгнул бы за ней в ледяную воду Ист-Ривер. Однако обошлось. В тот раз, по крайней мере.

3

Я еще раз с недоверием взглянул на телефон. «Сигнала нет» – слова эти неприятно настаивали, как некролог кому-то почти забытому. Наша уютная цивилизация осталась там – за лесами, за горами, в двух часах езды по утесам и сквозь облака. Именно этот факт оторванности от внешнего мира почему-то приводил мою Алекс в почти эротический восторг: «Нет, ты только представь: ни звонков, ни телевизора, ни компьютера, никаких сводок с биржи – глушь и тишина!» Слова «глушь и тишина» она томно выдыхала, щурясь и поводя плечами.

Убедить меня особого труда не составило, она знала, что делает. Мои доводы про работу и клиентов стремительно утонули в ангельской грусти ее глаз, а когда в них навернулись слезы, я уже послушно капитулировал, клюя ее макушку мелкими поцелуями.

Пусть будет глушь.

Внизу, правда, была еще деревня.

У дороги, на столбе с племенными тотемами (это трехметровое бревно охраняет жителей, в основном это индейцы, от злых духов) – то ли бобры, то ли еноты, вырезаны из дерева и грубо раскрашены, они переплелись с плоскими орлами, похожими на первобытные аэропланы и страшноватыми зубастыми рыбинами, – в центре угловатая надпись «Эвернесс». Название деревни. Скорее всего, это слово должно что-то означать, но мне не очень любопытно.

Прогуливаюсь, шагаю наугад, похоже, по центральной улице. Обычный захолустный ассортимент, чуть отдает скучной бутафорией: пожарная станция с красными воротами и бронзовыми звездами, почта, адвокатская контора, перед ней гипсовые ступени с небольшими

львами, похожими на двух больных собак. Запах подгоревшего масла и еще чего-то неопределенного появился раньше самого ресторана, вот и он – таверна «Капитан Дрейк». На слинявшей вывеске явлен сам сэр Фрэнсис с копченой свирепой рожей и в малиновых ботфортах. Миновал ресторан, следом – тюремного вида заколоченный склад, обклеенный кустарными объявлениями и голубыми бумажками с размытыми каракулями: «одам душе», «прекрасный дуб» и уже вконец таинственным «ад почти новый», я вышел к пустому перекрестку. Да, именно этой дорогой я и приехал из Сан-Франциско два дня назад.

– Нравится у нас? – на ступенях углового дома стояла женщина и курила. – В городе, поди, шум, суета... вы из Сан-Франциско?

– Нью-Йорк.

За время моей прогулки солнце село, незаметно сгустились сумерки, и огонек ее сигареты сиял оранжевой точкой. Дверь за спиной была распахнута настежь, комнатный свет тягучей канифольной желтизной обтекал темную фигуру и, ломаясь, спускался по ступенькам. Из комнаты беззвучно появилась кошка, сладко зевнув, потянулась и села у ее ног. В темноте жутковато зажглись и погасли два желтых глаза. Женщина повернулась в профиль и выпустила кольцо дыма.

– А у нас вот тихо.

Конец фразы она сказала, словно выдохнула на стекло. И засмеялась, откинув назад волосы, при этом ее серьги мелодично звякнули.

Я хотел разглядеть ее, но черты лишь угадывались: чуть скуластое, маленькое лицо, темно-малиновые губы, тяжелые черные волосы. Похоже, она была из местных или, как их политкорректно обзывают, из «коренных американцев», тем более что по-английски и индус, и индеец – одно и то же слово.

– А где же ваша подруга? – любознательно поинтересовалась она. – Скучно стало, уехала?

«А где ж и впрямь наша подруга?» – резиновым мячом запрыгало в моей голове это гулкое га-га-га. Я аж вздрогнул, сглотнув. Не совсем уверенно даже не ответил, а послушно повторил:

– Уехала... Скучно стало.

В темноте было не понять, но мне показалось, да что там – я был почти уверен, что эта проницательная скво, эта любопытная стерва усмехалась.

4

Упомянул ли я уже, что моя Александра была рыжей? Что я ее любил, а она предала меня и тем разбила мое сердце? Мое бедное сердце... Фу, ну и пошлятина. Я развожу огонь и пью вино. Прихватил в деревне, оказалось вполне сносным. Незаметно прикончил полбутылки, а огня так и не разжег. Спалил все газеты. Даже недочитанный «Нью-Йорк Таймс» в азарте пошел в растоп, сжег все щепки и мелкие дрова – как это будет по-русски – лучини? – жутко перемазался сажей, пепел в носу, чихаю, и глаза слезятся, по комнате мутными пластами плывет дым, все впустую – не горит!

У меня дома камин газовый: повернул кран, спичкой чиркнул, и всех-то дел – огонь, пожалуйста. Дары западной цивилизации! Здесь, в этой чертовой глуши, все взаправду, будто и не было мучительных столетий эволюции: коряво наколотые поленья, кованая кочерга со страшноватым крюком. Камин выложен до потолка валунами среднего калибра, внизу прокопченная мрачная решетка. Справа над камином прибита оленья башка с разлапистыми рогами, время от времени я втыкаюсь в нее, каждый раз встречая укоризненный стеклянный взгляд.

Скорее всего, именно такой взгляд был и у меня, когда я узнал, что Александра меня предала, укоризненный и стеклянный. Вы спросите: как это случилось, как я узнал? Я отвечу: очень просто, она сама мне об этом сказала. Моя милая Алекс, трогательная и невинная, та, что

состояла из беззащитных поцелуев, ангельских восторгов и ласкового воркованья, за которые хотелось бесконечно просить прощения, именно эта Алекс одним ловким ударом расколола вдребезги все мирозданье. Мой несуразный мир стек грязной тушью, а кто-то проворный тут же намалевал известью крест на моей спине и, зычно крикнув, вогнал кол меж лопаток.

Так вот и лежал я среди дымящейся пустыни, кусая сухую серую глину, под густо-красным, как томатная паста, небом, что боготворил чокнутый монах Иероним Босх, неутомимо рисующий черной сажой вертлявых бесов без глаз, да и без лица вовсе, но с длинными крюкастыми баграми. Проворная нечисть, хохоча, цепляет в мое мясо крюки; они волокут, тащат меня в свой искрометный подземный аттракцион – там рельсы уже раскалились добела и от натуги потрескивают на стыках, приторно пахнет карамелью и жженым салом, там всегда только вниз, но и не без мелких радостей, поскольку, как выражаются турагенты, все включено, и даже за напитки платит заведение.

Я выщедил остатки вина и одним глотком выпил. Не знаю зачем, ткнул кочергой в верхнее полено, угли под ним вдруг вспыхнули, синий огонь пробежал по краю, нежно пульсируя и соскальзывая. Я наклонился, дунул. Очевидно, зря: огонь вздрогнул и умер.

Мой дядя Эдуард, это по материнской линии – ее старший брат, они все питерские, закончил в сумасшедшем доме. Прадед, говорят, тоже был не в себе: какая-то там была жгучая амурная драма с похищением, погонями и убийством, что-то про Кармен, одним словом, испанские страсти. Да, я в курсе, что Кармен – цыганка.

А я где-то читал, что помешательство – штука семейная, так и сидит в роду, выныривая в разных поколениях. Не знаю, правда это или нет, но три дня назад... Господи, всего три дня?! короче, у меня появилась неожиданная способность видеть себя со стороны.

Это было похоже на вялое любопытство, словно речь шла о ком-то постороннем, будто я смотрел на себя сквозь стекло. Так разглядываешь заблудившегося провинциала через ресторанную витрину, лениво ковыряя ложкой остатки скучного десерта и надеясь хоть как-то развлечь себя случайно подвернувшейся оказией: вот он, незадачливый турист, топчется на мостовой, оглушен гудками и толкотней. Беспомощно вертит головой, не решаясь спросить торопливо-резких горожан, близоруко щурясь, шевелит губами, читая вывески. И снова обреченно вздыхает, теребя край немодного пиджака...

От вина и копоти голова налилась тяжестью, бурым и тягучим предвестником тупой боли. Я кое-как поднялся, меня тут же занесло в сторону, опять впритык вынырнул олений глаз, я, плюнув, выругался и вышел на террасу.

Холод и ночь; я пытался найти знакомые созвездия, но голова продолжала куда-то плыть, теперь уже, правда, с приятно убаюкивающей амплитудой, да и звезд оказалось во много раз больше, чем положено.

На мгновенье мне почудилось, что вселенная опрокинулась и что я плавно падаю в эту бездну из черного бездонного бархата и россыпи незнакомых звезд. На меня вдруг нахлынул какой-то детский восторг со слезами и комком в горле: внезапно я ощутил себя центром мироздания, его осью, мне стало совершенно очевидно, что вся эта внушительная небесная механика, вне всякого сомнения, вращается вокруг меня и, более того, именно я и есть причина и цель всего этого галактического вращения.

Безусловно, я был изрядно пьян.

5

Ценю добрые отношения с читателем, поэтому считаю своим долгом сознаться, что я допустил некоторые неточности, короче, опять соврал.

Не буду вдаваться в подробности, да и мысли мои разбегаются по углам, как стеклянные шарик, лови – не поймать, но я помню каждую встречу с Александрой. Все декорации и мни-

мые признаки жизни, тот чуть рассеянный взгляд и искусственный смех, старательные, но чуть картонные губы – это сейчас все внезапно наполнилось ясной логикой и стройным смыслом, тогда же я тонул в слепом восторге и ощущении чуда. Попросите меня, и я мог бы составить каталог ее запахов, от наивного бисквитно-медового, с нотками чайной розы, до порочного, почти черного, замешенного на горелой корке, морской траве и корице, с легкой мускусной отдушкой. Я помню наизусть каждый тайный изгиб ее тела, помню на ощупь, вслепую и запросто мог бы стать лучшим гидом по этому румяному раю. Ведь я знал самые сокровенные уголки того восхитительного ландшафта, кстати, по секрету: рыжий завиток за ухом, одна из моих любимых достопримечательностей. Даже сейчас, зажмурившись, могу проделать заманчивое путешествие от вздрагивающего голубой жилкой виска до отполированной, будто слоновая кость, сравнительно небольшой (размер семь с половиной) пятки.

Один умный доктор, мой партнер по гольфу и занудным беседам, сказал мне как-то, что любой мужик, если он, разумеется, не полный осел, приобретает годам к сорока невероятную привлекательность в глазах двадцатилетних девиц. Он даже привел какие-то якобы научные доводы, процитировав что-то, похоже, из Фрейда, закончил же свою мысль почти плакатно:

– Это медицинский факт. И не пользоваться этим просто глупо!

Фамилия доктора – Вульф, Георг Вулф, он немец из Бремена, но успешно практикует на Ист-Сайд – доверчивые американцы трепетно почитают врачей-немцев, хотя к делу данная информация никак не относится.

Итак, признание номер один. Не уверен, что последуют и другие, но надо с чего-то начинать, пока не передумал.

Алекс приехала сюда вместе со мной.

«Я приготовила тебе сюрприз», – сказала она, когда мы переезжали через залив по красному мосту, любуясь тюрьмой-музеем на острове. Ангелы летели сзади, я даже слышал их натужное сопенье и лучистый шепоток: сюрприз, сюрприз! Я хмыкнул, у меня в кармане была коробочка с ленточкой и бантиком, внутри – серьги в полтора карата: нас врасплох сюрпризами не возьмешь, у нас свои наготове. (Редкий идиот!)

Потом Алекс рассказывала о своей парализованной тетке из Квебека. Она рассказывала о ней часто, и каждый раз мне становилось ужасно стыдно за свои мускулистые, пружинистые и на редкость здоровые ноги. Я невнятно мычал и слишком уверенно мотал головой, соглашаясь, что мы непременно должны навестить ее, что, конечно, это будет просто замечательно, и что я тоже, а как же иначе, буду в восторге от тети Кэрол, которая заменила моей крошке Алекс и отца, и мать. Отец, по ее словам, разбился на мотоцикле, а мать с горя начала пить, а после повесилась в шкафу на его галстук.

Все это я слышал не раз, сейчас слушал вполуха, убедительно имитируя диалог то одобрительным, то сочувственным поддакиванием. Если честно, то меня больше занимал ее сюрприз: скорее всего, нечто, начиная с банального галстука и вплоть до эротической самодеятельности с лавандовой свечкой и красно-черным бельем, столь настоятельно рекомендуемых женскими журналами. В этот момент (мы как раз въезжали в горы, радио захрипело и заглохло, хотя это неважно) меня прошиб пот – ну и кретин! – она беременна!

Точно, вот он, сюрприз! Я чуть не врубился в указатель.

Поймите меня правильно, я ничего против детей не имею, просто они не входят в мои планы. Александру-Сашу-Шуру, моего рыжего бесенка, я обожал, как никого. Весьма вероятно, даже любил, материя эта эфемерна – любовь, какая тут может быть определенность?

На самом же деле ее сюрприз оказался куда изощренней, чем я воображал, да и вообще, надо признать, наша мужская фантазия скудна и убога.

И если вас когда-нибудь застигала гроза в открытом («в чистом», как русские выражаются) поле, когда молния с треском разрывает пополам небо прямо над головой и буквально

в тот же миг кувалда грома гвоздит вас в самую маковку, наполняя голову тугим гулом, то вы примерно представляете эффект, произведенный ее «сюрпризом».

Тут необходимо замечание: все, что случилось после, происходило в некоем полубреду, словно я соскользнул в какую-то параллельную реальность, один из тех миров, где улыбчивая старушка внезапно трансформируется в упыря, пушистый котенок превращается в чешуистого гада, а ноги врастают в землю и не бегут. Говорю это не для оправдания – для объяснения.

Мы стояли у обрыва и разглядывали океан. Она спросила:

– Как ты относишься к Поланскому?

– Режиссеру?

– Ага, Роману.

– Нормально. В «Пианисте» Броди слегка переигрывает, но в целом ничего. «Ребенок Роз-Мари» вообще классика.

– Я не про кино.

– Про Менсона, убийство Шарон Тейт? Хелтер-Скелтер?

– Да не, я про ту малолетку.

– Чушь, мамаша сама ее в койку к нему уложила. Голливуд, все средства хороши.

– Средства? А он потом тридцать лет по заграницам прятался.

– Станешь прятаться, если тебя в тюрягу хотят укатать!

– Не трахай малолеток, закон есть закон, правосудие.

– Дичь это, а не правосудие.

Она внимательно посмотрела на меня и спросила:

– А сколько бы ты заплатил бедной несовершеннолетней девочке, чтоб не загреметь в тюрягу?

6

Мой мозг спутан, похож на лабиринт гулких коридоров, хитрые лестницы и сумрачные ходы, двери, двери. Давайте откроем одну, наугад, ну хоть эту. Там, в невнятном шепоте и прохладной миниатюрности ускользящих пуговиц, завершается упоительный апрель, я даже вижу свое отражение в ее глазах, неясное и выпуклое. От волос пахнет чайным листом, такой свежий, зеленый запах и совсем не подходит к рыжему цвету. Хотя это не тот рыжий – с отливом медной проволоки, что вьется мелким бесом и непременно подается в одном комплекте с россыпью конопушек на плечах и веснушчатый носом. Ее рыжий был сродни локонам-пружинкам златовласых красавиц Боттичелли, помните, «Триумф Весны»?

Я проснулся от запаха ее волос, проснулся рывком, в каком-то первобытном ужасе.

Мне снилось, что я стою на той горе, у самого обрыва, далеко внизу ворчит и ухаёт прибор. Различаю сквозь шум слабый голос, кто-то меня зовет. Но никак не могу пересилить себя и заглянуть вниз в бездонную пропасть, ведь я панически цепенею от одного вида мойщиков окон, когда эти безумцы беззаботно гуляют по кромке карниза – высота просто парализует меня.

Она (удивительно, не могу называть ее по имени, даже во сне!) возникла за спиной, я просто почувствовал ее присутствие, вдохнул этот свежий запах и тут же проснулся. Сердце колотилось; пялясь в темноту, я быстро провел ладонью по холодным простыням рядом – один, откуда ей взяться. На полу светилась лунная крестовина окна, темные силуэты потеряли знакомые очертания, притаились. Седой полумрак обманчивыми контурами рисовал странные и таинственные формы: спинка кресла мерещилась чьим-то крутым затылком, куртка в углу свернулась, как спящий пес, а волшебным мерцающим изумрудом в центре стола был всего лишь бликом на дне пустой бутылки. Я подумал, что теперь уже точно не засну до утра, и тут же заснул снова. Заснул и моментально очутился на том же обрыве (похоже, своим еженощным

кошмаром я обеспечен), далеко внизу бил прибой, у Александры были пустые, рыбы глаза, а за спиной лишь небо и полоска серого океана.

Она произнесла это на удивление просто, двенадцать миллионов, а после добавила:

– Не такие уж большие деньги – двенадцать миллионов. Я могла бы взять и десять, просто двенадцать – моя счастливая цифра.

– Число, – автоматически поправил я, – не цифра.

– Ну тем более.

Она улыбнулась и, сунув кулаки в карманы, повернулась ко мне спиной. Ветер тут же задрал воротник куртки и суетливо затрепал ее волосами. Здесь на обрыве было так ветрено, что, казалось, стоит лишь как следует подпрыгнуть, раскинув руки, и тебя непременно унесет.

Ее деловитая доброжелательность совершенно оглушила меня, поначалу мне почудилось даже, что она шутит.

Чертовы стереотипы! Как всегда, все, что не укладывается в привычные рамки или не соответствует нашим представлениям, моментально загоняет нас в тупик.

Шантажист представляется нам небритым негодяем в перчатках: щурясь от табачного дыма, он кромсает маникюрными ножницами газету, а после, перемазав все вокруг канцелярским клеем и прикусив от усердия язык, составляет неопрятный буквенно-цифровой коллаж, с непрямым «а ежели указанная сумма не будет...», ну и так далее, со всеми немислимыми угрозами. С шантажистом, как правило, не летишь на выходные в Колорадо гонять на горных лыжах, не загораешь нагишом на яхте в районе острова Фиджи, не везешь шантажиста в цветущий каштанами Париж для обновления летнего гардероба, не даришь букетики цветов и прочей ерунды, ведь так?

Так!

И потом – как это могло случиться со мной? Именно со мной? Невероятно удачливым умником, прагматичным, как сто пятьдесят немцев, убежденным холостяком и чертовски обаятельным красавцем? Осторожным и рассудительным!

Ведь в такие истории влипают законченные простофили, всякая голливудская пьянь и наркота! Или это и есть пресловутая «русская судьба», неумолимый рок и проклятье славянской крови? Неужели вся шизоидная достоевщина и гоголевская психопатология оказались правдой и теперь могут вальяжно расположиться в моем мозгу, разъедавая и отравляя столь превосходно настроенный инструмент?

Очень хочется кому-нибудь хряснуть по роже или что-то вдрызг расколошматить. Нет, нет, надо взять себя в руки, успокоиться.

Итак...

Она права – за все надо платить, особенно за удовольствия и глупость.

Опять же она права в том, что даже если присяжные меня оправдают, моя личная репутация, а главное, репутация моей конторы будет угроблена раз и навсегда. А ведь репутация – это и есть мой основной товар. Без репутации я – беззубый дантист, хромя балерина, глухой учитель музыки. Все верно.

Она скучным, совсем обыденным голосом, щурясь от ветра и некрасиво морща нос, заявила мне, что «ничего личного здесь нет, просто отличная возможность сделать деньги» – (There's nothing personal, just business opportunity), рассказала, что поначалу она думала меня женить на себе, забеременеть, прижать к стенке. Припугнуть, если будет нужда. Но этот план был излишне хлопотен, тем более что ни беременность, ни дети не входили в ее планы.

И вот тут-то ей и пришла в голову «гениальная идея» – она так и сказала, оживясь. А восемнадцать ей стукнет через месяц, только в январе.

Вытащить меня в эту глушь тоже было, на ее взгляд, достаточно остроумно и логично: она опасалась, что я сгоряча начну звонить адвокату или, не дай бог, в полицию. Справедливости

ради замечу, что юная мерзавка изучала меня прилежно – я типичный овен (20 апреля) и действительно бываю вспыльчив, что есть, то есть.

Не так просто признаться, но я до самого конца на что-то надеялся: что это – затянувшийся и крайне неудачный розыгрыш, что я сплю, что кто-то из нас просто сошел с ума, – я не глядя согласился бы на любой из этих вариантов.

В ее голосе появилось гадливое пренебрежение и холодное превосходство («болотный пень вообразил, что может дрючить принцессу за тряпки и стекляшки, как привокзальную шалаву, не так ли?»). В этот момент на меня обрушилось, что моей лучезарной Александры, которую я носил на руках по розовым облакам с апреля по декабрь включительно, никогда не существовало.

Ветер нервно трепал ее волосы и воротник куртки; мы купили эту куртку в Бостоне; Алекс отчего-то хотела именно черную, лайковую, долго выбирала и мяла кожу, тиская пустые рукава своими сильными загорелыми пальцами. Я, рисуясь, кинул карточку на прилавок, даже не взглянув на ценник, вот ведь шут!

Сейчас на черной коже я заметил полустертый меловой отпечаток – цифра восемь, наверно прислонилась где-то спиной. Интересно, ведь восьмерка – единственная абсолютно симметричная цифра, там, в зазеркалье, она точно такая же, как и здесь.

«А как же ноль?» – невежливо спросил кто-то в моей голове.

«А ноль, – ответил я холодно, – это пустота, ничто. И поэтому ноль не считается».

«Кстати, – не унимался невежливый, – если положить восьмерку на бок, то это будет символ бесконечности».

В этой мысли что-то было, но я демонстративно решил не поддерживать разговор.

Слабый звук, высокий и прерывистый, вплелся в шум ветра. Александра разглядывала океан и от скуки начала насвистывать «Болеро» Равеля. Не знаю почему, но это добило меня, я сделал шаг и изо всех сил толкнул ее в спину.

7

Зевнул.

Весь день зеваю.

У меня такое ощущение, что в этой глуши всего два времени суток – ночь и сумерки, и они незаметно перетекают друг в друга. Туда и обратно, как лента Мебиуса.

Мягкий, скупой на краски, закат. Беззвучно возник в просвете меж деревьев ультрамариновый, почти черный, силуэт оленя с причудливыми рогами, я моргнул – и нет его, растаял, да и был ли он на самом деле?

Залив спокоен, здесь нет ни волн, ни прибоя, изредка пробежит рябь или плеснет мелкая рыбешка, иногда, почти касаясь воды, проскользит на бреющем полете, без единого взмаха крыла, строгий пеликан.

Под ногами хрустят перламутровые раковины, они похожи на застывшие слитки олова. Ракушками усеян весь берег вокруг харчевни. Сколоченные из серых досок столы, вместо стульев поставленные на попа бочки.

Кроме меня, посетителей нет, малый с кухни принес пива и дюжину устриц. Устрицы свежайшие, их ловят прямо здесь, в заливе. Такие просто грех портить лимоном. Я бросаю его чайке, внимательно следящей за мной с соседнего стола. Она кидается к добыче, долбит лимон клювом, раз, другой, после разочарованно отворачивается, наверняка думая: «Надо же, ведь и не скажешь: с виду – яркий, сочный, а на вкус – такая гадость!»

Голоса над водой, по-вечернему ленивые, это возвращаются рыбаки. Что-то про погоду, нет, дождя не будет до среды, что-то про какую-то Джуди, которой палец в рот не клади. Я с Джуди не знаком, но двумя руками за подобное предостережение.

Одномачтовые лодки с румяными от заката верхушками парусов причаливают к деревянному пирсу, рыбаки не спеша затягивают узлы на черных и мокрых сваях, закуривают, по привычке заслоняясь от несуществующего бриза. Сладковатый запах табака долетает и до меня.

Глухо ворчит сырая цепь, гулкий, как в кадушку, деревянный стук бортов о причал. Звуки негромкие, но ясные и значительные, проложенные в паузах мягкой фиолетовой тишины. Вы, возможно, мне возразите – у тишины нет цвета. Обычно я довольно покладист, но это не тот случай: именно фиолетовой тишины.

В этот момент в кармане что-то тренькнуло и противно запиликало, оказывается, я по привычке таскаю бесполезный здесь мобильник.

Я тарашусь на пульсирующий огонек, на надпись «сигнала нет» и чувствую, как у меня леденеет спина и затылок. Пальцы цепенеют, я кое-как откидываю крышку и читаю текст.

«Буду в 8» и подпись «Александра» – вот что я прочел на экране мобильного.

Я зажмурился, несколько раз глубоко вдохнул, потом открыл глаза. Встав, изо всех сил пулынул телефон в воду. Плоская электронная сволочь запрыгала, едва касаясь поверхности, убегая все дальше и дальше, оставляя расходящиеся круги.

Я сделал пять «блинчиков», как мы это называли в детстве, пять – очень неплохо, хотя я и не уверен, что этот результат мне бы зачли – по правилам нужно использовать плоскую гальку, мобильный телефон явно мог бы вызвать совершенно законные возражения.

Делать здесь было больше нечего, я сунул деньги под тарелку и пошел в деревню.

В этот момент до меня внезапно дошло: этот текст Алекс отправила мне три дня назад, когда мы улетали из Нью-Йорка. Это всего-навсего электронный глюк! В самолете я телефон отключил, здесь вообще связи нет, случайно что-то и как-то соединилось – дзынь! – вам письмо. И все.

Господи, как просто!

Я выдохнул, слава богу: мир еще не перевернулся с ног на голову, и всему есть логичное, разумное объяснение. Включая похожую на сухофрукт летучую мышь, пристально следящую за мной из-под еловой засады.

8

На главной улице мало что изменилось с моей последней прогулки. Это даже не дежавю, это идеальная копия того вечера, включая вонь сгоревшего масла из таверны в неподвижном сыром воздухе.

Я миновал тотемный столб с деревянным зоопарком, грустных гипсовых львов юридической конторы, флаг на пожарной станции мокро свисал красно-белыми полосками безо всякой надежды на бриз.

На рябой от бумажного мусора стене склада я отыскал объявление про почти новый ад, вот оно, тут тоже все без изменений. Я поблуждал глазами по другим бумажкам, линиялым и похожим на берестяные кудряшки, зачем-то сорвал одну и, скомкав, сунул в карман.

Дошел до перекрестка и вовсе не удивился, увидев в дверном проеме углового дома женский силуэт, с сигаретой и кошкой у ног. Да, все один в один, декорации и действующие лица те же. Я кивнул ей и уже собрался идти обратно.

– Сувенир на память не хотите купить?

– То есть?

– Местные мастера. Есть очень интересные вещи. Тем более вам все равно делать нечего.

Это была одна из тех странных лавок, тесных и полутемных, незатейливая ловушка для туриста-простофили. У меня сразу же начало першить в горле от пыли и отвратительно пряных благовоний, курений и сушеных трав, пучки которых венниками висели над дощатым прилавком.

Отступать было поздно. Стараясь особо не дышать, я огляделся.

Какие-то шаманские бубны из буйволиной кожи, украшены по кругу перьями, лентами и бусами, на бледной коже кривые орнаментальные каракули: ящерки, змейки, елочки.

С низкого потолка свисают гирлянды плетеных косичкой шнуров с бубенчиками и колокольчиками.

Незатейливые амулеты, качества кружка «умелые руки», кустарные трубки мира, раскрашенные гуашью, и замшевые мокасины с висюльками – скучный сувенирный мусор. Дурацкие мельхиоровые талисманы на грубых тесемках, по большей части птицы, если не ошибаюсь, сходство весьма приблизительное.

– Орлы? – спросил я из вежливости.

Мне было совершенно наплевать, я уже разглядывал «Парадный головной убор вождя из орлиных перьев» – так было написано на этикетке.

Вообще, весь этот хлам выглядел, как пыльная бутафория из сериала про Виннету, как кладовка забытого киношного реквизита. Нелепо было даже вообразить, что над этим унылым мусором корпел настоящий краснокожий, какой-нибудь гордый гурон Ястребиный Коготь или пусть даже какая-нибудь никудышная седая скво по имени Тихий Ручей в своем насквозь прокопченном вигваме. Я неприметно инспектировал изнанку вождевых перьев в поисках неизбежной наклейки «Сделано в Китае».

– Это не продается, – с сожалением сказала она за моей спиной, – это моего деда.

– А-а-а... – повернулся я к ней, понимающе кивая: «Неужели ей могло прийти в голову, что я хочу «это» купить?»

Тут же представил себя в орлиных перьях и тройке «армани» на переговорах с клиентом – хао, я все сказал. Сильно. Главное, не забыть про трубку мира.

– Вот. – Она протянула мне серебряный амулет.

Я провел пальцем по насечкам, изображавшим перья; синяя бусина глаза, плоско раскинутые крылья. Вещица была небольшая, легко умещалась на ладони.

– Серебро особое, из лощины Хищного Ручья. Оно живое.

– Живое?

– Сварено с кровью коршуна, – сказала она обыденным тоном, как про рецепт супа, – мы ведь Тахина-Ка, люди-вороны. Наш предок – седой ворон Као, что сидит на правом плече Маниту. Тот самый ворон, что принес людям свет и разбудил их.

– А они спали, да? Ну до этого, до ворона. – Я, конечно, не мог не съязвить.

Она даже не обратила внимания, продолжила тем же тоном:

– Когда Маниту создал землю и людей, все люди были детьми, они кричали, бегали, шумели. Играми и возней они рассердили старую Гунгу, она приплыла по Млечному Пути в своей каменной пироге и украла дневной свет, скатала из него шарик и заткнула себе в ухо. На земле стало темно и страшно. И время на земле остановилось – птицы застыли в полете, рыбы замерли в воде, стрела не сразила лань, повисла в воздухе. Дети земли заснули, а поскольку утро не наступало, они так и спали день за днем и год за годом.

Мне наконец удалось как следует рассмотреть хозяйку: слегка скуластое, смуглое лицо, выющиеся черные волосы до спины, в ней было что-то испанское, почти Кармен (да-да, помню, цыганка она, не испанка), розу кровавую в кудри – и полный порядок. Хотя нет, роза – явный перебор.

– Маниту, не слыша смеха и шума на земле, послал ворона Као проверить, не случилось ли какой беды. Ворон вернулся к Маниту с печальной вестью. Тогда Маниту отправил Као к старой Гунге, которая день и ночь толкла звезды в своей каменной ступе и рассыпала их по Млечному Пути.

Темно-вишневые губы моей Кармен полунамеком усмехались, хотя тон был совершенно серьезен, даже суров; оно было и понятно – вопрос стоял о судьбе всего человечества.

– Ворон ждал три года, три месяца и три дня, наконец старуха утомилась и задремала, он, подлетев, осторожно достал клювом дневной свет из ее уха и устремился на землю. Свет засиял над землей, люди проснулись, и в знак благодарности отдали ему в жены самую красивую девушку по имени Тэва-Утэ. От красавицы Тэва-Утэ и седого ворона Као появилось племя Тахина-Ка, племя людей-воронов.

Я глупо ухмылялся, я это понял по ее лицу. Понял, что ей это не очень понравилось.

– Все гораздо сложнее, – сказала она вкрадчиво, – гораздо сложнее, чем вы себе это представляете. Вы, белые.

Она взяла меня за запястье.

– Вам всегда нужен ответ: да или нет. Черное или белое. Плохое или хорошее. А иногда ответа не существует и весь смысл уже заключен в вопросе. Ответ просто не нужен.

Пальцы у нее были сильные, как у пианистки, такими запросто можно придушить человека.

– Верно заданный вопрос часто важнее самого ответа, поскольку вопрос – путь к познанию, а ответ – всегда лукавство. Любой ответ всегда лжив, поскольку он есть утверждение, а человеку просто не дано постичь суть вещей и явлений. Человек выдает за истину свое глупое мнение и называет это правдой.

Она смотрела мне прямо в глаза, близко, почти вплоты, от волос пахло хвоей, самой настоящей сырой хвоей, зелеными иголками, сосновым лесом и свежестью. Я не мог отвести глаза, а закрыть их я отчего-то боялся, мне казалось, что я сразу же грохнусь в обморок.

По позвоночнику сползла щекотная капля, в голове моей кто-то исполнительный закручивал мягкую пружину, с каждым аккуратным поворотом которой невнятный шелест в мозгу становился жарче и отчетливей, пока, наконец, не превратился в устойчивый звон.

Она приоткрыла рот и поцеловала меня в губы.

Потом ее сильные, сухие пальцы разжали мой кулак, она взяла серебряную птицу и, прижав на цыпочки, повесила амулет мне на шею. Расстегнула рубашу, прижала его ладонью к груди. Металл оказался горячим, как же – живое серебро! – или это была ее ладонь, или это мне все казалось, не знаю; я закрыл глаза, и под веками тут же заметались маленькие резвые ласточки, побежали яркие рыжие пятна, словно несешься, как в детстве, сломя голову, через июльский сосновый бор, насквозь пробитый по диагонали солнцем и дробным ритмом быстрых пятток.

Выгоревшие до белого волосы и белые царапины на коричневых от загара коленях, их не разглядеть, от бешеной гонки я сливаюсь в ослепительный хвост кометы. Сердце колотится, ветер поет в ушах, тишина вокруг – ложь и тайная конспирация миллиона звуков: я могу различить треск крыла стрекозы и суетливую поступь вереницы рыжих муравьев, спешащих по стволу упавшего дерева, звон сорвавшейся с листа капли и даже эхо этого звона, отраженное от распахнутого настезь неба. Мне – туда.

Бор остается позади.

Я бегу вверх, беспощадно мну горькую желтизну цветущих одуванчиков, взлетаю по крутому зеленому холму. Уже слышу шум океана, ворчливую его мощь, за вдохом – выдох, за выдохом – вдох.

Я уже почти на вершине. Небо встает, словно его тащат на веревке вверх, плоско заполняя весь мир идеальной синевой.

На краю обрыва вижу кого-то, темный силуэт. Вот досада, ведь это мое место, кто посмел? Злость пульсирует в висках, я не сбавляю темп, несусь, рву во все лопатки. Уже вижу черную спину, рыжие кудри по ветру – а, так это ты! Даже могу различить меловую восьмерку на твоей спине, – отпечаток, случайно прислонилась где-то, неряха.

Я знаю, она вот-вот обернется, уже начала, плечо пошло, вижу ухо, завиток на шее, почти профиль. Надо спешить. Она почти повернулась, вижу уголок ее глаза, я совсем рядом.

Я толкаю ее.

9

Я открыл глаза. Я был один.

Куртка на полу беспомощно протягивала ко мне пустой рукав. Бледный, неживой свет лежал на пыльных предметах, было ощущение, что я внутри безнадежно сломанного механизма, сломанного давно и окончательно.

Ты мне сказала слова, которых я боялся больше всего. Ты, моя маленькая скво, произнесла:

– Некоторые ошибки исправить нельзя.

И ты, моя жестокая Кармен, добавила:

– Ты сам виноват.

Это я знал и без нее.

Всегда и во всем виноват только ты сам. Даже если виноваты другие.

Плевать на других, я гладил ее плечи. Казалось, мои руки прежде не касались столь совершенной поверхности, отдаленно это напоминало идеально отполированную слоновую кость или нагретый на солнце матовый орех каштана: то же пронзительное удовольствие в ладонях от простого прикосновения.

Я взглянул на пустые ладони, они, глупые, уже все забыли.

– Все забыли? – спросил я укоризненно. Ладони простодушно белели и молчали. Я покачал головой и заточил их в карманы.

Пнув ногой дверь, вышел на улицу.

Я сразу ощутил, что снаружи что-то было не так.

Я задержался на верхней ступеньке, осмотрелся: да нет, вроде все нормально – унылые сумерки, как у них тут и заведено. Серо и тоскливо, седой полумрак: солнце уже село, а звезд еще нет.

«Приятное место», – подумал я, разглядывая какую-то черную гадость, повисшую над дорогой метрах в десяти от меня, похоже на сгнивший кленовый лист, такие лежат на дне мертвых фонтанов.

Было томительно тягостно, как перед грозой. Словно кто-то высосал весь воздух из этого мира, высосал вместе с чириканием, жужжаньем, шелестом, вместе с эхом расчетливой кукушки и ленивым пустобрехом соседского пса, всхлипами сонного саксофона в баре на углу и усердным тиканьем на моем запястье. Я поднес часы к уху – ничего, швейцарская механика приказала долго жить. Часы показывали без трех минут восемь. Я где-то читал, что у них там, в Берне, целый отдел занимается акустической стороной тиканья – ищут идеальный звук. Да уж, какого только мусора нет в моей памяти.

Я прислушался – ничего, абсолютная тишина.

Какая-то неясная жуть, как в ночном кошмаре, заползла мне в душу, застряв комком в горле, стянула в узел мои потроха, выступила холодным потом. Мне показалось, что меня сейчас вырвет. Я сосредоточился на дыхании, глубокий вдох, долгий выдох. Повторил. Вроде полегчало.

Та черная гадость оказалась летучей мышью. Перепонки крыльев с крючками когтей, острые зубы, крошечный язык, рыжие шерстинки на ушах, я мог потрогать рукой – летучая мышь застыла в воздухе, как идеальная фотография, голограмма. Я рассмотрел летучую мышь со всех сторон и пошел в сторону центра поселка.

Официантка, явно студентка на приработке, далеко не красавица, бледная и волосы в пучок, неуклюже наклонила поднос, кружка, выплеснув ажурную вату пены, зависла в метре от пола. Я разглядывал это застывшее кино сквозь витрину ресторана. Стекло приятно холо-

дило лоб, у девчонки было испуганное лицо, немая буква «о» на губах и татуировка на запястье, какой-то иероглиф. Посетитель, очевидно, рыбак с хорошей реакцией, пытался поймать кружку, растопырив красные и плоские, как два краба, ладони. Над вывеской со свирепым капитаном Дрейком в малиновых ботфортах замерла еще одна летучая мышь. Из-за угла выезжал и никак не мог выехать дряхлый пикап, старуха за рулем пыталась курить, но дым застыл на полпути в раскрытое окно. Я подошел ближе и потрогал дым, он слегка разлохматился. Я ткнул старуху в щеку. Теплая и в меру упругая щека, для старухи, конечно. Голубь слетал с крыши почтовой конторы, в дверях застрял толстяк с красной коробкой срочной бандероли. Чей-то привязанный к поручню сеттер отчаянно и беззвучно скулил, от усердия чуть привстав на задние лапы. Я подошел и погладил пса. Шерсть была мягкой и шелковистой. С сожалением подумал, что так и не успел завести собаку, все откладывал на потом, а всегда хотел именно сеттера. И именно ирландского, шоколадного отлива и с такой вот умной мордой. Разумеется, не для фазаньей охоты, какие фазаны на Манхэттене, так, гулять в Центральном парке (у меня квартира в «Дакоте», парк буквально через дорогу), кидать теннисный мячик или какой-нибудь сук, у нас там пруд с утками, он бы прыгал в воду, утки с кряканьем бросались бы врассыпную, а выскочив на берег, он бы забавно мотал головой и ушами, как пропеллером...

До меня вдруг дошло, что ничего этого уже не будет, не будет никогда: ни сеттера, ни парка, ни Манхэттена. И что, скорее всего, уже вообще больше ничего не будет. Что это, пожалуй, конец.

Спотыкаясь, я вышел на середину дороги и заорал.

Я хрипел, как попавший в капкан зверь. Я давился соленой горечью слез, меня мутило от их мерзкого вкуса, я угрожал и кричал кому-то «сволочь», пока горло не перехватило, и я не закашлялся.

Новый угрюмый мир не удостоил меня даже эхом, нависший над деревней лес впитал мой вопль с безразличием губки.

Я поплелся вверх по шоссе.

Олень переходил дорогу, я потрогал разлапистые мощные рога и черный нос. Нос был мягок, как бархат.

10

Я сижу и вглядываюсь в мертвый океан, в едва различимую линию горизонта. Вода и небо почти одного цвета и напоминают лист кровельной жести, согнутый пополам.

Ты мне скажешь, что это не самая удачная из моих метафор. Возможно, ты права.

Я прекрасно знаю, что там запад, знаю, что солнце зашло именно там и должно появиться за моей спиной, на востоке. Так, скажешь ты, написано в учебнике по астрономии. Но мне совершенно наплевать на всю эту астрономию и прочую научную дребедень, мне наплевать на все законы физики, всех этих Ньютонов и Эйнштейнов, поскольку в моем сумрачном мире их формулы и теоремы не стоят ни гроша. И я абсолютно уверен, что на сей раз свет придет с запада. И не вздумай спорить со мной! Увижу ли его, этот свет – это другой вопрос. Но я буду вглядываться.

Я встаю, прижав ладонью амулет к груди, серебряная птица теплая, словно живая. Я делаю шаг к обрыву (ты же помнишь, как я боюсь высоты?), заглядываю вниз: там седая водяная пыль, прибой застыл косматыми сугробами и клочьями пены, волны дыбятся и мутно сияют бутылочной зеленью. Это действительно красиво, но долго туда я смотреть не хочу, боюсь ненароком разглядеть внизу что-нибудь рыжее.

Я знаю, мне не вернуться, не вернуться никогда. Слово «никогда» слишком драматично, на мой взгляд, но это именно тот случай. Так что – никогда.

Ты поспешно улыбнешься, скажешь, ну как же, это не конец, ну а душа, душа? Она-то бессмертна, душа вечна! И (тут ты даже поднимешь указательный палец): поэтому я не исчезну, а гроыхну раскатистым эхом в черном небе над Двиной или вспыхну малиновым хохолком птички-кардинала на верхушке магнолии, а может, рассыплюсь монетками лунной дорожки по монастырскому озеру или звякну капелью в весенней луже где-нибудь на Таганке. Ты наговоришь еще кучу подобной чепухи, ты просто добра ко мне. Я кивну и улыбнусь, хотя мысли у меня сейчас не самые веселые. Каким образом жизнь промелькнула так бездарно и закончилась столь пошло и нелепо? И как это могло случиться именно со мной?

Тут ты спросишь: страшно ли мне?

Страшно? Я скажу по секрету: ты себе даже не представляешь.

Озеро Лаури

Они выехали затемно, когда в общаге стояла непривычная тишина. Беззвучно проскользили по пустым улицам Дессау. Не тормозя, пролетели перекресток с моргающим желтым светофором, резко свернули у старого моста с двумя арками, похожими на совиные глаза. Выскочили на Девятое шоссе.

– В полдень будем в Варшаве, – не отрываясь от дороги, сказал Лис.

Настя кивнула. Она молча улыбалась в темноте, искоса поглядывая на профиль Лиса.

Вот она, взрослая жизнь! Настя закрыла глаза, она попыталась уловить страх, хотя бы тревогу, но ничего, кроме тихого восторга, обнаружить не смогла. Она отодвинула кресло до упора, вытянула ноги. Лис потыкал по каналам, нашел какую-то дремотную музыку – контрабас и фортепьяно. Отстукивая большим пальцем ритм, спросил:

– Ты у кого защищаешь?

– У Роттенау...

– По прикладному? – Лис удивленно повернулся к ней.

Настя смущенно пожала плечами:

– Гобелен... У меня два батика на биеннале взяли...

– Роттенау – нормальная баба, – снисходительно одобрил Лис. – В смысле прикладного...

Лис был внучатым племянником «того самого Лисицкого» – художника, архитектора, дизайнера, теоретика супрематизма, отца русского авангарда. На стене класса «Кинетического дизайна» висел портрет прадеда с цитатой про целенаправленность творческого процесса. Даже профессора относились к Лису с придыханием, а о студентах и говорить нечего. Лис принимал почести с благосклонной скромностью, как и подобает наследному принцу.

– Ты как плаваешь, нормально? Умеешь плавать? – Лис, щурясь, опустил козырек. Солнце выплеснулось, и шоссе вспыхнуло лимонным. Они неслись прямо на восток. Настя достала очки, подставила лицо теплоте свету.

* * *

Проехали Франкфурт, пересекли по гулкому мосту серый Одер. В десять, не заезжая, обогнули с севера Познань, потом Лодзь. В двенадцать въехали в Варшаву, в начале первого пили, обжигая губы, кофе из картонных стаканов в придорожной забегаловке.

2

– А чего вы с Вальтером... – Лис запнулся, подыскивая слово.

– Разбежались? – подсказала Настя и отвернулась к окну.

Предместья Варшавы, пыльные и скучные, напоминали питерские спальные кварталы. Мимо пролетел указатель, состоящий из дюжины согласных, половина из которых были Z и W. Настя задумалась, переплетя пальцы худых рук. Действительно, почему?

Роман с Вальтером тянулся почти год. На курсе его уважали, но считали занудой. Проекты он всегда сдавал в срок на безукоризненно натянутых планшетах. В заднем кармане носил костяную расческу в кожаном чехольчике. В мае он сказал, что хочет познакомить Настю с родителями. Что уже и билеты купил. Настя сначала обрадовалась, но за день до отъезда сбежала в Берлин.

– Озеро называется Лаури. Вокруг лес, рядом несколько хуторов. Никаких мотелей, кемпингов. Дичь полная, ягоды-грибы. Рыбалка – супер: голавль, лещ, щука на блесну... Народу

никого, не то что... – Лис кивнул в окно, – куда ни плюнь – непременно в туриста угодишь. Там во время войны немецкий аэродром рядом был. На дне до сих пор лежит сбитый «Юнкерс»... – Лис прикусил губу, обгоняя ревущий бензовоз, – но глубоко, без акваланга не донырнуть... метров двадцать.

– А я никогда не ныряла с маской. – Настя грустно улыбнулась и провела пальцем по стеклу. – Вот.

Отец Насти умер, когда ей было шесть лет, мать сразу вышла замуж, потом они переехали в Питер, потом Настя болела. Вспоминать об этом не хотелось, говорить тем более.

– Да ладно... – Лис недоверчиво поглядел на нее поверх черных очков. – Все ныряли...

Настя молча смотрела в свое окно.

– Не горюй. – Лис тронул ее колено, – Я научу. У меня запасной комплект в багажнике.

И ласты.

Настя сразу подумала, что эти ласты и маска Соловьевой, Лис догадался и добавил:

– Ласты регулируются, там резинка такая... У тебя какой размер?

– У меня? Меньше.

* * *

Литва неожиданно оказалась холмистой. После Каунаса дорога начала петлять, шоссе то взлетало, то проваливалось. Лис, не сбавляя скорость, нарезал виражи, Настя ойкала и смеялась, прижимая ладони к щекам. Шоссе вдруг обступили разлапистые сосны с рыжими стволами, песчаные обрывы, из которых торчали корни.

– Гляди! – закричал Лис.

В прогале между деревьями за покатым клеверным полем сверкнула вода и остров с белым замком. Все это мелькнуло и исчезло. Снова замельтешили рыжие сосны, заморгали заплатки синего неба. Настя успела разглядеть на шпиле замка флюгер. Она опустила стекло и высунулась, смеясь и жмурясь от упругого ветра. Пахло смолой и теплой травой.

3

Латвия, с желтыми полями, уходящими за горизонт, чинными хуторами с белеными стенами и красной черепицей крыш, показалась ей скучной. Лис не согласился, сказал, что просто устала. Они ехали почти десять часов. После эстакады свернули с шоссе, проехали железнодорожную станцию. По пустому перрону бродили голуби, в тупике ржавел древний паровоз с толстой черной трубой. Съехали на грунтовку. Лис притормозил у указателя «Лаури Эзерс – 5 км», подмигнул Насте:

– Приехали!

Жестянка указателя была пробита крупной охотничьей дробью. По обеим сторонам дороги тянулись поля, справа темнел лес, там было озеро. Над полем мелькали лимонницы.

Лис на второй передаче бесшумно катился по грунтовке, дорога плавно шла под уклон, мелкие камни звонко выстреливали из-под колес. На обочине боком стояла телега, бледная лошадь с большой мохнатой головой лениво жевала траву. Поодаль три латыша орудовали граблями, сгребая скошенную траву. Самый молодой, лет двадцати, с выгоревшими полосками белых бровей, выпрямился и помахал рукой. Настя махнула в ответ.

– Как по-латышски «здравствуйте»? – спросила она Лиса.

Дорога пошла еще круче вниз, они въехали в орешник, который неожиданно перешел в сводчатый сосновый бор, тенистый и влажный, с пряным грибным духом. Меж стволов солнечными зайчиками сверкнула вода, машина выкатилась на лужайку.

Перед ними лежало озеро, окруженное соснами. На том берегу, обрывистом и диком, деревья подступали к самой воде, за ними темнел бор.

Настя, покачиваясь на гудящих ногах, улыбаясь от пьянящей усталости и дорожной болтанки, подошла к пологому берегу с полоской светлого пляжного песка. Сев на корточки, провела ладонями по воде, словно расправляла скатерть.

– Теплая... – сказала она и тихо засмеялась. Потом повернулась к Лису, крикнула: – Она теплая!

Лис, смуглый и долговязый, выкидывал из багажника сумки и мешки. Настя, склонив голову, наблюдала, как он вытряхнул из чехла ярко-синюю палатку, разложил ее на траве. Шагал взад и вперед, что-то примеряя и прикидывая, хмурился и ерошил волосы. Лицом он напоминал ей молодого Пастернака, тот же диковатый взгляд, большой рот, упрямые скулы.

Она вспомнила, как зимой Вальтер пригласил ее в ресторан, как заметил пятнышко на скатерти и долго отчитывал официанта. Настя смотрела в окно, там торжественно и тихо падал рождественский снег, она чувствовала, как у нее разгораются щеки. Потом появился метродотель, тоже извинялся, а под конец дал им скидку за ужин.

4

Настя залезла в сумку, выудила оттуда бирюзовый купальник. Спряталась за машину, стянула джинсы, переделалась. Поправила бретельки, тихо ступая босыми ногами, прошла по траве. Прибрежный песок оказался упругим и твердым, как спортивный тартан. Она зашла в озеро по щиколотку и остановилась. Лис видел, как она повела острыми лопатками. По-детски сутулясь, зябко обняла себя за плечи.

– Теплая? – насмешливо спросил Лис, но вышло сипло, и он, смутившись, закашлялся.

После города и гула дороги здешняя тишина казалась особенно хрупкой. Настя замерла: за лесом в поле перекрикивались латыши, к станции подходил поезд.

Лис бесшумно прокрался по траве. Выпрямился, сорвал майку и, размахивая ей над головой, галопом пронесся мимо Насти. Бросился в воду, обдав ее веером брызг. Вынырнул, фыркая, поплыл к середине. Взрывая буруны пены, сверкнул пятками и ушел под воду.

Волна докатилась до Настиных ног. Снова стало тихо. Вдали, набирая обороты, свистнул локомотив, едва слышно заворчали колеса. Настя вытянула шею, вглядываясь в озерную рябь. Там отражались облака.

Настя сделала шаг в глубину, помешкала, развернулась и быстро вышла на берег. Сжала кулаки, прошла взад и вперед, привстала на цыпочки. По озеру пробежал ветерок, у дальних камышей плеснула рыбешка.

Лис вынырнул почти на середине озера, взмахнул руками.

– Давай сюда! – хватая ртом воздух, крикнул он. – Тут «Юнкерс»! Вот он, прямо подо мной!

– Дурак... – пробормотала Настя, у нее стучало в висках от волнения. Она, часто дыша, вошла в озеро, скрестила руки на груди. Присела и, плавно разгребая воду, поплыла. Солнце покраснело и застряло в верхушках сосен, края облаков подернуло розовым.

– Вот гляди, здесь... – Лис кружил на одном месте, энергично работая ногами.

Настя отчетливо видела его смуглые ступни с белыми ногтями, свои бледные и худые ноги. Под ними темнела бутылочной синевой толща воды. Там в глубине мерцали тусклые лучи света, бродили какие-то тени. Лис был прав – вода действительно была на редкость прозрачной, и от этого Насте сделалось еще страшней.

– Давай завтра... Я с дороги что-то...

Лис приблизился, скользнул ладонью по ее животу:

– Давай завтра...

5

Шампанское оказалось теплым. К тому же Лис забыл стаканы, и они пили из горлышка, захлебываясь щекотными пузырями, хохоча и толкаясь. Настя подумала, что вот Вальтер бы никогда не забыл стаканы, и эта мысль развеселила ее еще больше. Она плюхнулась на траву, смеясь и икая, Лис тоже захмелел, стал громким и начал суетиться, потом скрылся в лесу и почти тут же вернулся, волоча за собой сухую рыжую елку.

– С одной спички! Спорим?

Костер вспыхнул, по веткам побежало желтое пламя, иголки затрещали, корчась и чернея. Запахло смолой.

– Ты после диплома куда?

Лис наконец перестал ворошить палкой в костре, сломал ее о колено и сунул в огонь. Сел напротив по-турецки. Настя пожала плечами и икнула.

– У меня два варианта. Я думаю, Лондон все-таки. И потом, Штиглиц меня звал... – Лис провел ладонью по скуле. – Может, бороду отпустить, а? А, Настюха?

– А я вообще не знаю, зачем я на дизайн поступала... – Настя обняла колени, не отрываясь от огня, продолжила: – Окончила художку, отчим сказал: выбирай. Юлька мне – Баухаус, ты что! Фирма! Ну вот я и... А что Баухаус, зачем Баухаус...

Лис хотел поправить дрова, но палки не было, он пару раз ткнул кедром в горящие сучья. После угомонился, снова сел, выставив растопыренные ладони. За спиной у Насти послышались голоса, она обернулась. На том берегу показались латыши. Белобрысый парень снова помахал им.

– Аборигены, – усмехнулся Лис и махнул в ответ. Латыши, смеясь и балагуря, разделись, бросились в воду. – Нудисты, дети природы, – добавил Лис.

Настя снова повернулась, но латыши уже были в воде, орали и плескались, толкая друг друга.

– Я тебе скажу, когда они на берег выйдут, – пошутил Лис.

Насте стало неловко, она тоже хотела пошутить, но ничего не пришло в голову, и она уставилась в огонь. Лис начал снова про Штиглица, что после Лондона надо в Нью-Йорк и хоть Америка, конечно, помойка, но имя надо делать там.

Настя кивала. Слова Лиса казались ей какой-то тайной мантрой, она вдруг перестала понимать их смысл. Она разглядывала угли, прислушивалась к крикам с того берега, пытаясь догадаться, о чем идет речь, думала о том, что придется возвращаться в Питер и что ей уже двадцать три. Лес стал плоским и фиолетовым, оттуда потянуло сыростью. На скучном сером небе повисла тусклая звезда. Вот и солнце уже село, и костер догорел почти, подумала она, наблюдая, как на сучке канифолью пузырится смола. Латыши смолкли, Лис говорил про Миланскую школу, но говорил как-то странно, сбиваясь и растягивая слова. Потом замолчал, глядя поверх Настиного плеча.

Настя обернулась.

На том берегу было тихо. Латыши ныряли, подолгу оставаясь под водой. Потом один что-то закричал и нырнул снова. Другой подгреб торопливыми саженками и тоже нырнул. Настя привстала на колени. Две головы показались из воды и, быстро гребя, что-то потащили к берегу. Это был белобрысый парень. Они волокли его, как куль по мелководью. Дотащив до берега, положили на спину и принялись откачивать.

– Он что... – Настя не закончила вопрос.

Происходящее на том берегу напоминало туземный обряд или авангардный перформанс. Латыши были абсолютно голые.

– Сюр... – пробормотал Лис.

– Нужно пойти туда, может, мы... – быстро заговорила Настя, глядя в глаза Лису и часто моргая.

– Ну что мы? – перебил он ее раздраженно. – Что мы?

– Не можем же мы просто сидеть тут, и все? – она растерянно развела руками. – Он там... может... мертвый, а мы тут...

– Мертвый... – сердито повторил Лис. – Не нужно было по пьяни в воду лезть.

– Да с чего ты взял? Да и при чем тут... Ты что?

Она хотела встать, но Лис ухватил ее за руку.

– Настя, – он приблизил свое лицо к ней. – Мы ничем не можем помочь. Понимаешь?

Он говорил тихо, почти касаясь губами ее щеки.

Один латыш, на ходу натягивая штаны, быстро побежал вверх по тропе и скрылся в орешнике, другой продолжал делать искусственное дыхание. Парень не шевелился.

Лис обнял Настю, прижал к себе. После сдобной Соловьевой она казалась щуплым подростком. От волос пахло озерной водой и чем-то горьковатым. Он втянул воздух, пытаясь угадать запах. Потом поцеловал в макушку, Настя шмыгнула носом и уткнулась ему в грудь. Лис молча гладил ее спину, наблюдая за тем берегом. Латыш сдался и теперь сидел рядом с утопленником, глядя в землю. Настя тихо всхлипывала, костер догорал, небо неожиданно вспыхнуло малиновым и тут же погасло.

– Настюха, – тихо позвал Лис. – Я за хвостом... Костер прогорел почти. Темнеет.

– Я с тобой, – не отпуская его, сказала она, – с тобой.

6

Когда они вернулись, на том берегу стоял джип с включенными фарами и желтым маяком на крыше. Оба латыша, жестикулируя, что-то говорили полицейскому, тот кивал, записывал, изредка поглядывая на утопленника. Из распахнутой двери доносился треск радио, обрывки латышских фраз оператора. Полицейский лениво обошел тело, сделал несколько фотографий, потом вызвал кого-то по радио и долго с кем-то ругался.

Лис с треском ломал сухие сучья, Настя сидела у огня, сутулясь и уткнув подбородок в колени.

– Слышь, Насть, – позвал Лис, – ты случайно хлеб не прихватила?

– Там, в сумке. Яблоки и печенье. Хлеба нет.

Лис вернулся к костру, вывалил снедь на траву. Пакеты с чипсами, консервы, бутылка вина. Печенье и яблоки. Одно подкатилось к Настинной ноге.

– Что уж бог послал, завтра сгоняем в сельпо – сделаем стратегические закупки. Напомни стаканы купить. – Он подмигнул, доставая перочинный нож.

Ловко откупорив вино, он кинул пробку в костер и протянул бутылку Насте. Пить не хотелось, но она сделала несколько глотков. Капнула на свитер. Хотела стереть – только размазала. Подумала, что Вальтер устроил бы сцену, а Лис даже не заметил. Лис грыз яблоко и ворошил угли палкой.

– Ничего, ничего... Это только первый вечер – всухомятку... – он хрустел яблоком, сок лился по подбородку, – мы тут такой бивуак наладим... И коптильню, и мангал. Раков будем варить, раки – это вообще отпад! Тут грибов прорва, они как раз сейчас пойдут... Подосиновики, белые. Лисичек – как грязи, местные их даже не собирают.

Настя ничего не ела, от вина голова куда-то поплыла, лицо горело. Лис открыл паштет, мазал его на печенье, говорил, что безумно вкусно. Настю тошнило от одного запаха.

Полицейский забрался в джип, те двое сели сзади, Машина развернулась, моргнула красными огнями и, переваливаясь, полезла вверх по тропе. Утопленник остался лежать на берегу.

– Они его оставили... – Настя привстала. – Оставили там...

– Ну я думаю... – Лис вытер сальные губы рукой, – мент вызвал труповозку, крестьян забрал в каталажку.

– В каталажку?

– Ну. Может, они его утопили.

– А почему полицейский тогда нас не допросил? Мы ж свидетели.

– Какие свидетели? – Лис отпил вина, протянул Насте. – Ты что-нибудь видела? Ну вот, и я – нет.

Настя незаметно обтерла ладонью горлышко, но от бутылки все равно пахло гусиной печенкой.

– Мент понимает, что мы туристы. Отдыхаем. А это – их дела... местные, – Лис откинулся, закурил. – Зачем усложнять? Курить будешь?

Настя кивнула.

Стало совсем темно. Озеро казалось неподвижным, хмурым. Выползла луна, от ее тусклого света тени сгустились. Лес превратился в плоский задник с наспех очерченным контуром.

7

– Почему они не едут? – тихо спросила Настя, натягивая воротник свитера на подбородок. Теперь ей было холодно.

– Приедут, приедут, – говорил Лис, прижимаясь к ней и тиская ее плечо, – обязательно приедут. Пойдем в палатку.

Он встал, потянул ее за собой. Она вывернула руку из его цепких пальцев.

– погоди, Лис. Так нельзя. Он там... лежит, а мы... тут... – Она пыталась найти правильные, взрослые слова, а выходило какое-то бормотанье.

– Ты что, мертвецов боишься? – Лис выпрямился.

– Да не в этом дело... – Насте показалось, что он сейчас рассмеется. Ей хотелось сказать что-то важное и умное, то, что она чувствовала, но слова приходили в голову плоские и банальные.

Лис не смеялся, он присел на корточки, провел ладонью по ее щеке.

– Да мне самому жутковато, – сказал он серьезно, – это я так, со страху хорохорюсь. Я покойников до судорог боюсь. Моя бабка когда умерла, никого не было, я из школы пришел, а она на полу лежит и в потолок смотрит. До сих пор мурашки по коже, как вспомню. Пойдем в палатку. – Он улыбнулся. – Вдвоем будем бояться.

Он расстегнул спальный мешок, скинул кеды, залез внутрь.

– Ну? – позвал он. – Нырять! Места всем хватит.

Настя присела, нырнула в мешок, легла на спину. Стараясь не касаться Лиса, сложила руки на груди. Лис выключил фонарик. У Насти перед глазами поплыли яркие круги, потом всплыло лицо с выгоревшими бровями, потом неподвижное, словно залитое серым цементом, озеро. Рука Лиса коснулась ее живота и медленно поползла вверх, наткнулась на локоть, протиснулась к груди. Настя перестала дышать, пальцы Лиса сжали ее сосок, она еле слышно сказала:

– Я не могу... Не надо.

– Ты что, Насть? – сильным шепотом возмутился Лис. – Нельзя же так! Что нам теперь, национальный траур объявлять? Мы ж его даже и не знаем, мало ли кто где утонет, а? По всем теперь скорбеть будем? Ну утонул деревенский парень, ну да – жалко. Погрустили – и будет, жизнь ведь...

– Да не в парне дело, как же ты не поймешь... – перебила его Настя.

Слеза стекла по виску и щекотно забралась в ухо. Она говорила тихо, ей не хотелось, чтоб Лис догадался, что она плачет.

– Вот видишь, просто устала. Шутка ли – через пол-Европы, считай, махнули...

Лис говорил и мял ее грудь. От него пахло вином и паштетом. Он оттянул ворот свитера и начал целовать шею, потом губы. Коленом раздвинул ноги. Молния в ее джинсах заела, и Лис, ухватив за пояс, рывком стянул их.

8

После духоты палатки снаружи было свежо, пахло мокрым сосновым лесом. Настя, прижимая скомканную одежду к груди, подошла к воде. Луна уползла в дальний угол неба и касалась макушек деревьев. На том берегу чернела непроглядная тень.

Настя бросила одежду на песок, вошла в озеро. Она сделала несколько шагов, присела, медленно поплыла. Вглубь было страшно, она кружилась на одном месте, вглядываясь в дальний берег. Теперь, когда глаза привыкли к ночи, ей казалось, что она различает кусты орешника, стволы сосен, чернильные дыры между ними. Видит бледный силуэт на траве.

Она вышла на берег, обтерлась майкой, натянула свитер, джинсы. Кеды остались в палатке. Настя подвернула джинсы до колен и пошла по мелководью. Песок тут был плотный и ребристый. Она пыталась вспомнить, как называется озеро: Лари? Рауи? Перебирала разные сочетания, но все звучало не так. Озеро оказалось не таким уж большим, она обогнула почти половину и теперь отчетливо видела парня. Она остановилась, вглядываясь. Подошла ближе. Он лежал, худой и строгий, вытянув руки по швам и выставив вверх подбородок.

Настя села на корточки. Никогда не видела покойника так близко, даже когда отца хоронили. Редкие волосы на груди казались седыми, седыми казались и брови, и ресницы, а под глазами лежала тень, словно плохо смытая тушь. Какая нелепость, когда говорят, что мертвый похож на спящего, подумала Настя. Мертвый похож на неодушевленный предмет. Это тело никакого отношения не имело к тому мальчишке, который вчера смеялся и весело махал ей рукой в поле. Какая нелепость.

Она осторожно провела пальцем по его плечу, холодному и гладкому как кость. Наклонилась и прошептала:

– Ты прости нас, пожалуйста. Ладно?

* * *

Она вернулась к машине. Сняла с орешника так и не высохший купальник, скомкала, сунула его в сумку. Направилась к палатке, передумала, достала из сумки резиновые шлепанцы. Бог с ними, с кедами. Ее часы тоже остались в палатке, она прикинула, что скоро будет светать, что уже, пожалуй, часа три. А может, четыре.

Оглянулась на озеро. Так и не вспомнив названия, Настя закинула сумку за спину и быстро зашагала вверх по тропинке в сторону станции.

Шесть тонн ванильного мороженого

Александре Т.

Мучиться оставалось недолго – часа два: минут сорок на земле, остальные в воздухе. Я допил пиво, отодвинул стакан. Холли, закусив соломинку, с шумом высосала остатки своего розового пойла.

– Я хочу есть, – пробурчала она, глядя сквозь меня. – Закажи мне что-нибудь.

– Десять минут назад я тебя спрашивал...

– Тогда не хотела, – перебила она. – Что, человек не может проголодаться?

Я нашел глазами официантку, неопрятная толстуха в тугих джинсах собирала грязную посуду с соседнего стола.

– Можно меню, – ласково попросил я. – Еще раз.

Толстуха вернулась с засаленной картонкой. Протянула мне, я кивнул на Холли:

– Это для дамы.

Дама выпрямила спину, взяла меню. Проворковала ангельским голосом:

– Не могли бы вы принести мне еще один коктейль?

– «Фею роз»?

– Да, пожалуйста. С вишневым лимонадом.

Толстуха кивнула, обратилась ко мне:

– Вам? Еще пиво?

– Непременно, – ответил я.

Официантка ушла, я демонстративно отвернулся к окну. К пустому взлетному полю, от инея седому и шершавому, к низким ангарам с плоскими крышами, к одинокому одномоторному аэроплану с желтым драконом на фюзеляже. За ангарами тянулась снежная равнина, оканчивающаяся на горизонте сахарными горами дальних гор, призрачно сияющих где-то за канадской границей. Сверху синело звонкое январское небо без единого облачка.

– У них тут сплошная дрянь, – пробурчала Холли. – Помойка, а не ресторан.

Я не обратил ни малейшего внимания, продолжал шуриться на горы. Вернулась толстуха, поставила стаканы на стол. Кофта чуть задралась, я увидел резинку трусов свекольного цвета и бледный жирный бок с фрагментом какой-то татуировки.

– Выбрали что-нибудь? – спросила официантка.

– А можно заказать только гарнир? – Холли, по-куриному повернув голову, посмотрела снизу на толстуху. – Хрустящий картофель?

– А вам? – обратилась официантка ко мне.

Я сделал жест, изображающий, что у меня все есть и я всем абсолютно доволен. Поднес холодный стакан к губам и сделал большой глоток. Всем абсолютно доволен. Впрочем, пиво тут действительно было отменного качества.

В углу уютилась убогая сувенирная лавка с этажеркой линялых открыток, пестрыми журналами и скучающей продавщицей в учительских очках. Рядом к стене был приделан здоровенный телевизор: на экране беззвучно проходила какая-то неинтересная война, на фоне рыжей пустыни мелькали черные флаги с арабской вязью, небритые абреки в кедах отчаянно палили из «калашниковых» неизвестно в кого. Появился кусок карты – то ли Ирак, то ли Сирия. Может, Афганистан. Я провел пальцем по запотевшему стакану, сделал еще глоток – отличное пиво.

Принесли картошку, золотистую и поджаристую, в большой плетеной корзинке. Тут же аппетитно пахло топленным маслом. Холли пальцами ухватила несколько длинных картофелин, пучком обмакнула в кетчуп и ловко засунула в рот. Я проглотил слюну, посмотрел на

часы – через пятнадцать минут объявят посадку. В телевизоре появился некто, укутанный, как чукча. Он, пыхтя паром, беззвучно говорил что-то в большой мохнатый микрофон. За спиной чукчи валил снег, по смутным очертаниям я узнал Бостон.

За соседний стол протиснулась девица в лыжной куртке, на язычке молнии болталась картонка пропуска на подъемник.

– Где катались? – спросил я праздным тоном.

– Мэд Ривер. – Она, взглянув на Холли, тут же определила меня в разряд безопасных самцов и приветливо улыбнулась.

– «Проверь себя на прочность», – усмехнулся я – это был слоган Мэд Ривер. – Не страшно было?

– Вообще-то страшно. Там ведь не только угол, там все спуски узкие – справа-слева камни, скалы. Два дня назад...

Я так никогда и не узнал, что там случилось два дня назад, поскольку появилась официантка и загородила своим широким торсом мою собеседницу. Холли, жуя картошку, исподлобья зыркнула на меня.

– Я все маме расскажу, – прошипела она. – Как ты пристаешь к незнакомым женщинам. Все расскажу.

– Губы вытри, ябеда. И подбородок. Вся в кетчупе – смотреть противно.

– А ты не смотри!

Я хмыкнул и уставился в телевизор. Угроза меня не напугала – наш двухлетний роман с ее мамой почти выдохся и вошел в заключительную стадию, тот грустный период, когда на место страсти приходит жалость, восторг узнавания сменяется скукой, а после торопливого спаривания становится так тоскливо, что хочется выть.

Немой чукча в телевизоре продолжал беспомощно разводить руками, снег все сыпал и сыпал, я сделал еще глоток – с хмельной холодной горечью на меня снизошло озарение, похожее на тихое счастье: господи, как все просто – я ей все скажу сегодня! Через два часа! Прямо в аэропорту – сдам ей дочь, чмокну в щеку, возьму такси, господи, как же все просто!

Синева за окном разливалась и ширилась, канадские горы весело сияли девственным снегом, мне стало радостно, точно добрый ангел наделил меня тайной силой, неким скромным, но чудесным талантом. Подмигнув соседке-лыжнице – она удивленно оторвалась от своего скучного салата, – я быстрым жестом украл из корзины несколько картофелин, обмакнул их в кетчуп и сунул в рот. Холли с ненавистью взглянула на меня, поджала губы и снова уткнулась в экран своего телефона.

Такой же взгляд мне предстояло выдержать через два часа – удивительное сходство матери и дочери, поначалу казавшееся забавным, теперь раздражало и отдавало какой-то генетической патологией. Я не про идентично русые волосы, не про вздорную нижнюю губу и не про зеленоватую тень в глазах – внешняя похожесть тут вполне логична. Поражало сходство жестов и ужимок: вопросительно вздернутая бровь или равнодушное пожимание одним плечом, или вот этот ледяной взгляд снизу-сбоку, такой птичий, такой злой – вот от этого у меня порой мурашки пробегали по спине.

Включилась трансляция, женский голос что-то пробубнил, я посмотрел на часы – наверное, объявили нашу посадку. Я допил пиво, поймал на себе растерянный взгляд лыжницы.

– Вы слышали? – Она указывала пальцем вверх, как Иоанн Предтеча на картине Леонардо. – Они что, серьезно?

– Что? – Я вытер губы, скомкал салфетку и сунул в стакан. – Я прослушал. Что там?

– Отменяются все рейсы, – беспомощно сказала лыжница. – Все рейсы. До среды.

Очевидно, я был слегка пьян, серьезность информации дошла до меня не сразу.

– У нас посадка... – я щелкнул ногтем по стеклу часов. – Вылет через полчаса, Нью-Йорк, Ла Гвардия, «Дельта», рейс номер...

Я не закончил, пассажиры в зале ожидания как по команде встали и куда-то заспешили. Лыжница, бросив на стол двадцатку, подхватила рюкзак и тоже куда-то ринулась.

– Холли, – сказал я. – Сиди тут! Я сейчас вернусь.

– Что? – Она оторвалась от экрана телефона. – Ты куда?

– Сиди тут! Не вздумай...

– Я с тобой!

Я достал бумажник, вытащил несколько купюр, кинув на стол, придавил сверху пустым стаканом.

2

У расписания полетов молча топталась небольшая толпа с сумками и чемоданами, на табло всех вылетов и прилетов в графе «статус рейса» светилось одно и то же слово – «отмена».

– Как же так? У меня концерт в семь... – растерянно обратился ко мне статный пожилой джентльмен с черным футляром, похожим на детский гроб.

Тут явно делать было нечего. Пошли дальше. У стенда «Дельты» нервно переминалась очередь человек в пять. Мы пристроились за толстой теткой в рыжей шубе и с лупоглазой болонкой на руках.

– Что происходит? Мы не летим, что ли? – спросила Холли, рассеянно глаза по сторонам. – Ой, не могу, какая дурацкая собака!

Я протянул наши билеты мрачному мужику в темно-серой униформе со стальными крыльшками в петлицах.

– У меня ребенок, – вкрадчиво сказал я. – На самый первый рейс. Пожалуйста.

Мужик молча взял билеты, не взглянул ни на меня, ни на ребенка. Начал зло колотить по клавишам компьютера.

– Среда. Вылет – два ноль пять, – сказал хмуро, точно бессердечный врач, объявляющий результат анализа. – Берете?

– Сегодня понедельник, – зачем-то сказал я.

– Берете? – со скрытой угрозой повторил мужик.

Игривый пивной хмель, бродивший в моей голове, постепенно улетучивался, оставляя тупую боль в области затылка и осознание небольшой катастрофы на ближайшие сорок восемь часов: я застрял в захолустном вермонтском аэропорте где-то у канадской границы, застрял с капризной девчонкой, уже успевшей довести меня до белого каления за три с небольшим часа. Оказаться в этой дыре одному было бы достаточно мерзко, а уж с Холли...

– Мне нужно в дамскую комнату! – объявила она.

– Дамскую комнату... – проворчал я. – Туалет это называется.

– «Туалет» говорят бруклинские задрыги, а я живу на Парк-Авеню. Мама сказала...

– Мама! – перебил я. – Кстати, позвони ей, скажи, что...

– Сам позвони!

– У меня батарея на нуле.

Она поджала губы (один в один как мамаша).

– Я ей текст отправлю, – сказала холодно.

– Отправь текст.

– Но сначала проводи меня в дамскую комнату.

– Иди, я не уйду.

– А вдруг по дороге на меня нападет маньяк?

– Об этом можно только мечтать, – буркнул я. – Пошли.

Аэропорт почти опустел. Лампы в потолке горели вполнакала, багажную карусель уже отключили, моя сумка и розовый чемодан Холли одиноко валялись на полу. Усатый ассистент, похожий на отставного циркового борца, сидел рядом на стуле, уныло разглядывая меня.

– Сэр, вы последний, – с укоризной сказал циркач. – Аэропорт закрывается.

– Как закрывается?

– Вот так. – Циркач скрестил толстые руки. – До среды. Октавия!

– Какая, к черту, Октавия? Что это?

– Ураган. – Он подозрительно прищурил глаз. – Вы что, не в курсе? Арктический ураган, скорость ветра до ста миль, пять футов осадков в виде снега и града. Бостон уже накрыло. Там вообще все движение отменили.

– Дорожное движение? Движение машин? Что за чушь...

– Чушь не чушь, дороги в Бостоне перекрыты.

Подошла Холли, ловко поддев носком чемодан, поставила его на попа. Вытянула ручку.

– Куда мы теперь? – спросила невинно.

Это был очень хороший и очень своевременный вопрос. Я поднял свою сумку, закинул за плечо. Повернулся к циркачу.

– А гостиница? Тут же есть гостиница?

– Мотель. Но там все забито. Под завязку.

3

Мы спустились пешком по мертвому эскалатору. Пустой холл был едва освещен, в углу, точно экзотический аквариум, таинственно сиял пестрым нутром автомат по продаже конфет и чипсов. Справочное бюро, лицемерно подмигивая, извинялось неоновой надписью «К сожалению, мы закрыты». Рядом, на стене, цветной плакат с угрожающе рогатым лосем уверял, что «Вермонт прекрасен в любое время года». Киоск проката автомобилей еще работал. Тот же парень, которому я отдал ключи час назад, натягивал пуховую куртку.

– Добрый день, еще раз! – энергично начал я. – Буквально сорок минут назад я сдал вам «Лоредо», помните? Нельзя ли мне получить его по тому же контракту, я брал машину в Нью-Хэмпшире, в этом, как его...

– В Манчестере, – подсказал он.

– Да, в Манчестере.

– Машин нет. Все разобрали, подчистую. – Парень старательно накручивал красный шарф вокруг шеи. – Видите, что творится...

Я видел. Ситуация складывалась гораздо хуже, чем я предполагал.

– Ну может, завалилась какая-нибудь колымага? Посмотрите, пожалуйста. – я с монашеским смирением улыбнулся ему. – В мотеле нет мест, а у меня ребенок. Вы ж понимаете...

Ребенок презрительно фыркнул. Парень оставил в покое шарф, поморщился, точно у него заболел зуб.

– Есть тут одна машина, «Кадиллак», – нерешительно начал он. – Но там аккумулятор...

– Я заведу! – решительно заявил я.

– Я не имею права выдавать неисправную машину. – Парень понизил голос: – Меня уволят за это.

Первый раз я пожалел, что в Америке не принято давать взятки. Давать и брать. Впрочем, пятнадцать лет эмиграции меня тоже кое-чему научили.

– Послушайте, – я взглянул на табличку с именем на прилавке, – послушайте, Стив. Я не знаю, есть ли у вас дети. Если их нет сейчас, то непременно будут в будущем. Поставьте себя на мое место. Мне нужно доехать до ближайшего мотеля, где есть койка, подушка и теплое одеяло. Не для себя прошу – я бы мог лечь тут, на лавке...

- Не могли бы, – робко встрял Стив. – Охрана сейчас закроет аэропорт, всех выгонят.
- Тем более! Не могу же я с ребенком ночевать на улице. Зимой. В мороз.

Стив сделал мужественное лицо, молча включил компьютер, начал быстро стучать по клавишам. Я быстро достал кредитную карточку и положил перед ним.

В подземном гараже было сумрачно и промозгло, воняло бензином и сырой грязью. Машин почти не осталось. Наш «Кадиллак» стоял в дальнем углу, уныло уткнувшись бампером в стену. Машину не вымыли, крылья и двери по самые стекла были заляпаны белесой зимней грязью. Холли презрительно оглядела автомобиль. Мне очень хотелось ей что-нибудь сказать, но я сдержался. Никаких негативных эмоций – главное, не думать о том, что двигатель может не завестись.

Открыл дверь, сел. Вдохнул, сосредоточился, осторожно повернул ключ зажигания. Стартер натужно закряхтел, закашлялся, кое-как провернул движок и на последнем дыхании завелся. Я облегченно выдохнул.

У Холли зазвонил телефон.

– Да, привет, – умирающим голосом проговорила она. – Не знаю. Нет. Ну откуда я-то знаю? Мама, ну откуда... Да, он тут.

Холли молча ткнула мне свой телефон. Белый футляр, украшенный стразами, был липкий, от него воняло жареной картошкой и чем-то сладким вроде карамели. Стараясь не прикасаться к лицу, я поднес телефон к уху:

– Да!

В следующие три минуты я получил исчерпывающие инструкции на ближайшие сорок восемь часов. А именно: мне надлежало вернуться в Стенфорд, к тете Луизе, откуда я забрал Холли сегодня утром. С тетей Луизой все уже согласовано. Если же нас по пути к тете застигнет непогода, то мы должны остановиться и переночевать в Берлингтоне или Фэрли, впрочем, судя по метеоспутниковой съемке, ураган пройдет севернее. До тети Луизы дорога займет не больше трех с половиной часов, на ужин Холли ест белый рис и курицу, но без кожи. Можно дать молока, но никаких соков.

Я подтвердил, что все понял, и нажал отбой.

4

Не только аккумулятор, дворники тоже ни к черту не годились. Щетки елозили по стеклу, оставляя за собой веер размазанной грязи. Вода в бачке омывателя то ли замерзла, то ли кончилась – моторчик зудел, но на стекло не брызнуло ни капли. Я остановился на обочине, вылез. Из придорожного сугроба начал бросать снег под снующие туда-сюда дворники. Холли достала телефон, сфотографировала.

– Что снимала? – я вырулил на дорогу.

– Как ты в снежки с машиной играл, – сухо ответила она. – Умора.

Остановились у входа в мотель. Двухэтажный особняк из коричневых бревен пытался изображать из себя что-то горно-швейцарское. На столбе висела доска с надписью «Мест нет». Не глуша мотор, я заскочил в фойе. Хозяйка, сдобная толстуха в кокетливо расшитом переднике и с румянцем во всю щеку, посоветовала попытать счастья в Лори.

– Там, за мостом направо, там старая дамба. – Она махнула пухлой рукой в сторону чучела бурого медведя, сторожившего вход. – Миль девять-десять. Быстрее через перевал, можно за...

– И не вздумайте через перевал, – встрял коренастый мужик без шеи, похожий на немецкого ландскнехта, наверное, хозяин. – Дорога дрянь. Как каток. Вчера фура перевернулась. С мороженым. Там, за Лори, поворот, так она там и того. Перевернулась.

Ландскнехт дал мне листок с какой-то детской картой, центром которой был их псевдоальпийский мотель. Назло ландскнехту я решил махнуть через перевал. Дорога действительно оказалась на редкость дрянной. На каждом повороте, из которых, собственно, и состояла дорога, «Кадиллак» заносило, и он сползал к обочине. Туда я старался не смотреть, там было ущелье.

Кое-как мы вскарабкались на хребет. У столба с табличкой, оповещающей, что это высшая точка перевала, я затормозил. Вышел из машины. Исчезли все цвета, кроме голубого и белого. Небесная синева растекалась от края и до края, все остальное было абсолютно белым. Скалы, дорога, кусты – каждый тончайший прутик – все вокруг было покрыто мохнатым инеем. Странная, мягкая и почти осязаемая тишина окутала меня, казалось, мы случайно угодили в другую реальность. Я подошел к краю пропасти, заглянул вниз. Высоченные сосны остались внизу, их заснеженные макушки едва доставали до моих ног.

– Какая красота... – пробормотал я, повернулся к машине и крикнул: – Какая красота, посмотри только!

Сделал это непроизвольно, просто не мог не поделиться чудом. Холли подняла на меня пустые глаза и снова уткнулась в экран телефона.

Спуск занял всего минут пятнадцать и основательно взбодрил меня. Пару раз я до упора выдергивал ручник, ножной тормоз не держал, и мы с упоительной медлительностью сползали по голому льду. Моей спутнице все было невдомек – Холли меланхолично продолжала мусолить пальцем экран телефона. Наконец серпантин закончился, мы пересекли замерзшую речушку по горбтому мосту, сложенному из дикого камня, и въехали в Лори.

Поселок состоял из главной улицы, которая так и называлась – «Главная улица». Справа белела церковь с заснеженным садом за невысоким забором, слева располагалась бензоколонка с одной колонкой, дальше – магазин без окон, похожий на бойлерную. На деревянной вывеске от руки было старательно выведено: продукты, вино, пиво и амуниция. К магазину примыкал мрачный бар. На ступенях бара сидела черная мохнатая собака с укоризненным взглядом и сосульками на бороде.

Я остановил машину между магазином и баром.

– Сиди. Пять минут, – вылезая, бросил я Холли.

Решил начать с магазина.

Зашел, плотно прикрыл за собой дверь. Внутри оказалось темновато и тепло до духоты. К тому же отчаянно пахло пиццей. В углу на деревянном ящике сидел диковатого вида мужик в унтах, пегий и драный, похожий на лешего. Он, широко раскинув руки, читал разворот в «Нью-Йорк Таймс». В другом углу, за кассой, скучала крепкая деваха в толстой фланелевой рубаше и рыжей меховой кацавейке. Оба подозрительно посмотрели на меня. Я улыбнулся и поздоровался.

Леший что-то буркнул и уткнулся в «Нью-Йорк Таймс», деваха с простодушным любопытством продолжала разглядывать меня – очевидно, с мужским контингентом в Лори было не ахти. Ее магазин был обычным захолустным сельпо с небольшим добавлением в виде оружейной секции. На стене висело несколько винтовок: пара охотничьих двустволок, древний винчестер и элегантная М-16 с оптическим прицелом. Тут же стояли коробки с патронами, а под стеклом лежали страшноватые тесаки с сияющими лезвиями и здоровенный «магnum», похожий на бутафорский револьвер из фильма с участием Клинта Иствуда.

– Хороший магазин. – Улыбаясь, я подошел к кассе. – Все есть. Даже пули.

Деваха довольно кивнула и заправила пшеничную прядь за ухо.

– Вы охотник? – спросила она негромким грудным голосом. – Или рыбак?

– Скорее рыбак, – уклончиво ответил я. – У нас рейс отменили. До среды. Вот пытаюсь найти ночлег...

У девахи появился огонек в глазах, она уже хотела что-то предложить, но я спешно добавил:

– Со мной дочь. Десять лет. Будь я один...

– В Берлингтон надо, – крикнул из угла леший. – Там переночуешь. Оттуда и улетишь.

– До Берлингтона он не доедет, – возразила деваха. – Через час накроет к ядерной матери.

Вон как крутит.

Она ткнула в серый экран маленького телевизора с рогатой антенной, что стоял рядом с кассовым аппаратом. Последний раз я видел такой телевизор лет двадцать назад на даче у Лифшица в Подлипках.

– А здесь, в округе, нет ли какого-нибудь... – без особого оптимизма начал я. – Мотеля, что ли? Мне сказали...

– Сгорел, – отрезал леший. – Два года тому как сгорел. Вертеп.

– У нас из приезжих только охотники. – Деваха расстегнула ворот рубахи, поглядев на меня, добавила томно: – Ну и жара...

Дверь в магазин распахнулась, и на пороге возникла Холли. В замшевых сапогах с меховой опушкой, в тугих рейтузах под зебру и короткой куртке на гагачьем пуху.

– Ну и сколько можно ждать? – спросила она, недовольным жестом откинув назад волосы.

Леший и кассирша уставились на нее.

– Доча, дверь-то, – нерешительно попросил леший. – Холоду напустишь.

Холли фыркнула, развернулась, вышла и с треском захлопнула дверь. Деваха удивленно повернулась ко мне:

– Десять лет?

Я пожал плечами, извинился и вышел следом.

Холли сидела на корточках у входа в бар и о чем-то дружески беседовала с бородатым псом.

– Быстро! – рявкнул я. – В машину!

Выставил прямую как палка руку в сторону «Кадиллака».

Холли что-то сказала псу – наверное, наябедничала на меня, – неспешно поднялась и лениво забралась в машину. Я зло сплюнул под ноги, открыл дверь. Мне на рукав опустилась снежинка, большая и аккуратная, точно вырезанная из слюды. Я поднял голову – из абсолютно синего неба падали крупные белые снежинки, падали гораздо медленнее, чем положено по закону тяготения. На севере из-за гор выползала серо-фиолетовая хмарь, прямо на глазах она наступала, ширилась. Мохнатый край тучи растекался по голубому, как грязная акварельная краска по мокрой бумаге. Я взглянул на часы, было без четверти четыре.

5

– Куда мы едем? – в третий раз спросила Холли.

В третий раз я ничего не ответил.

Дорога становилась все хуже, мы скребли снег днищем, влетали в ухабы, «Кадиллак» то и дело буксовал и полз юзом. Дураку было ясно, что нужно поворачивать назад, но в меня точно вселился бес – из-за ее вопросов, из-за этого капризного тона меня только разбирало упрямство, и я продолжал зло выжимать педаль газа и крутить баранку, стараясь удержать машину на скользкой дороге.

Минут двадцать назад мы свернули с главного шоссе. Судя по мотельной карте, если слово «карта» применима к тем детским каракулям, таким образом мы срезали приличный кусок и выезжали на автостраду, ведущую напрямиком в заветный Берлингтон. Я решил, что даже если нам не удастся добраться туда из-за надвигающегося урагана, то у нас будет гораздо больше шансов найти мотель на центральной дороге штата, чем в этом захолустье.

– Я сейчас позвоню маме, – угрожающе проговорила Холли.

– И что скажешь? – с вызовом спросил я.

Машину снова занесло, девчонка взвизгнула и вцепилась в торпеду.

– Псих! – крикнула она. – Скажу, что ты шпаришь, как псих ненормальный!

– Звони!

Она ткнула пальцем в телефон, аппарат весело запиликал, набирая мамин номер.

– Ябеда, – буркнул я, косясь на экран телефона. – Тут сигнала нет.

– Как это? – простодушно удивилась она.

– Тут лес, ваше величество! – Я демонически усмехнулся. – Глушь тут! Горы и лес! Тут волки и медведи, кабаны и шакалы! А вот сигнала – нет.

– Какие шакалы? Какие?

– С клыками! Хищные шакалы.

Машина влетела в колдобину, днище картера со скрежетом полоснуло по дороге. Мне стало жарко от мысли, что будет, если мы в этой глухомани пробьем картер. Я приоткрыл окно и сделал глубокий вдох.

– Послушай, Холли, – примирительным тоном начал я. – Давай договоримся. Ты взрослая девочка, тебе уже десять...

– Что?! Мне десять?! – взъярилась она. – Мне двенадцать с половиной! И прекрати разговаривать со мной как с ребенком! Дурак!

– Я и не думал...

– Вот именно – не думал! Куда тебе о других думать? С твоим, как его... – она зло прищурилась, припоминая. – С твоим эгоцентрическим инфантилизмом!

Я чуть не выпустил баранку.

– Каким инфантилизмом? – захохотал я. – Каким?

– Эго... – не очень уверенно повторила она, – ...центрическим.

– Ты хоть понимаешь, что это значит? Эгоцентрический инфантилизм!

Холли задумалась на секунду, но она явно была гораздо сметливей, чем мне казалось. И, очевидно, старше на два с половиной года.

– А это значит, – с неожиданно очень знакомой интонацией начала она, – что у тебя психология подростка. Капризного и испорченного пятиклассника. Да к тому же с манией величия.

– Манией величия?

– Именно!

– И в чем же она выражается?

– А в том! – Она скорчила рожу, наверное, изображая меня. – Я журналист! Я репортер! Господи-боже-мой! Он воображает себя невесть кем, ага! А сам на самом-то деле – паршивый блоггер...

– Меня публикует «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост»! – азартно крикнул я. – Меня приглашали на «Утренний кофе» с Джоната...

– Ух ты! – Она перебила меня и засмеялась. – Когда? Когда тебя приглашали? Год назад! Умора! И ты нацепил тогда еще этот идиотский галстук. Ух! И этот твой дурацкий акцент! Страфствуйте дырагие зрители...

– Я родился и вырос в России, ничего удивительного, что я говорю с акцентом...

– Удивительного ничего, а смешного много!

– Кто бы смеялся! Сама на родном языке через пень-колоду говорит, а я знаю четыре иностранных...

– Фу-ты ну-ты! Только выпендриваться тут не надо! Четыре языка! Ты на фиг не нужен никому со своими языками... Четыре языка! С четырьмя миллиардами не нужен, понял. Ты

потому и сбежал из своей вонючей России, что там никому не нужен был. Журналист! И здесь никому ты не нужен! Ни-ко-му!

Я повернулся к ней, она торжествующе смотрела прямо перед собой, смотрела на дорогу. Мамин прищур, мамин профиль.

– Ну ты и дрянь, – невольно произнес я.

– Лучше быть дрянью, – злорадно проговорила она в стекло, – чем таким поганым неудачником с убудским акцентом и кретинским галстуком.

– Знаешь что! – заорал я и хряснул кулаком по рулю.

Я задыхался, мне казалось, что я сейчас взорвусь от злости. Не припомню, чтобы я ненавидел кого-нибудь с такой лютой страстью. В этот момент прямо перед машиной возник олень, возник моментально, точно материализовался из морозного сумрака. Холли взвизгнула, я одним ударом впечатал педаль тормоза в пол. «Кадиллак» потерял управление, нас понесло юзом, закрутило. До оленя оставался метр, не больше, – я отлично разглядел влажный замшевый нос и белые, точно седые, ресницы. Я вцепился в баранку, ожидая удара, но удара не произошло – олень стремительно и без видимого усилия, одним грациозным прыжком оказался на обочине, печально оглянулся на нас и исчез в чаще.

Я без особого результата выкручивал руль, как советуют в учебниках по вождению – в сторону заноса, «Кадиллак» сделал еще один пируэт и уткнулся носом в придорожный сугроб. К счастью, я успел скинуть на нейтралку, и мотор не заглох. Холли продолжала голосить.

– Заткнись, – рявкнул я.

Девчонка замолчала, тихо всхлинула и вытерла нос кулаком. Мне стало стыдно, я что-то буркнул и включил заднюю передачу. Медленно начал прибавлять газ. «Кадиллак» дернулся, я притопил педаль еще. Движок взревел, я слышал, как колеса со свистом прокручиваются в снегу. Машина не двигалась.

Положение оказалось хуже, чем я предполагал, – нос «Кадиллака» и оба колеса застряли в сугробе. Я обошел машину, пнул заднее колесо, открыл багажник. Кроме моей сумки и Холлинного чемодана, там не было ничего. Ничего, даже поганого скребка. Держась за капот, я шагнул с дороги на обочину и тут же провалился по колено в снег. Чертыхаясь, натянул перчатки. На карачках начал выгребать снег из-под колес.

– Эй, – я постучал пальцем в стекло.

Холли приоткрыла окно, подняла голову.

– Мы здорово застряли. – Я стянул мокрые перчатки и подул в окоченевшие ладони. – Мне одному не справиться.

Она мрачно посмотрела на меня.

– План такой, – продолжил я оптимистичным тоном. – Я зайду оттуда и буду толкать машину, а ты будешь давать газ. Но очень аккуратно, очень, – тут главное не...

– Я не умею, – простодушно сказала она. – Я никогда в жизни... Никогда...

– Да там и уметь-то нечего! – уверил я. – Садись за руль.

Холли, не выходя и машины, перелезла в водительское кресло. Я сел рядом.

– Первым делом – ставим колеса прямо. Держи баранку, крепче, вот так... И поворачивай.

Она вывернула руль, я высунулся в окно, проверил – колеса стояли параллельно корпусу.

– Теперь видишь, там внизу педали? Газ и тормоз. – Я наклонился, нащупал рычаг под ее креслом и придвинул кресло ближе. – Так достаешь?

Холли поставила ногу на педаль газа.

– Угу, – кивнула. – Так?

– Отлично. Теперь очень медленно надави... вот так. Чуть-чуть. Видишь? Элементарно!

Она улыбнулась.

– Вот эта штука переключает скорости, – я взял ее руку, положил на рычаг. – Вот так, крепче. Нам нужна будет только задняя скорость. Мы сейчас на нейтральной. По моему сигналу ты переключишь на заднюю, вот сюда.

– А ты?

– А я буду толкать. Снаружи. И давать тебе команды.

– Какие?

– Больше газа или меньше. Всего две. Только, Христа ради, дави на педаль аккуратно.

Чуть-чуть.

– Почему?

– Потому что колеса зароятся в снег еще глубже.

– И что тогда?

6

Сумерки опускались с неумолимой быстротой, небо темнело прямо на глазах. Из темноты посыпались снежинки, сначала редкие, потом гуще. Я включил фары и снова принялся толкать. Колеса прокручивались, снег под протектором плавился и кипел. Воняло паленой резиной. Я материл «Дженерал Моторс» и всю американскую автоиндустрию, использующую автоматические коробки передач и передний привод. Я сорвал шапку и шарф, я кряхтел, рычал и ругался, я толкал эту проклятую колыхающуюся, но она не сдвинулась и на дюйм. В изнеможении махнул Холли – мол, хорош. Распластался на горячем капоте, бессильно раскинув руки, как распятый.

– На нейтральную, да? – крикнула она.

Сил отвечать не было, я поднял руку, выставил большой палец в знак одобрения.

– Давай теперь я. – Холли решительно вылезла из машины. – Потолкаю.

Я засмеялся, получилось что-то вроде всхлипа. Она осторожно подошла, разглядывая меня, как смертельно раненного зверя – с настороженным любопытством. Я силло дышал, с каждым выдохом выпуская столб дымчатого пара в фиолетовую тьму. Желтый свет фар выхватывал край лесной чащи, страшноватые стволы, похожие на слоновьи ноги, синие сугробы, над ними – нависшие лапы елей. Растерзанный снег вокруг машины напоминал место драки.

– Что-нибудь... – задыхаясь, проговорил я. – Придумаем что-нибудь... Сейчас...

– Что? Что нужно придумать?

Снег уже валил вовсю. Вокруг чернела непроглядная темень. Я провел ладонью по крыше машины, зачерпнул пригоршню снега и сунул в рот.

– Лопата нужна. Доски или бревна.

– А зачем? Доски зачем? Или бревна?

– Под колеса. Тогда они не будут прокручиваться.

Холли огляделась вокруг.

– Это ж надо! – трагически подняла руки. – Вокруг сплошные деревья, а у нас ни досок, ни бревен!

В этой мысли, безусловно, что-то было. Я сполз с капота, добрал до ближайшей ели. Ухватившись за мохнатую ветку, повис на ней всем своим весом. Раздался треск, и я грохнулся в сугроб.

– Вот! – заорал я, размахивая еловой лапой над головой. – Холли, ты гений!

Через пятнадцать минут «Кадиллак» нехотя выполз на дорогу. Холли перелезла в пассажирское кресло, я наспех отряхнул джинсы, уселся за руль. Бензина оставалось чуть больше половины бака.

– Давай решать. – Я расправил на руле нашу детскую карту из мотеля. – Мы где-то тут.

Я обвел пальцем большой кусок дороги с неубедительно нарисованными елками на обочине. Холли придвинулась и заинтересованно засопела.

– Мы можем вернуться в Лори, там есть заправка, там есть бар, есть люди. Вероятно, кто-нибудь пустит нас переночевать. Народ тут простой, но вполне приветливый. В худшем случае мы переночуем в машине.

Я сделал паузу, Холли вопросительно поглядела на меня.

– Или?

– Или мы продолжаем двигать на юг, – я провел пальцем. – Вот здесь выезжаем на авто-страду и часа через три прибываем в славный город Берлингтон, расположенный на берегу живописного озера Шамплейн со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде шикарного отеля с пуховыми перинами и экзотического ужина с лангустами и омарами в соусе «кроманьоль».

– Каким соусом? – подозрительно спросила она.

– «Кроманьоль», – невинно повторил я. – Сливки, ваниль, оливковое масло, сок трех лимонов и двух апельсинов, толченый миндаль, авокадо, тертый...

– Ну ты врун! – смеясь, завопила она. – Нет такого соуса! Кроманьоль! Во дает!

Хохоча, она ткнула меня кулаком в плечо.

– Хочу в Берлингтон! – азартно крикнула она. – Хочу Шамплейн и Кроманьоль!

Я развернул «Кадиллак», и мы двинулись на юг.

7

– Джастин пишет, что ты похож на енота, – радостно объявила Холли, возясь с телефоном.

– Что, есть сигнал?

– Не, это старые тексты. Помнишь, когда ты в снежки с машиной играл? Я ему видео скинула.

– Кто этот Джастин? Твой друг, из школы?

– Ты что? – возмутилась она. – Это ж мой кузен!

Окружающий пейзаж ограничивался синеватым куском дороги, вырезанным из крошечной тьмы нашими фарами. Мохнатый снег продолжал валить, медленно и неумолимо, казалось, там наверху прохудилась гигантская перина. Мы ползли черепашьям шагом, не больше двадцати пяти миль в час – я боялся снова угодить в сугроб, заодно сэкономил бензин. Изредка на обочине возникали призрачные фонари – наличие электричества меня несколько успокаивало.

– Это Джастин, у которого сотрясение мозга? – Я смутно вспомнил историю, которую слышал месяц назад от ее матери. – Как он?

– Жутко! – Холли сунула телефон в карман куртки. – Полный мрак! Ему делали сканирование мозга, знаешь, такая штуковина, вроде...

– Вроде саркофага?

– Ага, вроде. – Она стянула сапоги и ловко уселась по-турецки. – Так вот, там нашли какие-то изменения, в мозгу – представляешь?

Я кивнул.

– А сколько ему, – спросил я, – Джастину?

– Мы ровесники. Двенадцать. Только у него в июле день рождения, а у меня в сентябре.

Я снова кивнул.

– Они говорят – врачи, в смысле, говорят, что слух если и восстановится, то только на пятьдесят процентов.

– Так он что, оглох? – я изумленно повернулся к ней.

– Ну да! Ты что? Сперва совсем, потом одно ухо стало слышать, а другое ни фига. Теперь и фортепиано, и всей музыке каюк.

– Он что, на пианино играл?

– Ну ты даешь! Играл! Его в Джульярд приглашали, он в том году с настоящим оркестром играл! В Линкольн-центре! – Она укоризненно покачала головой. – Ну ты даешь...

– Извини, я просто не знал. А как это все случилось, ну сотрясение, что там произошло?

– В школе. В коридоре – он шел, его толкнули. Он упал, потерял сознание. Директор не хотела вызывать «скорую», думала, что все обойдется. Ну ты понимаешь... А когда вызвали – через час...

– погоди, – перебил я ее. – Директор школы решила не вызвать «скорую»? Ее ученик лежит без сознания, а она думает, что все обойдется?! А эти подонки, которые его избили, их нашли?

– Не избили. Они, говорят, просто толкнули.

– Как это так можно толкнуть? Человек оглох! Толкнули! – Я уже кричал. – Что, я в школе не учился? Что, меня не били? Еще как били!

Я вспомнил – классе в шестом меня избили два старшеклассника, избили жестоко, в кровь. Один держал сзади, другой бил. Тот, другой, бил основательно, без суеты, бил в лицо. Кровь текла из носа, из разбитой губы, а он продолжал бить. Было больно, было страшно – отвратительней всего была даже не сама боль, а ужас, животный страх ожидания нового удара.

– Понимаешь, – сказал я. – Не боль, а предчувствие боли.

– А за что? – спросила Холли тихо. – За что они тебя?

– За что? – повторил я. – Я орал им, плюясь кровью – за что? Сквозь слезы и сопли кричал – за что? А они ухмылялись и снова били. Ухмылялись и били.

Холли с ужасом посмотрела на меня, точно у меня и сейчас по лицу текла кровь. Я улыбнулся, я пожалел, что рассказал эту историю. Она покачала головой, словно отвергая мою улыбку. Над верхней губой у нее выступили капельки пота – как роса. В машине и вправду стало жарко.

– Потом я узнал, что они меня просто с кем-то спутали, – сказал я. – Со временем я понял, что этот проклятый вопрос «За что?» мне придется задавать всю жизнь – спрашивать у друзей и у врагов, у себя, у бога, у дьявола. За что? – это квинтэссенция отчаяния и разочарования в нашем мироустройстве. Жизнь несправедлива и полна глупых случайностей.

Я выключил печку. Стало тихо. Мы катились сквозь лес, мотор еле слышно урчал, снег продолжал сыпать на ветровое стекло. Пушистые большие снежинки кружили в свете фар, и это напоминало кино.

8

Через час я начал беспокоиться. Даже при нашем черепашьем продвижении на этой убогой скорости мы должны были выехать на пересечение с автострадой минут двадцать назад. Придерживая руль, я достал свой телефон, включил.

– Что, – обрадовалась Холли, – есть сигнал?

Сигнала не было. Дорога сделала поворот и пошла в гору. Я добавил газ, колеса, подвывая, начали прокручиваться в снегу. Осторожно поворачивая руль, я стал взбираться зигзагом. «Кадиллак» пьяным матросом петлял от обочины к обочине – мою спутницу такая езда очень развеселила. Мы едва ползли, мотор натужно кряхтел, в какие-то моменты мне казалось, что мы вот-вот застрянем и начнем скользить вниз.

– Что это? – Холли показывала куда-то вбок. – Смотри, что там?

– Где?

Мы уже осилили подъем, я скинул на нейтралку, выдернул ручной тормоз. К обочине не стал съезжать, встал посередине дороги. Слева, в подслеповатом свете уличного фонаря, угадывалась постройка, похожая на амбар. Я вышел из машины, захлопнул дверь.

– Что это за фигня? – Холли вышла за мной. – Сарай?

– Среди леса?

На воротах висел замок, сверху над дверью проступали полустертые буквы.

– «Совиная гора», – прочла Холли. – Что это такое?

– Я думаю, гора, на которой живет много сов, – предположил я. – Или хотя бы одна.

– Кто одна?

– Сова, конечно.

– Очень остроумно, – Холли скривила гримасу, изображающую задорный смех. – Гляди, вот так фиговина!

Это был колокол. Большой, в два обхвата, он висел на цепи, приделанной к железной перекладине. Ее поддерживали два толстых бревна, в целом конструкция напоминала турник. Толстая веревка с узлом на конце свешивалась из черного зева колокола. Я протянул руку и взялся за веревку.

– Стой! – испуганно проговорила Холли. – Не трогай.

– Почему? Сейчас позвоним, узнаем, кто живет-поживает на Совой горе. Кроме сов, разумеется.

– Не надо, – быстро сказала она. – Поехали отсюда. Пожалуйста.

– Ты что? – Я отпустил веревку, мне отчего-то тоже стало не по себе. – Тут никого нет. Вообще никого.

Последнюю фразу я произнес не очень уверенно.

Мы стояли перед этим странным колоколом в круге желтого света. За ним лежала непрглядная зимняя ночь. Снегопад выдыхался, снежинки стали мельче и сыпали уже не так густо. Я поднял голову, закрыл глаза и зачем-то выставил язык: колючие кристаллики опускались на него и щекотно таяли.

– Холли, – сказал я, когда мы вернулись в машину. – Ты знаешь, кажется... кажется, мы заблудились.

– А карта? – Она развернула мятую бумагу. – У нас же карта!

На нашей карте, похожей на рисунок пятиклассника, помимо подозрительно прямых дорог и населенных пунктов с неказистыми домиками и кривыми церквями, были также изображены весьма условные березы и елки, среди которых разгуливали лоси, медведи и зайцы. Местный заяц в росте не уступал медведю.

– И что теперь? – спросила она, спросила растерянно и с такой невинной беззащитностью, что мне захотелось завывать, громко и протяжно, как воют волки, которые по неясной причине оказались проигнорированы местным картографом.

– Все будет хорошо, – слишком поспешно сказал я. – Все будет в порядке. Видишь, тут сарай, колокол – тут люди. Должно быть жильё. Поселок Совиная гора, а? Где-то рядом наверняка есть жильё.

Я говорил торопливо и беззаботно. Чересчур беззаботно – наверное, это ее и насторожило.

– Жильё? – Она шмыгнула носом. – Совиная гора? Да этому сараю лет миллионов сто, его птеродактили построили какие-нибудь...

– Питекантропы...

– Какая разница! Ни фи́га тут нет, никакого жильё нет! Никаких людей нет!

– А электричество? Вон – фонарь! Вон – провода! Идет ток, лапочки кто-то меняет.

– Ага! Меняет! Раз в тыщу лет!

– Хорошо! – отрезал я. – Что ты предлагаешь?

Она дернула плечом и отвернулась к своему окну. За стеклом чернел лес. Я скосил глаза на датчик топлива – чертов «Кадиллак» сожрал уже две трети бака. Возвращение в Лори могло

стать весьма проблематичным. Не дожидаясь ответа, я врубил скорость и медленно утопил педаль газа. Я решил не поворачивать обратно.

9

Снег теперь сыпал мелкой крупой, нервно штрихуя свет фар косым пунктиром. Холли сидела нахохлившись, то ли дуясь на меня, то ли злясь на весь мир сразу. Мне было не до нее – прошло двадцать пять минут: после сарая с колоколом нам не попало ни единого признака обитания человека. Не считая редких фонарных столбов. Справа и слева к обочине подступал лес, высокий и плотный, казалось, дорогу прорубили через самую чащобу. Не было ни лужаек, ни прогалин – лес стоял сплошной стеной. Попался дорожный знак, я скинул скорость. Жестянка проржавела, знак был пробит крупной дробью и напоминал дуршлаг.

– Жилье... – проворчала Холли, с ненавистью глядя в лобовое стекло.

Проехали по мосту через какую-то речушку. Я взял нашу карту: там не было ни рек, ни озер, не считая озера Шамплейн, нарисованного условно и по очертанию похожего на голубого спящего кота. Кот спал в левом верхнем углу карты. То есть в западном направлении.

– ...Твою мать... – пробормотал я, сердце подпрыгнуло и застряло в гортани.

– Что? – повернулась ко мне Холли.

– Неважно... – я открыл окно и сделал глубокий вдох.

Это было похоже на озарение. Внезапно, точно при вспышке молнии в ночную грозу, когда в один миг удается разглядеть мельчайшие детали – и мертвый дуб на горе, и горлышко разбитой бутылки под ногами, а после, уже во тьме, весь пейзаж еще плывет и плывет перед глазами, мне явилась четкая картина всех наших перемещений. Начиная от аэропорта и кончая этой дремучей чащей. Мне стало кристально ясно, что из Лори мы отправились не на запад, а на север. В сторону Канады. И сейчас мы движемся в сторону самой безлюдной территории Северной Америки, где плотность населения составляет полтора охотника на тысячу акров и где нет ничего, кроме бескрайнего леса.

– Сибирь, – мрачно подытожил я. – Это как Сибирь...

– Что такое Сибирь? – невинно спросила Холли. – Я вообще не понимаю, как можно заблудиться на дороге? Если б мы были в лесу...

Она заглянула мне в глаза, наверное, вид у меня был действительно растерянный.

– Сибирь, подумаешь, – не очень уверенно сказала она. – Тут же фонари, правильно? Вдоль дороги. Сам говорил – ток электрический. Не может же дорога кончиться тупиком, стенкой? Дорога идет из одного города в другой. Вот мы выехали из этого...

– Лори. – Мне стало неловко, что эта пигалица пытается подбодрить меня, взрослого мужика.

– Ну да, из Лори. И в конце концов приедем в другой город. Ну да, а как иначе?

Я согласно кивнул – безусловно, логика в ее рассуждениях присутствовала. Я скопил глаза на датчик топлива, светящаяся рыжая сволочь показывала четверть бака.

10

Его заметила Холли. Даже не знаю, как она его углядела. Мне самому показалось, что кто-то бежал через лес параллельно дороге и моргал фонариком. Будто подавал нам сигнал. Я затормозил – замер и фонарик.

– Кто там? – едва слышно прошептала Холли.

Я опустил стекло, мы уставились в лес. До меня дошло – огонек не двигался, двигались мы, а за моргание я принял черные стволы, закрывавшие свет пока мы ехали.

– Что там? – чуть смелее проговорила Холли.

Мы тихо вышли из машины, сам не знаю почему, мы старались не шуметь.

– Гляди, – Холли указала на просвет в чаще.

От основной дороги в лес уходила просека, тропа была занесена снегом, но это однозначно была тропа, которая куда-то вела.

– Дом! – заворуженно проговорила Холли.

Я тоже разглядел темный силуэт невысокой хибары метрах в пятидесяти от нас. Тот свет, который заметила Холли, оказался фонарем над крыльцом.

– Жди здесь. – Я указал на машину.

– Я с тобой...

– Никаких с тобой. В машину!

Я ступил в снег и сразу провалился по колено. Вытянул ногу, сделал шаг, другой. Идти оказалось не так просто, колючий снег залезал под джинсы, норовил набиться в носки и в ботинки. После жаркой машины в лесу было морозно и свежо. Глаза постепенно привыкли к темноте, сумрачные сугробы проступили темно-синими горбами и стали похожи на ночной океан.

Я вытащил из кармана перчатки, натянул, хлопнул в ладоши. Звук получился звонкий, почти деревянный. Только сейчас я заметил, что снегопад кончился. Поднял голову – я был точно на дне ущелья, по бокам высились черные громады елей, а между ними, будто река, текло бархатное небо, усыпанное звездами. Такого обилия звезд я в жизни не видел.

Дом оказался деревянным срубом, одноэтажным, с широким крыльцом в три ступени. Я поднялся, звонка не было, я стукнул несколько раз кулаком в дверь. Без малейшей надежды приложил ухо к двери. Я не рассчитывал, что кто-то отзовется – все вокруг было занесено глубоким снегом, фонарь, горевший на крыльце, очевидно, соединялся с линией освещения вдоль дороги.

На двери из крепких струганных досок висел стальной замок. Я потрогал его, пнул дверь ногой. Прошелся по крыльцу, похрустывая инеем, пнул еще раз. Нужно было решать. Бензина у нас осталось на час, не больше. Впереди ночь. Температура падает. Рядом с крыльцом под заснеженным навесом были сложены дрова – наверняка в доме печь или камин.

Мне никогда раньше не доводилось взламывать двери – все оказалось не так сложно. Из поленницы я выбрал увесистую чурку и в три удара сбил замок – гвозди и петли были насквозь ржавые.

– Фига себе! – раздалось за моей спиной. – Отель супер класс!

– Кому я сказал ждать в...

– Ты что, замок расфигачил? Полный улет! Я думала – ты сладкий додик, а ты зверский питбул!

Холли взбежала на крыльцо и, распахнув дверь, гаркнула в темноту:

– Эй! Есть кто живой?

11

Из дома пахло холодом и сырой золой. Я достал телефон, выставив его перед собой, точно священный талисман, осторожно перешагнул порог. Холли, шумно сопя, вцепилась в рукав моей куртки. В мутном свете телефонного дисплея я разглядел силуэт настольной лампы. На ощупь нашел выключатель.

Это была обычная охотничья лачуга: две койки из струганных досок, грубый приземистый стол, две деревянные скамьи. На полу валялась шкура вполне убитого медведя. Холли подняла одну из лап – черные когти были длиной с мой мизинец. Печь, пузатая и важная, похожая на чугунную бочку, явно являлась центральным элементом интерьера – она стояла посередине комнаты, в потолок уходила черная металлическая труба. Рядом с печью кто-то

аккуратно сложил березовые дрова, тут же была стопка газет и два коробка спичек. Я взял один, потряс, спички весело загремели внутри.

– Ну? – я повернулся к Холли.

– Супергнусная дыра! Но в этой тошнотворности и заключается ее прелесть... – Холли нырнула под стол и вытащила охотничий патрон. – Ух ты, пуля!... Да, прелесть такого рода, когда уродство настолько мерзко, что становится почти красивым. Вроде тех лупоглазых собаченок, знаешь? Или вот как эта гадость!

Она ткнула пальцем в черную кабанью голову, прибитую к стене. Чучело было мастерским, кабан казался почти живым. Слева висела грустная косуля, справа торчал ржавый крюк.

Я осмотрел трубу – нашел вьюшку, открыл. Присел на корточки, распахнул дверь в печь, заглянул внутрь. В трубе тихо пел ветер. Скомкав газету (передовица была про казнь Саддама Хусейна – почти античная история), я соорудил из тонких чурок что-то вроде вигвама и поджег. Бумага быстро занялась, усатый диктатор сморщился и почернел, рыжее пламя перекинулось на дрова, те затрещали, и через минуту в печи уже вовсю гудел огонь. Холли нагнулась и подставила ладошки.

– Настоящий бойскаут. – Она не очень умело подмигнула мне.

Я вернулся к машине, сел за руль. Бензина осталось меньше четверти бака. Развернулся, отогнал «Кадиллак» к обочине и заглушил мотор. Открыл багажник, вытащил сумку и розовый чемодан Холли.

В избе стало ощутимо теплей, я снял куртку, сунул в печь еще пару поленьев. Холли тоже стянула куртку, подумав, сняла и сапоги. Уселась на шкуре.

– Офигительно жрать охота! – Она по-кошачьи вытянулась, потом сплела ноги в какой-то немислимый узел. Посмотрела на меня.

Я придвинул скамейку к печке, сел верхом. Подавшись вперед, уткнул подбородок в ладони. Печь пела густым басом, натужно, точно гигантский шмель. Сквозь закопченное стекло в дверце был виден огонь, красный, неистовый, он бился внутри, словно пытаясь вырваться на волю. От упругого жара лицу стало щекотно. Изба начала оттаивать, оживать – горьковато запахло старым деревом, по комнате пополз теплый и сухой дух. То тут, то там раздавалось поскрипывание, тихое потрескивание, казалось, в темных углах просыпались какие-то таинственные существа. Наверху что-то звучно крякнуло.

– Ты слышал? – Холли настороженно ткнула пальцем в потолок. – А?

– Призраки, – усмехнулся я. – И привидения.

– Дурак, – обиделась она, но, тут же передумав, спросила: – А ты веришь во все эти дела? Сверхъестественные?

Я неопределенно пожал плечами, меня гораздо больше занимал вопрос естественного порядка, прагматический вопрос – как нам выбраться из этой глухомани с четвертью бака идохлым аккумулятором.

– Мы с Джастином, – начала Холли. – Ну еще до этого... происшествия...

– Угу. – Я повернулся к ней. – Происшествия в школе, да?

– Да, до этого. – Она стала серьезной. – Мы с ним были в одном старом доме на Лонг-Айленд...

– Как вас занесло на Лонг-Айленд?

– Не перебивай! Какая разница? – возмутилась она. – А то не буду рассказывать!

Я смиренно сложил ладони.

– Мы там ходили по всяким коридорам и комнатам, жуткий такой дом, старый... А Джастин, он все время останавливался, вроде как что-то там слушал. Прислушивался. Я тоже слушала, но ничего не слышала. Он, Джастин, потом меня спрашивает: ты, говорит, старика видела этого? Какого старика? Я обалдела просто, тут, кроме нас, вообще никого и нет! А он говорит – тут старик за нами ходит, ходит и улыбается.

Она сделала большие глаза, я понимающе кивнул.

– А после, внизу, на камине, там стояли разные фотографии, древние, им лет пятьсот. Такие желтые. И там этот старик был – на фотографии, сам жуткий, на филина похож. У меня даже мурашки по спине, представляешь? А Джастин говорит – вот он, перед камином в кресле сидит. Старик этот. Сидит и улыбается. А я вижу пустое кресло и ни фиги больше! Но все равно жутко.

– Так Джастин может видеть мертвых?

– Мог... Сейчас уже нет.

Мы помолчали, глядя в огонь.

– Он и меня учил, – осторожно сказала Холли. – Только ты маме...

– Могила! – отрезал я. – И что, ты тоже кого-нибудь...

Я скосил глаза в темный угол. От мерцающего огня комната казалось аморфной, стены куда-то медленно плыли, мертвые головы загадочно ухмылялись и смотрели на нас стеклянными глазами.

– Нет. – Холли перешла на шепот. – Я никого не вижу. Пока. Но Джастин говорит, что у меня экстраординарные пано... паранормальные способности. Но их надо развивать. Он говорит – это как фортепьяно – нужно каждый день по несколько часов...

– Понятно.

– По несколько часов. Нужно развивать концентрацию – это, он говорит, вообще квинт... эн...

– Квинтэссенция.

– Ага.

– А как? Как развивать?

Холли задумалась, потом быстро заговорила:

– Ну как? Очень просто! Вот, к примеру, печка... – Она снова задумалась, что-то прикидывая, критически оценивая печь. – Нет, не печка. Лучше лампа.

– Хорошо, лампа. Пусть будет лампа – и что?

– А то! – Она ловко перевернулась и уселась в некое подобие позы лотоса – обе босые пятки оказались вывернутыми к потолку; гибкость Холли производила на меня гораздо большее впечатление, чем ее сомнительный паранормальный талант.

– Я сейчас сконцентрирую свою энергию... – медленно произнесла Холли и зловеще прищурилась. – И погашу эту лампу.

Она сильно вдохнула, точно собиралась нырнуть. Сжала губы, свела брови и до удивления стала похожа на свою мать. Впиалась взглядом в пыльный абажур. Лампа продолжала невинно гореть тусклым желтоватым светом свечей в пятнадцать. Мне стало смешно, я прикрыл рот ладонью. Девчонка не заметила, она продолжала гипнотизировать лампу. Медленно выпрямив спину, Холли вытянулась, на шее проступила синяя жилка. Лампа не сдавалась. Холли подалась вперед. Стала медленно поднимать руки, точно пытаясь что-то вытащить из-под земли. Ее скуластое маленькое лицо становилось все румяней, на крепко сжатых кулаках побелели острые костяшки.

Лампа моргнула. Погасла на миг, потом зажглась снова.

Холли издала какой-то кошачий крик – восторга, победы, личного превосходства.

– Ты видел?! – заорала она, одним упругим прыжком вскакивая на ноги. – Видел?!

– Конечно! – восторженно ответил я, незаметно отпуская провод лампы с выключателем. – Потрясающе.

Я впихнул два последних бревна в печь, захлопнул чугунную дверь и клацнул защелкой. С удовольствием развалился на скамейке, ощущая растекающуюся во мне теплую лень. Лачуга теперь казалась вполне уютной, прокопченный потолок и бревенчатые стены почти романтическими, даже головы убитых зверей глядели теперь вполне приветливо. Боже, как же мне не хотелось выползть на мороз за дровами.

– А ты знаешь какую-нибудь страшную историю? – Холли снова растянулась на шкуре, она лежала на животе, согнув ноги и выставив вверх пятки. – Какую-нибудь дикую жуть?

Пламя в печи бушевало всюду, труба от жара раскалилась, низ трубы казался полупрозрачным и отливал малиновым. Представление о настоящей жути у нас с Холли, скорее всего, здорово разнилось. Я порылся в коллекции своей памяти: да, там были занятные детские истории про кладбища, про заброшенные дома с привидениями и прочая чепуха.

После пятого класса на два летних месяца я был сослан к малознакомой родне в глухую деревню под Львовом. Помню снежно-белые домики среди отчаянно желтых полей подсолнухов – в жизни не видел столько подсолнухов.

Там вообще было много нового. Поразило обилие мух. Дурачась с топором, я почти оттапал себе мизинец на правой ноге. Соседская Ленка, смуглая, как мулатка, девчонка лет пятнадцати, научила меня целоваться взапас, с какими-то мужиками я ночью ловил раков при свете факелов, с другими участвовал в браконьерской вылазке на совхозные карповые пруды – обратно ехал в кузове среди вороха сетей. Грузовик пьяно качало на колдобинах, восток светлел, в сетях серебром горела чешуя мясистых карпов.

Меня научили пить самогон. Закусывали мелкими луковицами, их чистили и макали в грубую серую соль. Там я научился курить, курили какую-то гадость, названия не помню, что-то без фильтра. На пачке была смешная надпись – тютюн второго сорта. Сонными вечерами туман стелился по реке, плыл по полям, путаясь в приземистых вишнях, с пастбища возвращались ленивые коровы, – помню глухой стук копыт по глине и звон колокольцев, помню редкий щелчок кнута да ворчанье пастуха.

Над рекой, на крутогоре, темнела роща, за ней начиналось кладбище. Называлось оно Польским. Там, на самом отшибе, в старой части кладбища, был похоронен шляхтич по фамилии Романовский. На могиле когда-то стоял каменный ангел, говорят, лет сто назад во время страшной бури он упал. Ангел и теперь лежал рядом с могилой, выставив из высокой травы мраморное безносое лицо. Крылья его вросли в землю, плечи и руки обвивал плющ, казалось, каменное чудовище пытается выкарабкаться из-под земли. По местной легенде, этот пан Романовский был исключительным злодеем, болтали, что он даже продал дьяволу душу. Еще говорили, что по полнолуниям он выбирается из могилы и бродит ночными тропами, подкарауливая одиноких путников. Жаждет теплой крови.

Той ночью нас собралось пятеро. На окраине деревни проверили инвентарь – три лопаты, заступ, моток веревки. Пошли гуськом, я шел в хвосте с керосиновым фонарем со странным названием «летучая мышь». Лампу решили зажечь только у цели. Узкая тропа петляла между сумрачных холмов, огибала валуны, пряталась в мохнатые кусты орешника.

Осталась позади роща, началось кладбище. Быстрые облака неслись по небу, луна выныривала и вдруг пропадала, точно гасла, – казалось, что это не облака, а она спешно плывет куда-то. Кресты отбрасывали растопыренные тени, чернильные, непроглядные; от лунного света все стало сизым – и могильные холмы, и трава, и кресты. Даже мои руки стали серыми, будто были отлиты из парафина.

Дошли до могилы шляхтича. Тут выяснилось, что забыли мешок – мы не только были уверены в существовании сокровища, мы даже представляли себе его объем – ориентировочно

плюс-минус килограмма три. Впрочем, и дураку ясно, что без мешка на поиски сокровища отправляются лишь абсолютные дилетанты.

Начали копать. Фонарь зажгли, я поставил его ангелу на грудь, теперь мне чудилось, что статуя наблюдает за нами из-под опущенных каменных век. Земля оказалась мягкая, пополам с песком. Яма быстро углублялась, через час лопаты стукнули в дерево – гулко, как в бочку.

Показалась крышка гроба. Я выбрался наверх, принес фонарь, руки у меня тряслись. Из ямы тянуло холодом, пахло мокрой землей. За рекой в соседней деревне завывала собака. Потом другая. Унылый звук плыл над водой, река казалась залитой черным лаком, лишь отражение луны мерцало пыльной серебристой дорожкой.

Крышка гроба не открывалась, крышку поддели лопатами. Мои товарищи кряхтели внизу. Ржавые гвозди взвизгнули, раздался треск. Я, стоя на коленях на краю могилы, вытянул руку с фонарем и осветил открытый гроб. Он был пуст. Там не было ни мертвеца, ни сокровищ.

– Ух ты... – Холли восторженно уставилась на меня, боясь пропустить слово. – А где же он?

– Именно в этот момент за моей спиной раздался... – я сделал паузу и мрачным голосом продолжил: – Раздался вой. Душераздирающий и жуткий, так, наверное, воют души грешников в аду. Крик, от которого леденеет кровь...

Холли приоткрыла рот, словно пыталась что-то подсказать мне. Ее лицо разругалось, на висках блестели росинки пота.

– От испуга я шаррахнулся и выронил из рук фонарь...

– Нет... – тихо пробормотала Холли.

– В ужасе я обернулся. – Я снова сделал паузу. – В сизом лунном свете, среди крестов и надгробий я увидел черный силуэт человека. Он был высок, нет, просто огромен, мне он показался великаном. Великан поднял руку – длиннополый плащ раскрылся, как крыло летучей мыши. Я услышал громовой голос: «Кто посмел разрыть мою могилу?!»

– Господи... – прошептала Холли. – Мертвец...

– Да, это был он – пан Романовский! Сердце мое ушло в пятки. От ужаса меня колотило, я кое-как поднялся на ноги. Мои товарищи выкарабкались, да что там – выскочили из могилы. Завывая от страха, мы бросились врассыпную. Нам вослед летел хохот страшного мертвеца.

Я несся, едва касаясь росистой травы, мчался, как испуганная птица, никогда в жизни – ни до, ни после – я не бегал так быстро. В ушах гремел жуткий хохот, перед глазами стоял злобный образ. Я улепетывал, не разбирая дороги. На окраине деревни, зацепившись за что-то, я упал...

– Ты что?! – испуганно выдохнула Холли. – А он?

– Не знаю. Я растянулся, влетел лбом в камень. Потерял сознание, – мрачно продолжил я. – Может, мертвец нашел меня. Может, напился моей крови.

– Не-е...

– Что, не? – Я убрал волосы со лба. – Гляди! Три шва...

Она поднялась, приблизилась, осторожным пальцем тронула шрам.

– Так если мертвец тебя... – Холли замолчала, подозрительно разглядывая меня. – Если он тебя...

– Да-а... – могильным баритоном протянул я, медленно поворачивая к ней лицо и растягивая губы в ухмылке. – Да, ты права, маленькая девочка...

Холли завизжала и отпрыгнула, ловко как кошка. Я добродушно рассмеялся.

– Во дурак! – обиженно крикнула она. – Ну ты что, совсем псих?

– Ты ж сама просила...

– Просто идиот какой-то...

– Ну ладно, прости...

– Прости... Вообще полный кретин, страшно ведь...

Она уселась на шкуру, надувшись, уставилась в огонь. Пламя из лимонного стало малиновым, угли потускнели и мерцали сочными рубинами. Казалось, что угли дышат.

– Ладно. – Я хлопнул в ладони. – Хочешь не хочешь, а надо идти за дровами.

– Не-не-не, – быстро проговорила Холли. – Нет, погоди. Не уходи.

– Огонь погаснет...

– Ну подожди...

– Чего ждать?

Она, сморщив нос, смущенно сказала:

– Мне страшно...

Я снова засмеялся, заржал, как дурак. Холли укоризненно взглянула на меня.

– Извини. – Я перестал смеяться. – Больше не буду.

Холли недоверчиво прищурилась, спросила:

– А как же этот пан... как его?

– Не пан. Сторож это был. Решил нас пугануть.

Холли задумалась, указательным пальцем почесала подбородок. Точь-в-точь как ее мамаша.

– Сторож?.. – понизив голос, спросила. – А как же пустой гроб?

13

Я натянул куртку, обмотал шарф вокруг шеи, Холли наблюдала за мной, сидя по-турецки на шкуре.

– Скажи честно, ты все это придумал? – Она хитро прищурилась. – Про пана этого? Про пустой гроб?

– Ну-у... – Я невинно пожал плечами, пытаясь попасть в замок молнии. – Знаешь, как пишут в кино: в основе истории лежат реальные события.

– Значит, придумал. – Она раскачивалась, точно в такт музыке, делая руками какие-то плавные восточные жесты. – А это против правил.

– Каких правил?

– Правил игры.

– Я не знал про...

– А теперь знаешь! – отрезала Холли. – Короче, с тебя еще одна история. Самая страшная история твоей жизни! И без вранья, пожалуйста.

– Слушаюсь. – Я надел шапку, ощупал карманы. – Ты перчаток моих не видела?

Холли, не прерывая своего арабского танца, молча указала под лавку. Я поднял перчатки, протопал через комнату. Входную дверь заело, я пнул ее ногой, раскрыл и вышел в ночь.

Мороз усилился. Я спустился с крыльца, задрал голову, выдохнул в темно-фиолетовый бархат неба. Прямо надо мной плыл Млечный Путь.

– Самая страшная история твоей жизни... – вслух повторил я.

По сравнению со стеклянным хрустом снега под ногами, слова мои прозвучали глухо, словно кто-то рассыпал круглые камни. Я остановился, замер, – мне почудилось, что я вижу, нет, ощущаю всем своим существом, как ледяная бездна раскрывается, ширится и с величественным безмолвием совершает свой плавный ход. Пустая безразличная вселенная, мертвая и бессмысленная, нависла надо мной. Шапка сползла с затылка и мягко шлепнулась в снег. Я не стал ее поднимать.

Тишина казалась абсолютной. Мороз проникал в меня, щекотно колот лицо мелкими иголками. Стужа просачивалась внутрь, в кровь, ее ток замедлялся. Как остывающий сироп. Я поднял руку, сжал пальцами мочку уха и не почувствовал ничего. Звезды теперь казались

ярче, словно небо решило придвинуться. Нищше, как всегда, оказался прав: бездна все-таки заметила меня и тоже начала всматриваться.

– Ну и как тебе? – усмехнулся я, обращаясь к бездне.

14

Вы знаете, что такое авидсофобия? Это страх быть превращенным в птицу. Девятнадцать лет назад, в самом начале сентября, весь мир был в моем кармане, я добился всего, о чем мечтал, успех стал нормой моего экзистенциального состояния. Какое это было лето, какая осень! Тем вечером я возвращался домой тихими таганскими переулками, пахло летней московской пылью, я был счастлив. Показался шпиль высотки, вынырнул и снова спрятался за темными тополями, я шагал и, как в детстве, старался не наступать на трещины в асфальте. Возможно, та детская игра или зефирная нежность звезды на шпиле, а может, чудесная сумма ингредиентов московского вечера, не знаю – чтобы вспомнить, надо снова окунуться с головой в ту боль, но я точно помню, что, увидев Ларису, я даже не удивился. Напротив, я испытал ощущение какого-то озарения, точно понял скрытый смысл вещей, разгадал какую-то главную тайну. Стал обладателем чудесной сверхъестественной силы.

Я запомнил цвет ее платья – желтый. Не просто желтый, а отчаянно желтый, пронзительно звонкий, как крик. Как сигнал тревоги. Сигнал, которого я не понял.

– Саша? – Она тронула меня тонкой рукой, тронула неуверенно, точно хотела убедиться в моей материальности.

Она помнила мое имя – волшебство продолжалось.

Мы жили в одном подъезде, Лариса жила на одиннадцатом, я этажом ниже, она училась в моей школе, но на год старше. Я так и не пригласил ее танцевать – ни разу, на школьных вечерах я топтался под музыку с обычными девчонками с потными ладошками. Тогда Лариса не только была на полголовы выше меня, она была существом иного разряда: ну какие танцы могут быть у селезня с лебедем? Вот именно... Потом ее родители развелись, и в их квартире поселилась жирная брюнетка с красными губами и двумя отвратительными бульдогами. Лариса исчезла из моей жизни, как и положено исчезать феям, сильфидам и прочим сказочным созданиям.

И вдруг – этот немислимый сентябрь.

Мы спустились к Яузе, в арке ветер подхватил нас и чуть не унес, а в лифте она по-детски пересчитывала уплывающие вниз этажи. После мы пили вино, она сначала отказалась, сказала – ей не стоит. Но я, распахнув обе створки окна, принес ледяную бутылку шампанского и, ловко скрутив проволоку, выстрелил пробкой в вечернюю Москву.

Солнце уже село, и на мгновение все вокруг окрасилось белым неземным свечением – и далекая башня университета, и купол церкви на той стороне реки, и мост, да и сама река растворилась в белом зыбком мареве, точно хлопок шампанского возвестил переход в новую реальность, сияющую и почти идеальную. Отчасти оно так и вышло.

Лариса коснулась моей руки. Ее длинные холодные пальцы остановились на моем запястье. Я застыл – это была первая реакция, тот импульс, что возникает, когда тебе на руку садится бабочка. Но не обычная лимонница, а экзотическое чудо, о существовании которого ты даже и не подозревал в своих скучных широтах. И твое сердце замедляет бег, и каждый удар его жарко шепчет – не спугни! Не спугни! Это твой шанс! Не спугни!

Ее лицо стало еще прекрасней. Волосы были теперь короче и светлее. Матовая кожа точно светилась изнутри, в сумерках от ее тела исходило теплое янтарное сияние. Раздевалась она медленно, но не жеманно, а как-то обреченно. Плавно перешагнув желтый ворох своего платья, будто мертвый кокон, осталась совершенно голой. Я замер, в мозгу билась одна мысль – не спугни, не спугни!

Осторожно, точно в зыбкую лодку, она опустилась на кровать. Молча вытянулась и застыла, прижав ладони к белой тугой простыне. Мне тоже почудилось, что кровать – шаткий плот и вот-вот отчалит от берега. Я лег рядом и не дыша уставился в потолок.

А среди ночи она спросила жарким шепотом: боюсь ли я боли? Я рассмеялся – к тому моменту я действительно уже ничего не боялся. Я принес авторучку – старый перьевой «паркер» – она просила именно чернильную ручку с пером.

– Хочу остаться с тобой, – сказала она и воткнула перо мне в запястье. – Это будет мой знак. Как татуировка.

Я вскрикнул, скорее от неожиданности, чем от боли, она поймала мой крик своим мокрым ртом.

– Всегда с тобой.

И снова все куда-то поплыло – боль, восторг, время.

Проснулся я на рассвете, проснулся сразу, будто кто-то толкнул меня. Ее рядом не было, я провел ладонью, простыня еще не остыла. В распахнутое окно втекало серое утро, ровная мышьяная краска – бледный остаток ночи. На подоконнике стояла пепельница в виде медной рыбы. Из ее нутра сизой ниткой поднимался дым. С улицы раздался вопль, потом залаяли собаки. По дьявольскому совпадению, Ларису нашла соседка с двумя бульдогами.

Потом была милиция, хмурые следователи в тесных прокуренных комнатухах, я что-то говорил, что-то подписывал. Меня ни в чем не обвиняли. Мне рассказали, как год назад погиб ее жених, погиб на ее глазах. Лариса стояла на тротуаре, ждала, когда он перейдет на ее сторону. После ее лечили; мне зачем-то говорили про диагнозы и препараты, которыми ее пичкали, я кивал и опускал глаза, смотрел на свое запястье, на синюю точку под моей кожей. Я видел серое окно, ее голую спину и затейливый сигаретный дымок над головой. Видел, как она не гасит, а просто оставляет сигарету в уродливой пепельнице. Оставляет так, будто вернется через минуту. Всегда с тобой. Всегда.

Девятнадцать лет я пытался постичь смысл происшедшего. Списать все на волю случая оказалось делом безнадежным, слишком уж умело и затейливо все было сработано. Просто филигранно.

15

Разумеется, я не собирался рассказывать эту историю двенадцатилетней девчонке. Вполне достаточно Ларисино присутствие в моей жизни, не было и дня, чтобы я не вспоминал о ней, не было и ночи. Лариса оказалась права – всегда с тобой, всегда рядом. Вот и сейчас она тут – в голубой, едва различимой, точке на запястье.

Я нагнулся, поднял шапку. Нахлобучил на голову, шапка была ледяной. Луна, выплыв из неопрятных облаков, залила сизой мутью гладкие сугробы, осветила могучие лапы елей, устало обвисшие под тяжестью снега. Тени сгустились, стали фиолетовыми, непроглядными. Ночь пахла чем-то свежим, вроде только что взрезанного арбуза. Проваливаясь в рыхлый снег, медленно и неуклюже я добрался до навеса с дровами. Они были сложены по-хозяйски аккуратно – плотной и высокой стенкой, я с трудом дотянулся до верхних чурок. Поленья, березовые, ядреные, в курчавой бересте, оказались тяжелей, чем я предполагал. Мне удалось вытянуть несколько чурок, они смерзлись, и мне приходилось буквально отрывать их друг от друга. Я кидал дрова в снег.

Пальцы у меня окоченели, я снял перчатки и несколько раз с силой выдохнул в ладони. Руки не согрелись, только стали влажными от пара. Я натянул перчатки, поднявшись на цыпочки, ухватился за полено, дернул. Полено не поддавалось, я повис, наверху что-то крякнуло, и я почувствовал, как вся поленница медленно и неумолимо начинает валиться на меня.

Пытаясь найти опору, я расставил ноги, руками уперся в рассыпающиеся поленья. Правая нога подвернулась, последняя мысль была – мне их, пожалуй, не удержать. Эти чертовы дрова.

Очнулся я почти сразу – так мне, по крайней мере, показалось. Очнулся я от боли и от жажды – пить хотелось невыносимо, наверное, из-за болевого шока. Там что-то связано с адреналином. Боль, слепящая зверская боль, концентрировалась в правой лодыжке и растекалась вверх по ноге. Без сомнения, там не осталось ни одной целой кости. Я высвободил руку, на ощупь зачерпнул снег, сунул в рот.

Мысли, даже не мысли, а какие-то обрывки, скакали в моем мозгу, я был на грани паники. Сердце колотилось где-то в горле, я попытался глубоко вдохнуть, но не смог – мешали дрова. Я был завален дровами. Волна ужаса накатила на меня, парализуя мозг и волю – а вдруг я повредил позвоночник? Это хуже смерти! Я дернулся, дрова не пускали, я попытался привстать – лодыжка взорвалась болью, я взвыл и снова провалился во тьму.

16

– Эй...

Из тьмы выплыло серое пятно, постепенно пятно сфокусировалось и превратилось в лицо.

– Эй... – повторила Холли растерянно. – Ты что?

– Да вот, за дровами, понимаешь... – вышло у меня беспомощно тихо. – За дровами сходил.

– А я сижу. А тебя нет и нет. Нет и нет.

Она облизнула губы, я видел, как дергается ее подбородок.

– Ничего, – прошептал я. – Бывает.

– А я сижу. – Она точно не слышала меня. – А ты тут...

– А я тут... Ты можешь эти дрова... Давят.

Она торопливо начала раскидывать поленья. Дышать стало легче, я сунул в рот пригоршню снега, начал жевать.

– Холли, – позвал я.

– Что? – Она тут же снова склонилась надо мной.

– У меня там с ногой... С ногой какая-то хреновина.

– Хреновина? Какая, какая хреновина?

– Перелом, я боюсь...

Она закусила губу и часто задышала, мне показалось, что она сейчас начнет реветь.

– Может, и нет, – не очень уверенно сказал я. – Осторожней там, в общем, ладно?

Боль не утихла, она изменилась качественно – из огненно-белой она перешла в желто-оранжевый спектр, ближе к красному. Там, в районе ступни, наливалось тягучим жаром и зрело что-то недоброе.

– Почему без шапки? – спросил я. – Простынешь. Без шапки.

– Что? Ты встать можешь? – Холли торопливо откидывала поленья, они падали, стучались друг о друга с веселым звуком, как бильярдные шары.

Я поднялся на локте, медленно согнув здоровую ногу, попытался сесть. Боль тут же взорвалась. Я замычал, впился зубами в мякоть щеки. Во рту стало солоно, я хотел сплюнуть, но, взглянув на настороженную Холли, передумал.

– Ну? – Она нервно топталась вокруг меня, не зная, чем помочь. – Не можешь?

– погоди, погоди... – Я неуклюже перевалился на бок. – Дай мне вон ту палку. Пожалуйста.

Опираясь на сук, мне удалось сесть.

– Вот видишь. – Я попытался улыбнуться. – Все хорошо.

Очевидно, с моей улыбкой вышло что-то не так – Холли всхлипнула и заревела.

– Ты что, ты что? – торопливо запричитал я. – Что такое? Ну что ты...

– А зачем... зачем... – вместе со всхлипами выдавила она. – Зачем ты так улыбаешься...

Так вот говоришь – все хорошо, все хорошо. В кино так вот улыбаются, которые непременно в конце погибнут. Они там – все хорошо, все о'кей, а под конец бац! И все!

Холли заревела еще пуще, а мне отчего-то стало смешно. Я сплюнул на снег.

– Кровь! – Холли отпрянула. – Это кровь?

– Я щеку прикусил...

– Ну зачем ты врешь?! – вскричала она с убедительной интонацией взрослой женщины. – Я что тебе – дура? У тебя там внутри, там все переломано, все...

– Кончай истерику! – неожиданно звонко крикнул я. – Если ты не дура и не сопливая девчонка, то немедленно кончай истерику! Тебе, может, еще придется меня на своем горбу тащить. Выносить как раненого. С поля боя.

– С какого боя? – Она шмыгнула и перестала реветь. – Какого поля?

– Как медсестра. С поля боя.

17

До хижины мы все-таки добрались. Холли тянула меня за воротник, толкала сзади, я рычал, матерился, впивался пальцами в промерзшую землю. И полз. Сук, который мы приспособили как костыль, скорее мешал, но я упорно не выбрасывал его, а тащил за собой. Мы ковыляли, падали, пару раз я терял сознание. Ступеньки крыльца показались мне почти Монбланом. В избе, рухнув на пол, я в изнеможении раскинул руки. Огонь в печи погас, малиновые угли, мирно потрескивая, умирали в топке.

– Холли, – выдохнул я. – Дрова...

– Нет. Сначала давай с ногой... разберемся.

С ногой дела обстояли скверно – лодыжку разнесло так, что мне с трудом удалось задрать штанину. Опухоль поднималась по голени до самого колена. Боль (теперь она виделась мне в ядрено-багровом цвете) заматерела и туго пульсировала по всей ноге. Я расшнуровал ботинок, но решил не снимать – было ясно, что обратно натянуть его не удастся.

– Дрова, – повторил я, бережно вытягивая распухшую ногу.

– Какие, к черту, дрова?! – Холли вскочила, до этого она сидела на корточках и с ужасом разглядывала мою изувеченную конечность. – В больницу надо!

Она пнула скамейку, сжав кулаки, быстро прошла из угла в угол. Места тут было мало, поэтому все это могло бы выглядеть комично, если бы не наши скорбные обстоятельства. Девчонка, безусловно, была права, права по существу – мне тут же вспомнилась история из детской книжки про летчика Маресьева, потерявшего таким же макаром обе ступни. Жуткое слово «гангрена» выползло из закоулков сознания. Сердце встрепенулось и испуганно заколотилось. Я прижал ладонь ко лбу – лоб пылал.

– Что? – Холли заметила жест. – Жар? У тебя жар?

Я убрал руку, покачал головой. Попытался улыбнуться.

– У тебя жар! – жестко констатировала она. – У тебя идет кровь изо рта. У тебя там все переломано. Кости и внутренности. У тебя может начаться гангрена.

– Какая гангрена? Откуда ты вообще такое слово знаешь?

– Неважно. В школе читали.

– Про Маресьева? – изумился я.

– Кто такой Ма... ма?..

– Летчик.

– Ты бредишь? Какой, к черту, летчик?

– Не смей чертыхаться.
– Черт! Черт-черт-черт! Чертовский чертыка черт!
– Замолчи!
– Сам замолчи! И не указывай мне! Кто ты такой, чтоб указывать тут? Кто?
Я растерялся.
– Вот так! – с триумфом выпалила Холли. – Ты – никто. Посторонний. Переходный вариант.
– Что? – Я ничего не понимал. – Какой вариант?
– Переходный!
Как полный идиот, я изумленно проблеял:
– Как это? Что это вообще...
– Переходный. Для акклиматизации после развода, – бесстрастно произнесла пигалица. – Матери после развода нужно в норму прийти, для этого требуется переходный вариант. Ну а потом она нормального мужика себе найдет.
– Акклиматизация? Что ты несешь?
– Ничего не несу. Она сама так сказала.
– Это мать сказала... тебе? – Я сделал нажим на последнем слове.
– Ну... не мне, – глядя вбок, ответила Холли. – Она с Кэрол говорила, я подслушала. Они на кухне сидели...

Я замотал головой, она осеклась и замолчала. Закрыв лицо ладонями – в черноте, подобно неоновой рекламе, звонко вспыхнула аметистовая надпись «переходный вариант». Я заскрипел зубами – вот ведь крашенная кукла, переходный вариант! Вот ведь тварь! В ноге, отдаваясь эхом по всему телу, пульсировала тягучая боль. Боль поползла уже до колена и угнездилась там под коленной чашечкой. Неужели гангрена? Вот ведь сволочи! Точно, гангрена!

Я снова откинулся на спину, громко ударившись затылком в пол. С детским злорадством подумал, что скоро умру и что им всем будет очень стыдно.

18

– Дядя Алекс? – Холли подала голос.
– Какой я тебе дядя? Просто Алекс. Ненавижу, ты ведь знаешь, ненавижу, когда...
– А мама мне запрещает...
– Плевать я хотел на твою маму! – взорвался я. – Понятно?
– Понятно.
– Что понятно?
– Все понятно! Плевать на маму. Не дядя. Просто Алекс.
– Вот так, – успокаиваясь, проворчал я. – Вот так.
Мне стало неловко за свое малодушие, за свою бабью истерику, тем более девчонка вовсе была не виновата, что я, дурак, связался с ее мамашей. Хотя если откровенно, то «переходный вариант» здорово царапнул мое самолюбие. Как она сказала – пока не найдет нормального мужика. Нормального мужика, вот ведь дрянь! Да еще смеет обсуждать меня с какой-то Кэрол. Кто вообще эта чертова Кэрол?
– Дрова принеси, – буркнул я.
– Нет, – тут же отозвалась Холли, хмуро добавила: – Нужно ехать в больницу.
– Опять двадцать пять! В больницу! Упрямая – вся в мамашу!
– Не в мамашу, а сама по себе!
– Холли, – я постарался говорить спокойно, – в баке бензина на доньшке, к тому же дохлый аккумулятор, машина просто не заведется. А даже если случится чудо и мы запустим мотор...

– Мы непременно запустим мотор! – с энтузиазмом перебила меня Холли.

– Даже. Если. Запустим, – повторил я отдельно. – Мы на краю света, в дремучем лесу.

Тут никого нет. Ни-ко-го.

– Вот именно – никого! Поэтому нам отсюда надо вы-би-рать-ся. – Она передразнила меня и уперла руки в бедра.

– Тут печка и дрова! – возразил я. – Тут тепло! – Я ткнул рукой в сторону двери. – Там холод! Дикий холод!

– Ага! Какой умный, а? Дрова и печка! Тут еще твоя дурацкая нога с гангреной...

– Откуда вообще ты про эту гангрену взяла?

– В школе, я ж тебе говорила. Рассказ читали про экспедицию Льюиса и Кларка, там проводник у них один, индеец, он ногу сломал. В Аппалачах, что ли. Вот как ты...

Я притих, этой истории я не знал. Очевидно, там все кончилось гораздо хуже, чем в моем рассказе про летчика. Летчику приделали деревянные ноги, и он после летал на самолете и запросто плясал гопака. Или какой-то еще народный танец.

– Холли, пойми, наш шанс найти людей, – я приподнялся на локте и посмотрел ей в глаза, – наш шанс, он очень, очень... невелик. Ну, может, один из ста. Один, понимаешь? Из ста.

Она выдержала мой взгляд и спокойно ответила:

– Тут этот шанс равен нулю.

Что ни говори, а для своих двенадцати лет Холли была на редкость толковой девчонкой.

19

Когда мы доковыляли до машины, у меня начался жар. Я ел снег и сипло дышал ртом, шапка где-то потерялась, с меня градом лил пот. Мысли напоминали моток спутанной лески – стоило потащить за одну, тут же тянулся весь пук. Я распахнул дверь, рухнул на сиденье, кое-как втащил ногу. Она ощущалась огромной, гораздо больше меня. Я превратился в какой-то придаток к распухшей, пульсирующей глухим жаром, капризной гадине. Я ненавидел свою ногу.

Холли уселась за руль, захлопнула дверь.

– Говори, что тут надо крутить?

Я в отчаянии застонал – она ж не умеет водить машину. Господи, как я забыл – она ведь не умеет водить машину!

– Где тут включается? – Холли стала тыкать во все кнопки подряд.

Включилось радио, из динамиков донеслось унылое шипение.

– Погоди. – Я выключил приемник. – Вот ключ. Это зажигание. Давай я попробую завести.

Она пожала плечами. Я повернул ключ. Стартер с хрипом провернулся, раз, другой, свет приборного щитка стал меркнуть и погас.

– Ну? – Холли требовательно стукнула по баранке.

– Дохлый номер. – Я откинулся на сиденье. – Аккумулятору капут.

– Что такое капут?

– Неважно, – отмахнулся я. – Движок не заведется.

– Заведется! Дай я. – Она взялась за ключ. – Куда крутить?

– От себя. Только все равно...

– Замолчи! И перестань посылать негативные импульсы. – Она повернулась ко мне. – Это все твой дурацкий русский пессимизм, твой деструктивный негативизм, твое нежелание...

– О-о! Что-то слышится родное! – Я хотел расхохотаться, но вышло жалкое кудахтанье. – Ты еще скажи – как права была моя мама!

– Да, права! Насчет негативных импульсов – на сто процентов!

Я неловко повернулся, боль в ноге взорвалась. Сжав зубы, я медленно откинулся и вжался спиной в кресло. Стекла в машине запотели, я зло провел пальцем по окну и уставился в черную дырку.

– Вот и молчи... – проворчала Холли. – Вот и не мешай.

– Не мешай? – буркнул я. – Чему?

– Концентрации моей позитивной энергии.

– А-а, вот оно что. Вы физику еще не изучаете? – ядовито спросил я.

– Через год.

– Понятно. В физике есть такой раздел – электричество называется, так вот там как раз про это все написано, про плотность электролита, про медные пластины...

– Эй, але! Кончай мешать, а? Ты ж сам видел, как я свет погасила. – Она щелкнула пальцами перед моим носом. – Раз – и свет погас! Ведь видел же сам, а теперь сидит как дурак и мешает людям.

Я действительно почувствовал себя полным дураком. Холли отвернулась от меня и уставилась в тусклый щиток приборов. Я слышал, как она сопит, концентрируя свою позитивную энергию, видел ее нахмуренный профиль на фоне мутного стекла. Подумал, что сейчас снова придется ковылять в чертову избу, что угли в печи остыли, что придется заново разводить огонь. Холли медленно протянула руку к ключу. Повернула. Стартер закричал, повернулся раз, второй – уже медленнее, издыхая. Тут двигатель фыркнул, точно спросонья. Фыркнул и завелся.

Я остолбенел. Потом восторженно заорал – произвольно. Холли высокомерно взглянула на меня, процедила:

– Физика, понимаешь...

20

Управление машиной она освоила быстро, впрочем, полноценной ездой я бы это не назвал – мы ползли со скоростью десяти миль в час. После чуда со стартером Холли присвоила себе права начальника экспедиции и со мной обращалась пренебрежительно – точно я был малым ребенком или тяжелобольным пациентом. Что отчасти было верно.

– Рулем не крути без дела, – посоветовал я.

– Это я тренируюсь. А ты молчи. Тебе силы надо беречь.

Беречь там уже было нечего. Меня почти одновременно то знобило, то бросало в жар. Страшно хотелось пить. Я опустил окно, сгреб в ладонь снег с крыши. Сунул в рот. С обеих сторон к дороге подступал хвойный лес, черный угрюмый лес без конца и без края.

– Окно закрой, – не поворачиваясь, сказала Холли, тихо добавила: – Пожалуйста.

– А что мы в потемках едем? – Я закрыл окно. – У тебя только подфарники горят.

– В смысле?

– Я понимаю, движение тут не очень оживленное, но все-таки... Вон там, видишь рычаг такой, покрути его. Нет, это дворники. Вон тот.

Холли перепробовала все рычаги, нашла нужный. Включила ближний свет, потом дальний, добавила противотуманные фары. Снег на дороге ослепительно вспыхнул, темные ели отодвинулись, лес стал плоским, как декорация к третьему акту «Лебединого озера».

– Ух ты – во бьет! Просто супер! Скажи – светло как днем.

Я закрыл глаза. Ломило спину, здоровая нога затекла, я попытался сползти ниже. Вроде получилось. Неловко вывернул хворую ногу – от боли чуть не взвыл. Эта чертова боль окончательно вымотала меня. Я подумал, что так худо мне еще никогда не было.

– Машина! – заорала Холли. – Гляди, гляди!

Я испуганно дернулся, открыл глаза.

– Где?

– Вот же! – она тыкала пальцем в ветровое стекло. – Следы!

На дороге в ярком свете фар был отчетливо виден след протектора. Колея казалась совсем свежей.

– Я ж говорила! Говорила! – Холли издала победный возглас и быстро забарабанила кулаками по баранке.

– Как же мы их не слышали? – спросил я, спросил самого себя.

– Как, как, – радостно отозвалась Холли. – Может, они проезжали, когда ты там под дровами отдышал? Может, не слышали мы их! Какая разница?

Она весело крутанула руль, «Кадиллак» пошел юзом, я ухватил баранку, пытаюсь выровнять машину. Хотел крикнуть – только не тормози, но не успел. Холли впечатала педаль в пол, наш «Кадиллак» понесло, сделав плавный пируэт, он мягко воткнулся в сугроб.

Холли испуганно повернулась ко мне.

– Я ж ничего... вообще ничего, – растерянно проговорила она. – Она, что, взбесилась?

– Не взбесилась. Ты тормозом заблокировала колеса, и мы потеряли управление.

– Фига себе... Как на катке, вообще.

Нос «Кадиллака» зарылся в снег, из-за яркого света фар сугроб сиял изнутри таинственным, почти волшебным, светом. Над сугробом нависали черные ели.

– Ладно, – сказал я. – Заводи мотор. Тогда выбрались, выберемся и сейчас.

Выбраться на этот раз оказалось непросто. От меня было мало проку, поначалу я лез с советами – не газуй, подай назад. Заметив злой взгляд, умолк. Холли вышла из машины, влезла по пояс в сугроб, начала руками разгребать снег. Толку в этом не было, но я промолчал. Мотор продолжал тихо ворчать, сжирая остатки топлива. Стрелка уже прислонилась к нулю, я ждал, что вот-вот вспыхнет красная лампочка. Она тут же и зажглась.

Холли притащила еловых веток, начала совать их под колеса.

– Да не под эти! – не выдержав, крикнул я в окно. – Ведущие вон те.

Холли сердито взглянула на меня, но послушалась. Румяная и потная, села за руль, ни слова не говоря, включила заднюю передачу.

– Ты только не... – начал я и осекся, так она зыркнула на меня.

Поставила руль прямо, осторожно тронула педаль газа. «Кадиллак» чуть подался назад, Холли, сосредоточенно глядя перед собой, медленно утопила педаль. Колеса взвыли, беспомощно прокручиваясь в снегу. Я уже хотел сказать, что так мы вообще зароемся по брюхо, но в этот момент машина снова качнулась и медленно выбралась на дорогу.

Холли на меня даже не посмотрела. Уверенно вывернула руль, включила передачу. В свете фар показался след таинственной машины. Мы медленно покатали по середине дороги.

– Что это за красная лампочка? – спросила Холли. – Раньше такой не было.

21

Мне становилось все хуже, пару раз я соскальзывал в полноценный бред, с убедительными галлюцинациями и весьма качественным отключением от реальности. Мои веки наливались жаркой тяжестью и опускались сами. В красноватой темноте всплывали фрагменты неясных видений, в мозгу ворочались обрывки мыслей. Я еще продолжал слышать пыхтенье мотора, но постепенно и этот звук вплетался в параллельную реальность, творимую моим подсознанием.

Мне слышался шум ленивых волн. Я шагал в полосе прибоя, ступая босыми ногами по упругому мокрому песку. Справа мерно раскачивался неповоротливый океан мутно-оливкового цвета. Впрочем, это могло быть и море, пейзаж одновременно напоминал пустынные при-

города Скарборо и Азовскую косу где-нибудь под Бердянском. Недавно прошел дождь, пряткий летний дождь. В воздухе, теплом и неподвижном, стоял горьковатый дух водорослей и соли.

Попадались крупные ракушки, похожие на неудачные гипсовые слепки. Мелкие крабы, прозрачные, будто сделанные из молочного стекла, суетливо прятались в мокрый песок. Слева начинались серые дюны. Там, на взгорье, среди серебристой, припорошенной солью травы, стояла Лариса. Я не мог вспомнить ее лица, а может, не хотел, – вполне возможно, тут срабатывал какой-то защитный психологический механизм. Лариса стояла спиной, но я точно знал, что это она.

Дальше происходил разговор, вернее, монолог, который прокручивался в моем мозгу тысячи раз. Наяву и в ночных кошмарах. Вопросы, вопросы. Одни и те же вопросы. Мог ли я что-то сделать? Мог ли что-то изменить? И главное – за что? За что?

Она никогда не отвечала, не ответила и на этот раз.

22

– Дядя Алекс!

Я вздрогнул, слегка оттолкнулся от влажного песка и нехотя выплыл в тягучую боль и смертельную усталость. Открыл глаза. В свете фар увидел дверь амбара, перед амбаром на перекладине висел колокол.

– Совиная гора... – простонал я, – ...мать твою, Совиная гора.

– Как это? – пробормотала Холли. – Я думала, что мы...

Она растерянно облизнула губы и повернулась ко мне.

– Выходит, это наши следы. Не было никакой машины. Это наши следы. Мы просто ехали обратно...

Мне очень хотелось сказать ей что-нибудь обнадеживающее – что все будет хорошо, что мы найдем выход. Найдем людей. Что они нас спасут. Я протянул руку, провел пальцами по ее щеке. Она посмотрела мне в глаза. Мои слова застряли в горле, я выдавил какой-то сиплый звук. Холли быстро замотала головой. Я замолчал. Ее лицо стало некрасивым, взрослым – гримаса усталости пополам с досадой. В этот момент мотор поперхнулся, фыркнул и замолк.

Повисла тишина.

Если бы я был один, скорее всего, именно в этот момент я бы сдался. Существует предел, эмоциональный, физический, не знаю еще какой, за которым наступает апатия. Наступает бессилие, наступает конец. И это не твой выбор, это почти физический закон. Как закон тяготения. Яблоко падает вниз. Вода замерзает при температуре ниже нуля. Мотор не может работать без горючего.

Если бы я был один, я бы закрыл глаза и попытался припомнить какую-нибудь молитву, а поскольку я никогда не молился и не знал ни одной, то, наверное, пришлось бы придумать свою. Господи, милостивый Боже, прости мне грехи, не со зла содеянные, а токмо по дури моей природной. Прости мне лень и уныние, ярость беспричинную, прости похоть без любви, любовь без доброты, прости, что я не верил в Тебя. Прости меня и переведи в мир иной без мук и страданий. Переведи плавно и нежно, пошли мне сон и покой, ибо тело мое истерзано, а душа моя пуста.

Если бы я был один...

– Ты думаешь, это больно? – глухо спросила Холли, на бледной шее снова проступала голубая жилка. – Или будто уснешь?

Голубая жилка, такая беззащитная, Господи, такая детская – как же так, Господи, как же так? Зачем Ты делаешь это? Какой смысл? Почему все так безнадежно? Ну возьми меня, черт

со мной, нелепым и бестолковым старым дураком, – возьми, если тебе так уж хочется, возьми меня! Но оставь ее, пощади ее, пусть она живет.

Словно Тот, кого я молил, услышал меня – Он решил показать мне будущее. Совершенно ясно я увидел мутное утро, черный лес, дорогу, амбар, колокол. Поперек дороги «Кадиллак», седой от инея. Солнца не было, иней не блестел и был похож на пепел. Стекла были в ледяных узорах, нежных как кружево. Я увидел ее лицо, белое лицо с серыми губами. Иней на ресницах. Вокруг мертвой машины, осторожно приседая и царапая железо когтями, кружили волки – пять, шесть волков. Они кружили, точно в танце, принохивались и снова царапали железо. Я даже услышал этот звук, противный, как ножом о тарелку.

– Дядя Алекс!

Видение исчезло, я открыл глаза. Снова была ночь, безнадежная и бесконечная ночь.

– Что это? – шепотом спросила Холли, прислушиваясь. – Ты слышал?

Я не слышал ничего, кроме пульсирующей боли в моей ноге, моем теле, моем мозгу.

– Вот же! – Она настороженно подняла указательный палец.

Теперь я услышал. Едва различимый, похожий на пение ветра, унылый протяжный звук.

– Кто это? – шепотом спросила она.

Вой плыл над лесом, над белой дорогой, над мягкими толстыми сугробами на обочине.

– Это собаки, – твердо сказал я. – Значит, где-то рядом люди, может, деревня или поселок. Или охотники.

Она недоверчиво посмотрела на меня, снова прислушалась к вою. Хотела что-то сказать, но я перебил ее.

– У меня есть план. – Я говорил быстро, так быстро, чтобы она не могла вставить и слово. – План такой: ты сидишь в машине, я буду звонить в колокол. Буду звонить, пока не придет помощь. Ты сидишь в машине, поняла? Что бы ни случилось – ты не выходишь из машины!

– А что может случиться?

– Ничего! Ты сидишь в машине – и все! Ясно?

Она чуть опешила от моего напора, растерянно кивнула.

– Ясно... Но ведь я тоже могу звонить. И потом, у тебя нога...

– Нога почти не болит. Нога гораздо лучше.

Она мне не верила. Я подмигнул, попытался улыбнуться. Распахнул дверь, стиснув зубы, вывалился на дорогу. Боль оглушила меня, в глазах стало бело. Я замычал, опираясь на здоровое колено, вцепился в дверь и попытался подняться.

– Дай мне костыль, – выдавил я. – Сзади он.

Холли, не сводя с меня испуганных глаз, протянула мне сук.

– Может... – начала она.

– Нет! – отрезал я. – Сидишь в машине! Что бы ни случилось!

Я от души грохнул дверью и заковылял к колоколу.

23

Первый удар колокола оглушил меня. Оглушил буквально. Словно меня огрели по голове гигантским плюшевым молотом. Тугой круглый звук обрушился, накрыл, как мощная волна, накрыл с головой. Темные ели в синих шапках мягко вздрогнули, вздрогнули звезды на глухом бархате, точно кто-то, ухватив концы, тряхнул ночное небо, как фиолетовую простыню. Дрогнула хвора луна. Дрогнула и снова испуганно нырнула в косматую муть облаков.

Я ударил снова. Второй удар показался почти беззвучным, тупой звук долетел словно через подушку. Я ударил еще раз и поскользнулся. Мне удалось удержаться.

Главное – не упасть, главное – устоять на ногах, приказал я себе. Если упаду, сил подняться не будет. Гул колокола тихо таял где-то в ледяном небе, плутал эхом среди черных стволов непроглядной чащи. Звук покорно умер, повисла тишина. В этой кристальной тишине я снова услышал вой, теперь гораздо ближе. Одному, сиплому (вожаку – решил я), голосу вторили несколько в высоком регистре. Я оглянулся, к окну «Кадиллака» прилипла ладошка, лицо за стеклом белело мутным пятном. Нет, нет – отчаянно замотал я головой – не выходи, только не выходи из машины! Внезапно я ощутил, что однажды уже переживал что-то похожее, что все это уже было – и глухой звериный страх, и адская боль, и абсолютная безысходность.

– Сволочи... – прохрипел я непонятно кому. – Не выйдет... ничего у вас не выйдет!

Я упер здоровую ногу в снег и изо всех сил ударил в колокол. Изо всех сил? Нет, не сил – их не было, осталась лишь злоба. Я почти исчез, почти перестал существовать. Я пересек черту, за которой была полная свобода – мне было плевать на себя. На себе я поставил крест, и сам черт был мне не брат. Я вспомнил про берсерков, про этих неистовых воинов, что яростно бросались на врага, не чувствуя ран, не чувствуя боли. Бог Один делал их сильнее медведей и быков, ярость берсерка была несокрушима, его нельзя было взять ни огнем, ни мечом. Берсерк был неукротим – как ураган, как молния, как ревущий водопад. Я сам стал берсерком.

– Ну давай, давай! – рычал я в темноту, гремя колоколом. – Давай!

Мне мерещились красные глаза в чаще, глаза приближались. Я стоял прямо под черным зевом ревущего колокола, оглушенный, яростный и свободный. Я орал в небо, в Млечный Путь, я матерился, я богохульствовал.

– Убей меня! – орал я Ему. – Убей, казни! Тебе не привыкать, это ремесло ты освоил! Распни, как позволил распять сына своего! Залей кипящей серой, как ты залил Содом и Гоморру! Утопи! Что там у Тебя еще в запасе? Какие смертные кары, какие истязания?

Я сошел с ума, и я упивался своим безумием. Я хохотал, я был свободен, я был счастлив.

– Волки? – хрипел я, к тому моменту голос я сорвал окончательно и мог издавать лишь какие-то совсем уж звериные вопли. – Где Твои волки? Давай их сюда! Давай! Посмотрим, на что они годны, эти паршивые волки!

Церковь учит нас, что Бог всемогущ, что Он вездесущ. До сегодняшней ночи эти постулаты не очень интересовали меня, я не то чтобы подвергал их сомнению, мне казалось не совсем рациональным, что Бог на самом деле найдет время и желание следить за каждым из нас изо дня в день, круглые сутки напролет. Если бы я был всемогущ, то точно порекомендовал такую нудную заботу каким-нибудь проштравившимся херувимам из департамента внешних сношений.

Как же я заблуждался. Мое безобразное поведение было не только оперативно замечено, меры последовали незамедлительно. На грани обморока я продолжал взывать к справедливости, ругался, корил и снова угрожал.

– Но девчонку не тронь! – закоченевшим кулаком грозил я щербатой луне. – Не смей! Она тут ни при чем. Я один! Только я!

В этот момент по снежным макушкам елей полыхнуло багровым, одновременно над лесом пронесся утробный рев. Этот жуткий звук заглушил гром колокола, казалось, какое-то адское чудовище пробудилось и выбирается из-под земли, из самой преисподней. Рев повторился, громче и яростней, снова полыхнуло багровым, – внезапно я понял, то, чего не понимал, и то, что лежало на виду: отчего Холли испугалась колокола, отчего меня самого пробил озноб от одного вида этого места, отчего место зовется «Совиная гора». Совиная! Ведь по преданию индейцев-ирокезов, которые когда-то жили на этих землях, именно в образе совы – Белой Птицы Ночи «Дахе-ти-хи» является смерть за человеком.

Багряное зарево нарастало. Оно растекалось по небу, ширилось, заливая малиновым сиропом звезды и щербатую луну. Из-за макушек елей, из-за черного и плоского леса, взметнулись два крыла. Белых, как языки пламени, они взметнулись, точно сияние. В этом слепя-

щем огне исчезла дорога, пропал, будто растаял, «Кадиллак». Лес, беспомощно качнувшись, начал бледнеть. Бледнеть и таять.

Я упал в снег. Наверное, я кричал – не помню. Наверное, плакал. Я сделал все, что мог, последняя мысль была именно об этом. Я не думал о смерти, не думал о себе. Как я уже сказал – на себе я поставил крест.

24

У смерти есть запах, не может не быть. Моя смерть пахла ванильным мороженым – это открытие удивило меня, впрочем, не сильно. Отсутствие достоверной информации о данном весьма распространенном явлении подготовило меня к неожиданностям. Даже к запаху ванили.

Я был невесом, усталость и боль превратились в тягучее чарующее забытье. Вроде после-полуденного сна, следующего за буйным гульбищем вроде лихой встречи Нового года или разудалой свадьбой близкой подруги. Вроде сна в гамаке на дачной веранде, но без мух и соседских собак.

Там, где когда-то был мозг, неспешными колокольцами позванивала какая-то мелодия из трех нот, незатейливая, что-то в си-мажоре. Будто кто-то перебирал мелочь в кармане. Мелодия плыла, плыл и я. Плыл неведомо куда, вдыхал ванильную сладость и улыбался. Я понял – для улыбки не нужны губы, даже голова тут ни при чем, я улыбался своим существом, своей душой, или что там у меня было вместо нее. Я любовался своей аурой, дымчатой и грустной, как запах умирающей сирени.

Мир струился сквозь меня. Мир состоял из света, лучистого ясного света. Свет сгустился, он не стал темней, просто стал плотней. Так бывает с туманом под утро. Еще до того, как сквозь туман проступила фигура, я уже знал, кто это.

– Ла-ри-са, – пропели колокольцы. – Ла-ри-са.

От нее тоже пахло ванилью, холодным сливочным пломбиром, какой мы после школы покупали в ларьке у станции метро на Таганской площади. Она наклонилась и приложила ледяные губы к тому месту, где когда-то был мой лоб.

– А температуры-то уже нет, – констатировала она. – Очухался.

Что-то тут не так, подумал я и приоткрыл глаза.

Проявилось лицо Холли. За ней я увидел желтоватую побелку невысокого потолка, стену цвета овсяной каши. На стене, на мутном подсвеченном экране, висели рентгеновские снимки – ступня, грудная клетка, снова ступня. Наверное, мои. Я попытался отыскать на снимках переломанные кости, но все выглядело более или менее целым. Впрочем, я не доктор и мог ошибаться.

Окон в комнате не было. На белой двери чуть криво висел календарь, забытый на августе прошлого года. С цветного фото календаря улыбался добрый тигр, похожий на сытого рыжего кота. В углу сгрудились какие-то неинтересные приборы, железные, похожие на допотопные компьютеры. От них куда-то тянулись синие и черные электрические шнуры. Один из приборов изредка мигал изумрудным огоньком и подавал голос – пипикал, робко, как микроволновка. На его крышке в терракотовом горшке томился чахлый кактус, лысый и бурый, как семенной огурец.

К штативу с железным крюком был прилажен прозрачный мешок с какой-то жидкостью, из него выходила тонкая трубка, которая заканчивалась иглой, воткнутой мне в руку. На указательном пальце торчала пластмассовая прищепка с проводом, еще несколько проводов выглядывали из-под простыни.

– Очухался, – удовлетворенно повторила Холли.

Она сидела на высоком табурете и напоминала некрупную птицу. Она сидела, чуть подавшись вперед, и ела мороженое. Выковыривала столовой ложкой из картонной упаковки и отправляла в рот. После облизывала ложку с двух сторон. Язык у нее был на редкость длинным.

– Что это? – Я указал глазами на капельницу. – Где мы?

Слова получились невнятными, точно у меня был дефект речи, губы не слушались и разъезжались сами собой. Мне стало смешно. Со мной что-то было не так, но я не мог понять, что именно. Боль исчезла, да и вообще я не ощущал своего тела, но, как ни странно, настроение у меня было вполне приличное. Наверное, я даже улыбался. Скорее всего, улыбка была глупой – лица своего я тоже не чувствовал.

– Целую ампулу морфия тебе вогнали. Вон там, видишь. – Она облизала ложку и ткнула в сторону капельницы. – Крантик вон там. Они открутили и шприцем туда зафигачили. Целую ампулу.

Кое-что прояснилось – причина приподнятого настроения уж точно. Мои эксперименты с наркотиками ограничивались травой, редко и, как правило, за компанию. Ничем более серьезным я не злоупотреблял. А может, и зря – появилась в голове бесшабашная мысль. Морфий начинал мне нравиться все больше и больше.

– Где мы? – старательно выговаривая буквы, произнес я.

Она недоверчиво посмотрела на меня, прикидывая, не валяю ли я дурака.

– Как мы... – я старался избегать длинных слов, – попали... сюда?

– Ты что, вообще ничего не помнишь? – Холли выпучила глаза. – Вообще? И как с пожарниками дрался?

Нет, я не помнил ничего. Особенно как я дрался с пожарниками.

– Ты упал. – Она зачерпнула полную ложку мороженого. – Еще до того как пожарные машины приехали. Пожарные машины помнишь?

Я отрицательно мотнул головой.

– Во дает! – восхищенно проговорила Холли куда-то в сторону – так театральные актеры бросают реплику в зал. – Не помнит!

Она с удовольствием сунула мороженое в рот.

– С огнями, с сиренами – такой тарарам, ты чего! Ты до этого долбил в колокол, а после упал. Они выскочили, а ты кричал, дрался. Умора. Неужели не помнишь?

«Сливочная ваниль», – прочитал я на картонке. Мороженое было местным, вермонтским, компании «Бен и Джерри». Судя по скребущим звукам, Холли добралась до дна полукилограммового ведерка.

– Это больница? – вполне внятно удалось спросить мне.

– Типа. Кстати, у тебя там был дикий вывих, ы-ы! – Она брезгливо передернула плечами и скривила рот. – Я видела. Нога просто шиворот-навыворот была – жуть!

– Кости целы? – недоверчиво спросил я, ноги своей я просто не чувствовал.

– Ага. Самое смешное, что этот поселок всего в пяти минутах от нашей избушки, ну, в смысле, где печка была. Где на тебя дрова рухнули... Это-то ты помнишь?

Я кивнул глазами – это-то я помнил отчетливо. Холли притихла, посмотрела на меня оценивающе, точно прикидывая, стоит ли говорить мне (в нынешнем моем состоянии) что-то важное. Я вопросительно взглянул на нее. Она облизнула ложку и почесала ей переносицу.

– Пока ты под наркозом был... – начала она медленно, словно разгоняясь – так дети готовятся к прыжку в пруд. – Я тут кое-что решила. Про нас.

Я насторожился.

– Три пункта, – провозгласила она, выставив три пальца. – Три.

Я насторожился еще больше: мне был знаком и этот тон, и эти «пункты», и эти три пальца – большой, указательный и средний.

– Пункт первый. – Холли оттопырила большой палец. – Ты завязываешь с моей мамашей. Прямо сейчас и прямо сразу.

Против этого пункта я не возражал. Холли, прищурясь, поглядела на меня и продолжила.

– Второй, – выставила палец указательный. – Заканчиваешь со своей дурацкой журналистикой и начинаешь писать сценарии. Та история, про этого вурдалака хорватского...

– Польского...

– Какая, хрен, разница – польского, турецкого, короче, та история просто суперская, я тебе серьезно говорю, Голливуд в полный рост и все дела! В миллиард раз лучше «Вампирских дневников» и «Сумеречной саги». Да и всего прочего фуфла на эту тему.

– Спасибо, – скромно вставил я. – А зачем в Голливуд?

– Ну ты наив! Вся зелень стрижется там, в Эл-Эй. – Название города она пропела, постукала ложкой по лбу. – Ку-ку, соображать надо!

– И в-третьих? – Я подозревал, что главное блюдо будет подано на десерт. И не ошибся.

– Мы с тобой поженимся. – Она выставил средний палец. – И это три.

Пункт номер три ошарашил меня, наверное, это все-таки проявилось на моем немом лице. Холли, соскочив с табурета, приблизилась ко мне.

– Не сейчас, – успокоила она меня. – Через три с половиной года. В Калифорнии можно выходить замуж в шестнадцать лет. За это время ты станешь знаменитым и дико богатым. Мы купим особняк в Беверли-Хиллз, такой белый с черепичной крышей, с бассейном, разумеется. Мне жутко нравятся эти их черепичные крыши, они такие оранжевые на фоне синего неба – отпад просто.

Она хозяйской рукой поправила волосы у меня на лбу, точно я был большой куклой.

– Мороженого хочешь? – спросила.

– Конечно, раньше могла бы догадаться.

– Не бухти. – Она, выставив кончик языка, приблизила ложку с мороженым к моим губам. – Только без слюней, пожалуйста.

– Постараюсь. – Я проглотил мороженое, ничего вкуснее я в жизни не ел. – Еще можно?

– Конечно! – Она зачерпнула еще. – Конечно! Тут его пропасть, этого мороженого! Ешь сколько влезет, и все бесплатно, целых шесть тонн.

– Где тут?

– Да там! – Она мотнула головой в сторону двери с тигром. – За лазаретом, в сарае. Вчера грузовик перевернулся, вез мороженое с фабрики. Пожарники весь день это мороженое собирали, складывали... Там, в сарае, битком, под самую крышу. Бери – не хочу. Они говорят, хорошо, что медведи спят, а то бы все тут были...

Она улыбнулась, протянула мне ложку. На полпути задержала руку, строго посмотрела.

– Только, пожалуйста, без...

– Без слюней, – уверил я Холли и послушно открыл рот.

Сахарная мельница

Я сделал шаг в сторону, вонзил лопату в землю. Поддел дерн. Запахло травой – сочной, майской, словно кто-то постриг газон. Я поддевал и срезал дерн, отбрасывал зеленые пласты в сторону. В ярком свете фар каждая травинка мокро блестела, иногда на черной изнанке извивался рубиновый червь. Червей было много.

Очистив от травы метровый квадрат, начал копать. Лопата легко входила в грунт, порой лезвие звонко натыкалось на мелкий камень. Попадались корни, хилые, толщиной с палец, я легко перерубал их. Сначала я откидывал землю, потом начал складывать ее аккуратным холмом.

1

Границу штата мы пересекли в полдень. Миль через сорок нам в лобовое стекло врезалась какая-то мелкая птица, стукнулась с тугим яблочным звуком. Я вздрогнул, Мэлори ойкнула. В зеркале я мельком увидел темный комок на дороге. Около двух въехали в Бристоль. Колючая крупа, которая сыпала последние полчаса, превратилась в полноценный снег. Мохнатый и ленивый, он валил с рождественским размахом. Было пятнадцатое апреля.

– Добро пожаловать в Вермонт! Я – Хэлен Свенсон. – Мужиковатая тетка протянула руку мне, после Мэлори. – Как Нью-Йорк?

– Шорты, майки. Зеленая трава и тюльпаны, – ответил я.

Хэлен Свенсон засмеялась, выставив лошадиные зубы отменной белизны. Засмеялась так, будто снегопад был ее проделкой.

– У нас три дома... – Она заглянула в синюю папку с бумагами. – Вы мне написали, что хотите... – Она начала читать имейл Мэлори месячной давности.

Бристоль на глазах седел. Снег плотно ложился на голые ветки, на провода, на камни мощеного тротуара. Свисал толстыми пирогами с крыш приземистых домов. Важное здание – суд или мэрия – с белыми колоннами и классическим портиком постепенно растаяло, оставив в мутном воздухе прозрачный намек на золоченый купол со статуей на маковке.

– Давайте в машине? – перебил я, стряхивая с волос снег. Мэлори искоса глянула на меня. Тетка Свенсон закрыла синюю папку, кивнула на свой грязный джип, я открыл переднюю дверь для Мэлори. Сам сел сзади. Воняло псиной, на сиденье валялся истерзанный теннисный мяч.

– Сейчас межсезонье. – Свенсон лихо вырулила на дорогу и дала газ. – Лыжный сезон кончился...

– Вы шутите! – Я не сдержался и засмеялся.

Дворники всюду шуровали по стеклу, дорога просматривалась метров на пятнадцать.

– Межсезонье – это хорошо, – продолжила невозмутимая Свенсон. – Плохо, что на три месяца.

– Ну, может, на четыре, – сказала Мэлори, почти оправдываясь. – Как получится.

– Все равно. Вам же нужен полноценный дом. А на короткий срок сдают или охотничьи хибары, или лачуги для лыжников.

– Нам нужен полноценный дом, – подтвердил я.

Мэлори в марте уволилась из своей адвокатской конторы. Решила взять тайм-аут до осени, «разобраться в себе» – так она назвала это. Я дописывал сценарий для «Дискавери», обычная бодяга: акулы, бикини, пальмы. Застрял на середине.

Наша квартира на Риверсайд-драйв стала неожиданно тесной, повсюду я натыкался на Мэлори. В гостиной бубнил телевизор, на кухне голосило радио. Когда я уговорил ее надеть

наушники, выяснилось, что Мэлори обожает подпевать. Мне и раньше хватало сюрпризов – жизнь с Мэлори напоминала хождение по темной лестнице: то лишняя ступенька, то одной не хватает. Просто раньше мы мало виделись – по вечерам, в выходные да на отдыхе.

У меня было смутное представление о ее работе. Из конторы она приносила какие-то толстые папки с кучей бумаг, ей звонили даже по воскресеньям. Разговоры велись долгие и непонятные.

Почему мы выбрали Вермонт, я не помню. Наверное, Мэлори так решила. За семь лет я приучил себя не спорить по пустякам – Вермонт так Вермонт.

Дорога резко пошла вверх, Свенсон воткнула третью и утопила газ. Машину занесло, потом колеса снова попали в колею. Колея была разбитая, нас болтало. Слюнявый мяч катался по сиденью, со стуком ударяясь в дверь. Я смахнул его на пол.

– В горах дороги еще не растаяли, они тут грунтовые, – объясняла Свенсон. – За зиму их раздолбили, да еще наледь...

– А асфальт? – спросила Мэлори.

– Не-е, асфальт нельзя, – засмеялась Свенсон. – Слишком дорого. И непрактично – представляете, всю эту механику, все эти катки тащить наверх?

Я вырос в Москве и знал, как выглядит асфальтированная дорога после хорошей зимы.

– А так... – Свенсон притормозила перед лужей. – А так грейдер пройдет, разровняет, и будет дорожка не хуже новой.

Первый дом оказался мощным срубом с островерхой крышей, на крыльце стояли здоровенный мангал и горные лыжи лимонного цвета. Повозившись с замком, Свенсон распахнула дверь.

– Они разводятся, – тихо сказала Свенсон. – Хозяева...

Старательно пошаркали башмаками о коврик, зашли. Пол был из ладных широких досок, пол был хорош, а вот бревенчатые стены кто-то покрасил в персиковый цвет. Прихожая переходила в гостиную с камином из дикого черного камня и рогатым черепом на стене. И заканчивалась кухней. Над плитой висели медные котлы и сковородки. Еще какие-то индейские сувениры с перьями. Я сел за стол и уставился в окно. Мэлори и Свенсон поднялись на второй этаж и что-то там бодро обсуждали. Снег продолжал медленно падать.

– Хэлен, – мы сядем в машину, – может, мы сразу в третий дом поедем? Для экономии времени.

Свенсон удивленно поглядела на меня.

– А то как сказка братьев Гримм...

– Нет, – не поворачиваясь, сказала моя жена. – Надо посмотреть все три.

Я оказался прав – второй дом напоминал фанерную декорацию. Его только достроили, внутри воняло лаком и линолеумом. Из картонных стен торчали провода, хлипкие двери не закрывались.

К третьему добирались долго. Свенсон пыталась развлечь нас вермонтскими байками – оказывается, именно тут обитали кровожадные могикане и ирокезы. Рыбой штата была форель, а деревом, разумеется, клен. Бабочкой штата – монарх. По производству кленового сиропа Вермонт уступал лишь Канаде. Мы приехали в самое неудачное время – «сезон палок» (деревья стоят голые, ветки торчат палками). Еще у них был «сезон грязи». Но это осенью.

От обилия ненужной информации и унылой тряски я задремал.

Проснулся от шума реки. Машина стояла. Свенсон и Мэлори были где-то рядом.

– ...совсем другое дело! – радостно долетел до меня голос Мэлори.

– Ну и слава богу... – пробормотал я, вылезая из машины.

Мрачный приземистый дом выглядывал из-за темных елок. За ним круто вверх уходил лесистый склон. Сбоку, совсем рядом с заброшенной террасой, гремела река. Неглубокая,

шириной метров в семь, она весело неслась по камням, огибала березовый лесок и уносилась куда-то вниз. За березами я разглядел малиновую куртку Свенсон, она тыкала рукой в сторону дома, что-то объясняя Мэлори. Я пошел к ним, проваливаясь по щиколотку в мокрый снег. Грохот от реки стоял чудовищный.

– Волшебное место! – крикнула мне Мэлори. – Волшебное!

Я зевнул и потянулся. Только сейчас я заметил, что снегопад закончился.

– Хэлен говорит, тут форель! – восторженно сказала Мэлори. – В реке!

Свенсон, сложив руки на животе, весело подмигнула мне.

– Внахлест умеете?

– Только на блесну. – Я вздохнул и кивнул в сторону дома. – Ладно. Пошли смотреть.

Мы пошли. Хотя и мне, и лисе Свенсон уже было ясно, что следующие четыре месяца я с Мэлори проведу именно здесь.

Дом, кряжистый, из темного, некрашеного дерева, был похож на старую генеральскую дачу где-нибудь в Болшево или на Николиной Горе. Мы поднялись на скрипучую веранду, на перилах лежал сырой снег, сверху болталась гирлянда с мертвыми лампочками, оставшаяся от неизвестно какого праздника. У дверей ровной поленицей были сложены березовые чурки.

Вошли в темный чулан, Хэлен пощелкала выключателем. Тихо ругнулась.

Внутри пахло старым деревом. Хороший сухой дух. Мэлори потянула меня за руку. В большой комнате с высоким, как в церкви, потолком над длинным обеденным столом висел крюк. Стальной мясницкий крюк. Он крепился к толстой веревке, которая уходила вверх и там наматывалась на деревянный мельничный барабан.

– Что это? – спросила Мэлори.

– Это для лампы. Крюк. Или люстры. – Свенсон прищурилась. – Я бы сюда хрустальную люстру подвесила. Эклектика в малых дозах – замечательная вещь.

– Нет. Колесо – это что?

– Тут в прошлом веке была сахарная мельница, голландская семья держала. Из кленового сиропа делали сахар. Потом русло реки отступило, мельницу продали.

– А кто купил? Кто сейчас хозяин дома?

– История чуть запутанная... – Свенсон отвернулась. – Смотрите, какой камин замечательный!

Камин действительно был замечательный, еще лучше два кресла перед ним. Я провел рукой по старой рыжеватой коже спинки.

– Можно?

– Конечно, садитесь!

Я медленно опустился, кресло податливо приняло меня. Я откинул голову, представил огонь. В одной руке книга, в другой стакан, допустим, вина. Нет, лучше что-нибудь покрепче.

– А что наверху? – спросила Мэлори.

– Там две спальни, для детей. Или для гостей. У вас детей нет?

– Нет, – ответили мы хором.

– Ну тогда для гостей, – засмеялась Свенсон. – На втором этаже еще один кабинет, вроде мансарды. Окно прямо над рекой. Очень романтично.

– Ты знаешь, а мне нравится! – Мэлори положила руку на мое плечо. – Ты что думаешь?

Я неопределенно хмыкнул.

– Хэлен, а что тут в округе, что рядом? – спросила Мэлори. – Город, деревня? Магазины, рестораны?

– Я не очень этот район знаю, Южный Виндзор. Наша клиентура – горнолыжники, они снимают в Рутланде или под Миделберри. – Свенсон широко улыбнулась, сверкнула большими зубами. – Давайте бумаги оформлять!

2

Переход от зимы к весне произошел за три дня. За это время я умудрился пару раз застрять в ледяной каше местных дорог. Что, впрочем, неудивительно, поскольку мою машину сконструировали для немецких автобанов, а не для автокросса по пересеченной местности в экстремальных климатических условиях. Еще выяснилось, что ездить в нашей округе особо некуда. До ближайшего ресторана было полтора часа, до супермаркета почти два. Он находился в городе Виллингтон.

Наша временная усадьба расположилась в лощине между двух холмов с оптимистичными названиями – Чертова сопка и Сонная гора. Чертова сопка начиналась на той стороне реки и круто уходила вверх прямо из воды, кое-где по склону из земли торчали острые гранитные валуны. Сонную гору скрывал густой черный ельник, за Сонной лежала деревня. Деревня называлась странно – Коринф, население двести семьдесят три человека. Информация, скорее всего, устаревшая. Придорожная табличка с названием и цифрами была насквозь ржавая и напоминала решето – кто-то метко пальнул из дробовика. Дальше шло кладбище, потом начиналась сама деревня.

Через неделю я уже ходил в майке, а Мэлори угораздило даже обгореть. Она у меня рыжая и белокожая, летом у нее появляются конопушки даже на лопатках. Я против конопушек ничего не имею, но меня иногда смущает их ирландская родословная. В жилах моей жены течет страшная смесь ирландской и итальянской крови, по химической формуле (я уверен!) напоминающей ракетное топливо. На семейные сборища – непременно Рождество, иногда день Благодарения, – я отправляюсь с тяжелым сердцем. Как на принудительные работы.

Мэлори азартно занялась обустройством дома и прилежащих земель. Рядом с сараем между двух хлипких берез повис гамак, на ступеньках веранды выстроились горшки с петуниями, перед камином появился мрачный коврик с индейским орнаментом охотничьей тематики – палочные человечки гнались за кем-то рогатым. В неожиданных местах стали возникать белоснежные салфетки, кокетливые вазочки, рамки с нашими фотографиями, цветы. На мясницкий крюк над обеденным столом Мэлори подвесила плетеную корзину с сухими злаками и початками кукурузы. Не мой вкус, ну уж гораздо лучше хрустальной люстры.

В сарае среди ржавых лопат, топоров и прочего хлама нашли велосипед с дамской рамой. Мэлори (к моему удивлению) собственноручно вычистила и смазала его. И на следующий день уже всю гоняла по коринфским окрестностям. Я продолжал мучить сценарий.

Был, наверное, полдень. Я валялся в гамаке с ноутбуком на животе, батарейка была на последнем издыхании, река весело плескалась. Я прикрыл крышку, задремал. Разбудила меня Мэлори.

– Съезди за яйцами! – крикнула она, ловко соскочив с велосипеда.

Приткнула велик к березе. Загородив солнце, вспыхнула рыжим нимбом.

– Какие яйца?

– Свежие, куриные. Я договорилась!

Я зевнул.

– Там у тетки одной курятник. За Змеиным ручьем.

– За Змеиным?

– Да. Это рядом – минут двадцать. На велике боялась яйца переколотить.

– А почему... – Я хотел сказать, что она может взять машину и сама сгонять на Змеиный ручей. Но вовремя остановился. – Конечно, конечно, без проблем.

До ручья оказалось чуть дальше, тридцать пять минут. Я свернул с главной дороги и сразу нырнул в темную чашу, дальше пошли колдобины и толстые корни, потом грунтовка круто понеслась под уклон. Я на тормозах выкатил к мосту. Казалось, мост поставили только вчера,

от светлых бревен пахло свежими опилками. Металлический крепеж сиял железными болтами и шляпками гигантских гвоздей. По мосту гуляли куры.

На той стороне дорога утыкалась в деревянную хибару, за хибарой почти отвесно поднимался гранитный бок скалы. Перед крыльцом стоял битый грузовик примерно моего возраста, сбоку, за забором, росли кусты. Дальше шли грядки, едва опушившиеся зеленым. Повсюду бродили куры.

Заглушив мотор, я вылез из машины. Пошел через мост, помахивая лукошком, которое мне всучила Мэлори. Куры расступались и недовольно кудахтали. За огородом среди осин я заметил человека с пиратским платком на голове и в военном комбинезоне камуфляжной раскраски. Человек что-то копал.

– Эй, мистер! – крикнул я. – Мне бы яиц.

Я помахал лукошком над головой.

Пират выпрямился, воткнул лопату. Соскреб налипшую глину с подошвы о край лопаты. Неспешно пошел ко мне.

– Яиц? Это можно... – сказал он, подходя. Вытер ладонь о штаны, протянул руку. – Джулия!

Я только сейчас понял, что это женщина.

– Игорь... – замешкавшись, ответил я.

– Русский, что ли?

– Вроде того.

– Это хорошо... – загадочно прокомментировала Джулия. – Это твоя, что ли, рыжая?

Я кивнул.

– Жена?

Я снова кивнул.

Джулия покачала головой, будто я ее чем-то расстроил. Из-под тугого платка вылезли седые волосы, она заправила их корявым пальцем. Цветом ее лицо напоминало копченого леща.

– На лето?

– Да, до середины июля.

– Зря. Тут вся красота осенью начинается. Из Европы приезжают любоваться. Из Японии даже.

Мы поднялись по ступенькам, вошли. В нос шибанул крепкий дух, воняло как в зоопарке. Большая комната была забита хламом. Коробки, стопки бумаг, какие-то свертки, банки, пустые и с какой-то сомнительной жидкостью. В углу под яркой лампой лениво ползал варан среднего размера. На крышке допотопного принтера спал толстый белый кот. Он проснулся, сладко зевнул, без интереса посмотрел на меня и заснул снова. По стенам висели головы косуль и оленей, один губастый лось. Башка марала с гигантскими рогами лежала на полу. Марал стеклянным глазом печально смотрел на меня снизу вверх.

Джулия достала с полки банку, откупорила, швырнула жменю какой-то трухи варану. Тот обиженно отвернулся, сверкнув стальной чешуей.

– Не любит вегетарианского... – засмеялась Джулия. – Сверчков хочет.

– Я его понимаю, – через силу улыбнулся я.

Мы спустились в подвал. Там был инкубатор, несколько коробок с живыми сверчками, на полках лежали рулоны какого-то драного линолеума. Присмотревшись, я понял, что это шкуры. Скорее всего, тех бедолаг, чьи головы висели по стенам наверху. Меня передернуло. Дышать в подвале было нечем. Джулия взяла у меня лукошко, ловко уложила туда дюжину яиц.

Наверху я протянул ей деньги.

– А мельче нет? – спросила она.

Я порылся в бумажнике, не нашел.

– Сейчас, я погляжу... – Она открыла дверь в другую комнату, зашла.

Я увидел угол кровати, неубранную постель. На полу лежала шкура бурого медведя, с когтями и приплюснутой головой. Из пасти торчали желтые клыки. В дальнем углу, будто зонтики, стояли охотничьи ружья, штук пять.

– А вы что, охотитесь? – спросил я в приоткрытую дверь.

– Я? – невидимая Джулия с грохотом задвинула ящик. – Что?

– Говорю, это ваши трофеи? Охотничьи?

– Что? Эти? Не нашла ничего... – Она вышла, держа в руках мятую двадцатку.

– Этот тоже ваш? – Я показал на медведя.

– А то! Мой! Прошлым сентябрем. В курятник залез, паскуда, кур передал.

Она засмеялась. Я тоже было засмеялся, но вдруг до меня дошло.

– Так что, тут медведи?

– Конечно! Не много, но есть. Они форель на перекатах ловят. Лакомятся.

Я вспомнил нашу перекатистую речку. Форели там я не видел, но наверняка форель есть.

Да и Свенсон говорила.

– А они... – я кивнул на шкуру, – опасные вообще? Медведи?

– Медведи? – Джулия сделала недоуменное лицо. – Да нет. Пальнешь в воздух, он и наутек.

Мне стало не по себе, я сглотнул. Начиналась изжога.

– У тебя что, ружья нет? – догадалась Джулия.

Я молча помотал головой.

– Ну ты, милый мой, даешь... – Она трагично поглядела на меня. – Мало того, что живет на скотобойне...

– На какой скотобойне?

– На какой на какой? На голландской!

– Агентша сказала, что там сироп кленовый... перегоняли в сахар...

Джулия засмеялась, громко и обидно.

– Сахар! – Она звонко шлепнула себя по тощим ляжкам. – Ой, не могу!

3

Возвращался я в мрачном настроении. На переднем сиденье покачивалось в такт колдобинам лукошко с яйцами, на заднем сиденье лежал старый дробовик и две коробки патронов. Весь комплект, включая яйца, обошелся в полторы сотни.

Подогнал машину к сараю, прихватив лукошко, пошел к дому. Мэлори, наверное, услышав мотор, распахнула дверь и появилась на террасе. От неожиданности я споткнулся – на Мэлори ничего не было. Если не считать красной ленты, стягивающей волосы. Солнце пробивалось сквозь ветки, кружевная тень скользила по ее телу перламутровыми разводами, курчавый хохолок на лобке горел золотом. Голенастая, с тонкой шеей, она вполне могла бы сойти за подростка. Если бы не грудь – я мысленно поблагодарил Бога и итальянскую родню за прекрасную генетику. Еще я решил ничего не говорить ей про бойню.

Я молча протянул ей лукошко. Почему-то обратил внимание, что верхнее яйцо было темное и рябое. В конопушках. Мэлори опустила лукошко на пол террасы.

– Так долго... – прошептала она.

Я стоял на ступеньку ниже. Склонив голову, поймал ртом ее грудь, прикусил губами сосок. Она подалась вперед, тихо застонала. Ее цепкие пальцы ухватили мои волосы на затылке, она их дернула, словно хотела вырвать. Я обнял ее бедра, сжал и легко приподнял. Сделал шаг в сторону двери.

– Нет, нет... – задыхаясь, прошептала она. – Давай здесь. Прямо здесь.

Верхушки деревьев зашумели, оттуда вылетела сердитая ворона. По веранде пробежал ветер, дверь, ожив, заскрипела и со стуком захлопнулась. Мэлори опустилась на колени, торопливыми пальцами расстегнула ремень. Я гладил ее волосы, жесткие и рыжие, трогал веснушки на острых плечах.

На обед у нас был омлет из шести яиц. Толстый, воздушный и душистый. Вкуснее омлета я в жизни не ел. Мы сидели на балконе с чугунными перилами, пахло свежим хлебом, масло плавилось на солнце, я отламывал поджаристую корку от деревенской булки и поддевал желтоватое масло. Внизу по камням весело и шумно бежала река. В прозрачной зелени пятнистого березняка сновали сойки, Мэлори приметила сороку и показала мне.

– А давай в антикварную лавку съездим? – Мэлори отпила молока, поставила стакан. Над верхней губой осталась белая полоска. – Пятнадцать миль в сторону Трентона.

Настроение у меня было превосходное, работать не хотелось абсолютно.

– Давай... – великодушно согласился я, наклонился к ней, слизнул молоко с губы. – Конечно, давай!

Мэлори собралась моментально, спустилась вниз в соломенной шляпе и раскосых солнечных очках в изумрудной оправе.

– Сдует, – кивнул я на шляпу.

– А ты не гони, – кокетливо сказала она, завязывая ленты у подбородка. – Ну как?

– Бениссимо!

Мы подошли к машине, я распахнул дверь перед ней.

– Грация, синьор! – она запнулась. – Господи, что это?

На заднем сиденье лежал дробовик.

– «Ремингтон». – Я дотянулся, достал. – Помповое ружье.

– Откуда это? – тихо спросила Мэлори.

– Приобрел в комплекте. – Я пытался шутить, но ее тон мне понравился. – Яйца без ружья не продавались.

– Ты что, обалдел? – угрожающе спросила она. – Тебе сколько лет?

Мы оба знали, что мне сорок один. Вопрос был явно риторического характера.

– Ты знаешь, что тут медведи водятся? – Я ткнул стволом в сторону Сонной горы. – Бурые медведи!

– Какие, к черту, медведи! Ты понимаешь, что в Нью-Йорке за это... – она брезгливо ткнула в приклад, – пять лет дают с ходу. Пять лет!

– За что «за это»? – хмуро спросил я.

– Незаконное хранение огнестрельного оружия! Слышал про такое?

– Это тебе не Манхэттен!

– Какая разница? Закон есть закон!

– А! Ну конечно! Ты ж профессионал, госпожа адвокатша!

– Игорь, прекрати паясничать. Нужно получить лицензию. Это серьезно. Или вернуть ружье.

– Хорошо.

– Что – хорошо?

– Получу лицензию.

Мэлори удовлетворенно выдохнула.

– Ну вот видишь... Что ты про медведей говорил? Кто тебе сказал?

Я вкратце рассказал про Джулию. Про ее зоопарк. Упомянул медвежью шкуру с клыками. Шкура явно произвела впечатление.

– Можно? – Мэлори с опаской взяла «ремингтон». – Тяжелый... А стрелять как? Ты умеешь?

– Вот сюда вставляешь три патрона... Левая рука здесь, эта штука двигается туда-сюда. После каждого выстрела надо перезаряжать. Патрон заходит в патронник... Видишь, вот тут?

Она неловко зажала приклад под мышкой, ствол гулял из стороны в сторону. Мэлори безуспешно пыталась передернуть затвор.

– В плечо! Упри в плечо! – сержантским тоном командовал я. – И тяни! На себя. Вот так!

Наконец она справилась – взвела. Я не говорил ей не трогать курок, мне казалось, это разумеется само собой.

От выстрела у меня заложило уши. Отдача развернула Мэлори вбок, она выронила ружье. Солнечные очки упали на землю, шляпа съехала набок. Губы мелко дрожали, она что-то говорила, но я не слышал. Пропали птицы, шум реки. Кисло воняло жженым порохом.

– Совершенно... просто не понимаю... – наконец сквозь вату донеслось до меня. – Ничего не делала. Само выстрелило... Само!

Дверь в сарай была открыта, заряд угодил в заднюю стенку. Не знаю, дробь какого калибра (или чем ее там меряют охотники) выделила мне добрая Джулия, но предполагаемому медведю я бы не позавидовал. Через дыру полуметрового диаметра теперь хорошо был виден северный склон Чертовой балки. Я загородил дыру широкой доской, в лесу было полно барсуков. Для верности припер доску велосипедом. Нашел старый мешок, как следует вытряхнул, сунул туда патроны и дробовик. Поставил в дальний угол. Мэлори тихо мешала, крутилась под ногами с виноватой готовностью.

Лишь только мы свернули на шоссе, наткнулись на шерифский «Форд». Машина стояла на обочине. Шериф, коренастый малый в белом стетсоне, махнул мне рукой. Я остановился. Мэлори сжала кулаки до белых костяшек.

– Все будет нормально... – прошептал я ей.

– Шериф Рейснер, – представился он, вяло приложив палец к шляпе. – Вы живете на Шугар-милл?

– Да. Снимаем, – улыбаясь, ответил я. – До июля.

– Понятно...

Шериф, невозмутимый и ленивый, в темных очках и с толстой шеей, с кольцом в открытой кобуре, был похож на персонажа из дрянного кино. Если бы я такого клоуна попытался воткнуть в свой сценарий, меня бы подняли на смех.

– Вы слышали выстрел?

– Выстрел? – невинно переспросил я.

– Да. Выстрел. Минут пятнадцать назад.

Я старательно задумался. Выдержав паузу, рассмеялся.

– Выстрел! Да мы сами перепугались! Так шарахнуло... Правда, милая?

Мэлори молча кивнула. На ней тоже были темные очки и шляпа. Тут они с шерифом играли на равных.

– Извините, шериф, – продолжал я валять дурака. – Нам безумно нравится ваш штат, но вот бензин у вас – откровенная дрянь!

– При чем тут бензин?

– Я вчера залил «экстру», – я стукнул ладонью по баранке, – и у моей малышки от нее изжога. Это был выхлоп. Третий за день. Так шарахнуло, я думал, резонатор разнесет. Она у меня капризная.

Шериф нагнулся, зачем-то посмотрел на приборную доску. От него разило еловым одеколоном. Пауза тянулась бесконечно, тихо было невероятно, я слышал, как осторожно дышит Мэлори, где-то рядом прожужжал шмель.

– Механическая коробка... – наконец сказал шериф и поскреб подбородок. – Это что – спортивная модель какая-то? Гоночная?

– Да нет, – поскромничал я. – Так, прогулочный кабриолет.

– Кабриолет? Так крыша ведь железная. – Он ласково похлопал по крыше. – Ее что – свинчивать?

Я нажал кнопку, крыша бесшумно разошлась и с плавностью робота сложилась в багажник. Шериф даже снял очки. Немецкая инженерная мысль явно повысила мой авторитет в глазах местных правоохранительных органов.

– Извините, сезон только в сентябре. – Шериф погладил крыло. – Вообще, у нас браконьеров нет... Да и вообще тихо. Извините, мисс.

Он козырнул, нацепил очки. Я включил поворотник, дал газ, лихо выскочил на дорогу.

– Я и представить не могла, что ты такой врун! – с тихим восхищением сказала Мэлори. – Потрясающе...

Она засмеялась, придерживая шляпу рукой. Ленты развевались, как вымпелы на яхте. Я перешел на третью, утопил педаль газа и ловко взял поворот.

4

Я забыл, что автомобильная езда может доставлять такое удовольствие. В Нью-Йорке мы почти не пользуемся машиной – пробки, парковка, за год у меня на спидометре меньше пяти тысяч.

Мимо нас проносились кудрявые рощи, свежая зелень переходила в завитки облаков, вызывающе трехмерных и словно вылепленных из сливочного зефира. Исполинские сосны подступали к самой дороге. Нависали тенистыми сводами, гнали нас сквозь сумрачный туннель, который вдруг, ахнув, распахивался бескрайними холмами с сиреневыми пиками заснеженных скал на горизонте.

По зелени полей ползли тени облаков, по гладким склонам кто-то расставил безупречный орнамент из пятнистых коров голштейнской породы. Иногда попадались одинокие лошади или отары овец. Сложенные из дикого камня ограды утыкались в амбары, похожие на кафедральные соборы, с неперменной башенкой и медным флюгером. Сарай цвета засохшей крови, толстые минареты силосных башен сменялись розоватой пеной отцветающих яблонь, появлялось кладбище на холме с россыпью серых плит, за ним – убогая церковь. Аккуратные домики с геранью на ступеньках крыльца подступали к самой дороге.

Мы сбавляли скорость и неспешно проезжали через деревню, глаза на выгоревшие деревянные вывески, самодельные плакаты «Лучший в Вермонте кленовый сироп – это здесь». Разглядывали выставленный в кружевной тени обочины антикварный хлам – ржавые колеса древних сеялок, колченогие стулья с резными спинками, буфеты с мутными зеркалами, разнокалиберные бутылки ультрамариновых и изумрудных цветов. Сухой старик, покачиваясь в плетеном кресле на веранде, поворачивал к нам кирпичное лицо. Пацан на взрослом велосипеде выставил большой палец, провожая наше авто восторженным взглядом. Лениво лаяла большая собака. Незаметно деревня обрывалась, и снова начинались рощи, поля, амбары, коровы.

Мы так ничего и не купили. Людские поделки на фоне божьего мастерства выглядели весьма неказисто и вызвали брезгливую жалость. Сделав петлю, мы возвращались домой по Седьмому шоссе. Взлетев на мост, проскочили над быстрой и мелкой речкой. До Коринфа оставалось миль девятнадцать.

– Может, это наша река? – спросила Мэлори.

Она сняла шляпу и сунула ее под сиденье, чтоб не подхватил ветер.

– Смотри! – Она показала на машину, боком стоящую на обочине. – Может, им помощь нужна?

Я сбросил скорость. Это была старая «Хонда», обе передние двери были нараспашку. Перед машиной стояли парень и девушка. Они ругались.

- Остановись, – сказала Мэлори.
- Слушай, это не наше дело! Люди выяснят отношения...
- Остановись!

Я притормозил. Они мне не понравились, особенно парень.

- Вам помощь не нужна? – невинно спросила Мэлори.
- Не, спасибо, – быстро ответила девица.

У нее было маленькое беличье лицо с острым подбородком и бегающим взглядом. Нижняя губа припухла, она была разбита.

Парень зло зыркнул на Мэлори, задержал взгляд на мне. Быстрой рукой пригладил короткий ежик черных волос. Парню было от силы двадцать пять, белая грязноватая майка с закатанными до подмышек рукавами, джинсы, солдатские ботинки. Жилистый и мускулистый, как боксер-легковес, он явно много времени провел в спортзале. Судя по татуировкам – в тюремном спортзале.

- Все *о'кей*? – переспросила Мэлори.

Девчонка отвернулась. Я придавил педаль, плавно прибавил скорость. В зеркало я видел, что парень исподлобья смотрит нам вслед. Вдруг девица махнула рукой.

- Подождите! – крикнула она и побежала за нами.

Я нажал на тормоз. Дал задний ход.

- Подбросьте меня...

- Куда? – перебил я девчонку.

- Конечно. – Мэлори, не взглянув на меня, вылезла из машины. – Давай, давай садись. –

Откинула свое сиденье, пропустила девицу назад.

На девчонке было короткое платье простой деревенской расцветки, легкое, будто из марли. Она ловко прошмыгнула на заднее сиденье, мелькнув белыми трусами.

- Тебя как зовут? – спросила Мэлори.

- Тиффани...

- Ты местная?

- Из Коринфа.

Мне все это не нравилось. Парень обошел «Хонду», зло хлопнул дверью. Закурил, сел на капот. Не отрываясь, разглядывал нас. Изредка плевал на асфальт.

- Вот и отлично! – Я включил поворотник. – Как раз по дороге.

Минут пять ехали молча, потом Тиффани, подавшись вперед, сказала:

- Мне домой нельзя. Скип знает, где я живу...

- Это тот, что ли? – спросила моя жена. – Он тоже местный?

– Нет, он из Аризоны. – Девчонка шмыгнула носом. – Я думала, он нормальный парень, а он полный псих.

Она снова шмыгнула. Мэлори протянула ей бумажный платок.

- Мы тебя отвезем к себе! – объявила Мэлори. – Правда, Игорь?

Я промолчал. Тиффани громко высморкалась.

- А где вы живете?

- Рядом. Сразу за дерев... за Коринфом. Где река, знаешь? Сахарная мельница.

- А-а! Это там, где была ското...

- Тиффани, – быстро перебил я, – а может, тебе лучше к каким-нибудь родственникам?

Какая-нибудь родня поблизости есть?

- Тетя Элизабет в Бостоне живет.

До Бостона я не собирался пилить. Три часа. Но ведь должны быть автобусы, поезда.

- Давай позвоним тете? Номер помнишь?

- Да. Но у меня нет телефона.

– Господи! – засмеялся я. – Неужели я наконец встретил в Америке человека без чертова айфона?!

– Здесь сигнал хреновый, по всему штату. Только в Берлингтоне и Миделберри нормально.

Я вынул телефон, сигнал и вправду был хреноват.

– Звони! – Я протянул телефон через плечо. Поймал ее взгляд в зеркале. Тиффани улыбнулась мне, сжав в кулаке белый комочек салфетки, быстрым пальцем набрала номер. Приложила телефон к уху. Сквозь платье просвечивала голая грудь с острыми козыми сосками.

Мэлори слегка надулась, не по существу, скорее, по форме. То, что я перехватил инициативу и бесцеремонно угробил ее гостеприимное предложение. Тетя оказалась дома. Она была рада принять племянницу.

– Но у меня нет денег... – Тиффани вернула мне телефон.

– Разберемся, – кивнул я, телефон был теплый и влажный. – Из Миделберри автобус идет в Бостон?

– Да, каждый час. От колледжа.

5

Мы остановились за три дома, Тиффани попросила ближе не подъезжать.

– Отчим уже бухой, наверное. Я мигом, только вещи соберу.

Жила Тиффани в трейлере. Я непроизвольно проводил взглядом ее ловкую фигуру – крепкие икры, ладная попка в крошечном треугольнике трусов.

– Не стыдно? У тебя могла быть такая дочь! – ехидно заметила Мэлори.

– Не дай бог! – я перекрестился с шутливым испугом.

Над дверью трейлера линиялой тряпкой болтался звездно-полосатый флаг. На вытоптанном пятачке перед входом стояли два пластиковых стула в растерянных позах, мятый жестяной бак был доверху набит мусором, рядом желтели пустые коробки из-под «Миллера». Пестрел мелкий сор, обертки. На плоской крыше торчала спутниковая антенна, рядом жирная ворона что-то громко долбила клювом, время от времени очень по-человечески оглядывалась через плечо. И снова принималась долбить.

Солнце садилось, тени посинели и вытянулись поперек дороги, у круживших над нами скворцов крылья вспыхивали ртутным светом, словно слюдяные. Небо выбелилось, голубой цвет исчез, сменился молочным. В дальних горах, фиолетовых и мрачных, что-то угрюмо клубилось, не то туман, не то дым.

Тиффани переделалась: тугие джинсы, узкий белый свитер, волосы стянула в жидкий хвост. Соски торчали по-прежнему. Плюхнула розовую дорожную сумку на заднее сиденье. По ремню сумки сияли крупные фальшивые рубины.

Выехав из деревни, я прибавил скорость. Солнце, большое и красное, катилось справа, проворно ныряло за холмы и тут же выскакивало снова. Ветер ревел, спидометр дополз до девяноста. Мэлори съехала вниз, выставив белые колени. Тиффани что-то прокричала, я не расслышал.

– Что? – крикнул я назад.

– Балдежная тачка, мистер! – заорала она мне прямо в ухо.

От нее пахло немывтым детским телом, сигаретами и мятной резинкой.

– Может, крышу поднять? – крикнула мне Мэлори. – Холодно...

Пришлось остановиться и поднять крышу.

– Супер... – Тиффани зачарованно следила за механическим превращением. – Не-е, ну это во-о-обще...

Поехали дальше. В салоне стало неожиданно тихо, я включил радио, потыкал по станциям. Прием был скверный, везде трещало, единственно чистая станция играла занудное кантри. Некто хрипатый пел про семь лет сплошных несчастий и разбитую любовь. В припеве просил похоронить его в Восточном Кентукки на холме с видом на железную дорогу. До Миделберри оставалось тридцать три мили.

– А вы ее видели? – неожиданно спросила Тиффани. – Старуху?

– Какую? – Мэлори повернулась к ней. – Какую старуху?

– Ну Хэндерсон!

– О чем речь? – спросил я Мэлори.

Мэлори пожала плечами.

– Ну вы даете! Вообще! – Тиффани просунула беличью физиономию между нами. – Артистку! Хэндерсон.

– Где, когда и почему мы должны были видеть артистку Хэндерсон? – строго спросил я.

– Во дают! – Тиффани в изнеможении выдохнула, откинулась назад. – Призрак!

– У нас? – догадалась Мэлори. – В доме? Призрак?

– Ну да! Она ж там удушилась. В сарае. Сперва ее муж убился на самолете, а после сын утонул. Она стала бухать дико. А после – удушилась.

Я включил фары. Пейзаж сразу стал плоским, как декорация – черные горы, фиолетовое небо. Одна звезда.

– Да... – сказала Мэлори. – Точно... Я нашла вырезки из газет, на втором этаже. В столе. Она на Бродвее пела, эта Хэндриксон. В «Золотой долине» и «Влюбленном матадоре». Сын отдыхал на Гавайях, они там с друзьями взяли яхту. У них что-то случилось, то ли драка, то ли пожар... Короче, его так и не смогли найти. Тело.

– Ты не выкинула? Газеты? – спросил я, подумав о своем забуксовавшем сценарии. – Я хочу посмотреть. Может, какой-нибудь нюанс...

Автобус отходил через двадцать минут. Я купил билет, вернулся. Девчонка что-то оживленно рассказывала моей жене. Я распахнул дверь, она тут же замолчала. Я протянул билет, достал из бумажника сотню. Тиффани без кривлянья взяла деньги, кивнула. Сказала «угу».

– На здоровье, – ответил я.

Мэлори села за руль. Я отодвинул кресло до упора, потянулся.

– Жрать хочу смертельно! – сказал я. – Кусок жареного мяса с картошкой!

Мэлори не ответила, молча объехала вокруг мрачного памятника – некто грозный, вроде солдата с ружьем. Свернула на Седьмое шоссе.

– Ты что? – Я тронул ее щеку.

Она зло помотала головой. Резко добавила газ. Прикусив губу, подалась вперед, словно шла на таран. Я пожал плечами, отвернулся. За окном неслась чернота, иногда вдали светились окна одиноких ферм. Редкие огни по холмам вполне могли сойти за звезды, а звезд высыпало какое-то угрожающее количество.

– Я просто не понимаю! – тихо проговорила Мэлори. – Как?

– Что как?

– Этот подонок заставлял ее трахаться с шоферьем. За деньги. А эта дурочка говорит: мне не трудно, от меня ж не убудет, если я у кого-то отсосу.

Я хмыкнул.

– Слушай! – Она резко повернулась ко мне. – Не пытайся казаться циничней, чем ты есть на самом деле!

– На дорогу смотри, – дружелюбно посоветовал я.

– Ты живешь в своей маленькой вселенной, пишешь свои идиотские сценарии из вымышленной жизни придуманных людей, которые даже и на людей не похожи – куклы на нитках!

– Откуда ты знаешь? – Я засмеялся. – Ты ж не видела ни одной программы.
– Пыталась! Как он там, «Кулак и камень»? Это ж...
– Эти идиоты все перелопатили, – перебил я. – От моего сценария там вообще ничего не осталось!

– А «Корабль обреченных»? Вот, блядь, шедевр!
– Как будто ты смотрела!
– Да от одной рекламы плакать хочется! Стыд!
– Так я и не говорю, что это «Гамлет». За этот стыд, кстати, хорошие деньги платят. – Я хлопнул рукой по кожаному подлокотнику. – Очень хорошие. Получше, чем за твое адвокатство. Или как это там называется.

Вот этого говорить точно не стоило. Мэлори с минуту молчала, мрачно глядя вперед.

– Что ты знаешь обо мне? – тихо проговорила она. – О моей работе? Мне приходится защищать вот такую Тиффани, которая оставила ребенка в машине, а ребенок задохнулся. Или студентов, изнасиловавших стриптизершу. Или идиота, искромсавшего бритвой свою невесту. Из ревности.

Я молчал; о ее работе у меня действительно представление было весьма расплывчатое.

– И кровь там настоящая. Не томатный сок – как у тебя. И трупы тоже. Мертвецы. Они не встанут и не пойдут в гримерку после конца съемки. Их сожгут или закопают. На самом деле. А виновные отправятся в тюрьму. Тоже настоящую. Где их будут насиловать и бить, пока не выбьют остатки человеческого. А потом они снова выйдут на свободу...

Мэлори прерывисто вздохнула. У нее тряслись губы. Сейчас начнутся слезы, подумал я.

– Я слабая. И злая... И я устала защищать подонков. Я была лучшей в выпуске... Гарвард – это тебе не юрфак в Аризоне! – Она шмыгнула, махнула рукой. – И что толку? В чем моя главная задача – скостить срок очередному ублюдку. Чтобы он побыстрее вышел и снова мог спокойно убивать, насиловать, грабить.

Я молчал.

– Больше не могу, – устало выдохнула она. – И не хочу.

Я не знал, что сказать, накрыл ладонью ее руку. Она сжимала рычаг передач. Дорога резко покатила под уклон, потом круто пошла вверх. Мы въезжали в горы.

– Дальний свет включи, – сказал я.

Или подумал, что сказал.

В этот момент прямо перед нами появился олень. Дымчатый от света фар, словно голограмма, он буквально материализовался из темноты. Мэлори ударила по тормозам, машина по инерции пошла юзом. Олень одним грациозным движением прыгнул вбок и исчез. В этот момент я услышал глухой удар.

Мы выскочили из машины. На асфальте лежал олененок. Задняя нога его конвульсивно дергалась.

– Господи! – Мэлори упала на колени, стала гладить его голову. – Ну что ты стоишь?! Его надо спасать! Тут же есть ветеринары, больницы!

Я безвольно достал телефон, разглядывая белые пятна на боку олененка. Он дышал часто-часто, нога продолжала дергаться.

– Нет сигнала...

– Что? – крикнула Мэлори.

– Тут сигнала нет. Горы...

– Черт! – заорала она. – Поехали! По дороге найдем какую-нибудь деревню... Или ферму. Они ж должны знать... Фермеры. Помоги, возьми его сзади.

В горах не было никакого жилья. Когда мы спустились в долину, олененок уже умер. Мэлори сидела сзади, гладила его по голове и тихо плакала. Изредка всхлипывала, судорожно, словно захлебываясь.

– Мэл... – негромко позвал я. – Что с ним теперь делать?
Она подняла мокрые красные глаза.
– Не знаю... Не можем же мы взять и выбросить его на обочину...
Я промолчал.

6

Чуть не пропустил наш поворот. Тупо пялился в убегающий асфальт, поглядывал в зеркало. Мэлори притихла, лицо ее словно уменьшилось, на скулах проступили веснушки. Она продолжала гладить мертвую голову, глаз олененка удивленно разглядывал меня.

Я уже видел эти грустные оленьи глаза, но где, когда? Похоже, в какой-то другой жизни. Никак это не могло быть сегодня утром в той лачуге женщины-пирата по имени Джулия, рассказавшей мне про скотобойню. И продавшей мне дюжину яиц плюс ржавый «ремингтон» с двумя коробками патронов.

К запаху дорогой автомобильной кожи примешивался дикий звериный дух. Я вытер лицо рукой, от ладони тоже пахло оленем.

Слишком уж похоже на одну из моих неказистых историй, быстренько обструганных для телевидения. Где случайный намек в прологе, описав плавную орбиту, непременно угодит точно в лунку к финалу. И замкнет круг. Вот и сейчас мы замкнули этот круг. Впрочем, между теми оленями на стене у старухи и этим олененком на коленях моей заплаканной, растрепанной и невыносимо прекрасной жены могла уместиться целая вселенная.

Притормозив, я свернул на нашу дорогу. Щебенка захрустела под резиной. Я катил вниз на нейтралке, петляя, словно участвуя в каком-то нехитром слаломе. Фары выхватывали из темноты мрачные стволы сосен и цепкие лапы елей. За ними чернела бездонная ночь.

Подъехал к сараю. Не выключая фар, выбрался из машины. Река шумела, от воды тянуло холодной сыростью. Свет добивал до того берега, тускло освещал хилые березы, их стволы казались потеками меловой краски на глухой черной стене.

Я взял мертвого зверя на руки, осторожно опустил в траву. Он был мягким и еще теплым. Мэлори вышла, присела на корточки. Ее знобило.

– Надень что-нибудь, – сказал я.

Она помотала головой. Так и осталась сидеть, обхватив голые колени руками.

Ржавый засов на сарае заело, я пнул дверь, задвижка подалась. Петли провисли, низ двери цеплялся за траву. Зашел, в щели пробивался жидкий свет, почти на ощупь нашел в углу лопату.

– Здесь? – спросил я Мэлори.

Она сидела и молчала, даже не пошевелилась.

Я сделал шаг в сторону, вонзил лопату в землю. Поддел дерн. Запахло травой – сочной, майской, словно кто-то постриг газон.

Я поддевал и срезал дерн, отбрасывал зеленые пласты в сторону. В ярком свете фар каждая травинка мокро блестела, иногда на черной изнанке извивался рубиновый червь. Червей было много.

Очистив от травы метровый квадрат, начал копать. Лопата легко входила в грунт, иногда лезвие звонко натыкалось на мелкий камень. Попался корень, хилый, толщиной с палец, я легко перерубил его. Сначала я откидывал землю, потом начал складывать ее аккуратным холмом. Постепенно вошел в азарт. Время исчезло, пропали мысли, остался ритм.

Мэлори что-то сказала, я не расслышал, переспросил.

– Его надо завернуть, – повторила она. – Нельзя же так, без ничего... В землю.

Она встала, медленно пошла в сторону дома.

Я проводил ее взглядом, вытер лицо рукавом. На зубах хрустела земля, я сплюнул. Во рту пересохло, страшно хотелось пить.

Яма уже была мне по пояс, я прислонился к земляной стенке. Ладони горели, наверное, все в мозолях. Икры ныли, колени сами подогнулись, я устало сполз на дно. Спина и колени удобно уперлись в холодную землю, словно именно этот размер и планировался.

Плеск реки сразу затих, будто кто-то убавил звук. Тут было сыро и темно – как и полагается в могиле. Я задрал голову. Фары серебрили край ямы, любопытная мошка влетев в их свет, вдруг вспыхнула крошечной сильфидой. Сделав кокетливую петлю, исчезла. Надо мной нависло небо, глубокое, бархатное, усыпанное звездной пылью. В жизни не видел столько звезд.

Хлопнула дверь веранды. Возвращалась Мэлори. Встать сил не было. Опираясь на лопату, выпрямился. Фары светили в лицо, слепили. Мэлори подошла к яме, бросила на траву какую-то тряпку. Это был плед, который мы привезли из Эдинбурга. Я хотел сказать ей об этом, но зачем? Я поднял лопату, швырнул ее рядом с пледом. Ноги вязли, к подошвам налипла земля, я подтянулся, закинул колено.

Мэлори вскрикнула.

– Что там? – спросил я, вылезая из ямы.

– Ничего, – ответил мужской голос. – Гости... – Он засмеялся. – Вам там плохо видно из-за фар, я объясню: у меня в руке бритва, она как раз у горла вашей жены. Поэтому ведите себя прилично. Договорились?

Я стоял на карачках на краю ямы. Мне действительно был виден лишь силуэт, но я узнал приятеля нашей Тиффани. Одной рукой он держал Мэлори за волосы, другую держал у ее шеи.

– Вот решил не откладывать и повидаться с вами сразу. – Он говорил насмешливо, без угрозы. Почти добродушно. От этого становилось только жутче.

Я приподнялся, встал на ноги. Он дернул Мэлори за волосы, она закричала.

– Назад! – приказал он. – Мы ж договорились.

Я опустил на колени. Накатила тошнотворная слабость, мне казалось, меня сейчас вырвет.

– Что тебе нужно? – сипло спросил я.

– Справедливости, пожалуй. – Он подтолкнул Мэлори в спину, вместе они сделали пару шагов ко мне. – Река шумит. Плохо вас слышно.

Теперь я увидел лезвие.

– Дело в том, что такие, как вы, – хуже легавых. Те выполняют свою работу, что они там на самом деле думают, никто не знает, да и неинтересно это никому. Вы же действительно считаете себя хозяевами жизни. Высшей кастой. Избранными.

– Послушай... – Я никак не мог вспомнить его имя – что-то короткое: Чат, Трак, Джаг – одно из этих быдляцких имен. – Послушай, мы подвезли твою подругу. Она попросила – мы подвезли. Я не понимаю, что в этом...

– Он не понимает! – перебил меня парень. – Не понимает...

Стив? Шак? Вспомнить его дурацкое имя стало навязчивой идеей. Он плашмя прижимал бритву к горлу Мэлори, из-под узкого лезвия вниз по шее стекала тонкая нитка крови.

– Послушай, убери нож. – Я старался говорить спокойно. – Мы пойдем в дом, я дам тебе денег...

Парень засмеялся.

– Как все-таки вы предсказуемы! Вы – банкиры, воротилы-заправилы. Ведь вы все уверены, что достаточно достать из бумажника пару сотен или пару тысяч и проблемы тут же исчезнут. Любые проблемы! Снова защечечут птички, взойдет солнце, и расцветут розы.

Скип! Точно! Я наконец вспомнил его имя.

– Послушай, Скип...

– О! – удивился парень. – Не так все безнадежно, оказывается! Вы меня радуете. При взаимопонимании наше маленькое приключение станет гораздо увлекательней. Для всех участников.

Я косил глаза на лопату, она лежала совсем рядом. Скип заметил мой взгляд.

– Ну вот, стоило мне вас похвалить... – с шутовским трагизмом сказал он. – Похоже, вы неисправимы. Что ранит меня до глубины души. Однако я хронический гуманист и все-таки попытаюсь вам втолковать некоторые истины относительно любви к ближнему.

Он быстро огляделся вокруг.

– Так! План будет такой. – Он подтолкнул Мэлори к сараю. – Сперва я проведу индивидуальное занятие с вами, мистер. Тет-а-тет. Выясним некоторые чисто мужские моменты, сверим наши моральные компасы...

– Кончай паясничать! – заорал я. – Какая, на хер, мораль! Ты малолетку продавал мужикам! Ты сутенер, ты...

– Тихо-тихо-тихо! – перебил он меня. – Кричать не надо. Пока не надо. Еще рано кричать. С сожалением хочу отметить, что вы опять берете на себя слишком много. Какое моральное или юридическое право вы имеете вмешиваться и осуждать мою личную жизнь? Вы бесцеремонно вторгаетесь в интимную сферу, навешиваете обидные, даже оскорбительные ярлыки. Мои отношения с той засыхой не должны вас касаться. Я же не интересуюсь подробностями вашей сексуальной жизни, не сую нос в вашу спальню, не расспрашиваю вашу милую жену о ее отношении к анальному или оральному сексу.

Он потянул Мэлори за волосы, засмеялся.

– Впрочем, она сама мне об этом расскажет. Тешу себя такой надеждой. Но сперва – мужской разговор о дружбе и любви.

Скип резко развернул Мелори и втолкнул ее в сарай. Она запнулась и упала. Он быстро захлопнул дверь, воткнул железный засов. Я думал, что успею схватить лопату, Скип оказался быстрее. Удар башмаком пришелся в подбородок, ослепительный фейерверк взорвался в голове, на секунду я потерял сознание. Потом прямо перед собой увидел тупорылые ботинки, за ними – мертвого оленя. Во рту было горячо и солоно.

– Я думал, мы договорились... – с сожалением сказал Скип.

Он сложил бритву, сунул в задний карман. Достал сигареты, закурил. Кое-как я поднялся на четвереньки. Хотел сплюнуть, в траву потекла тягучая красная гадость. Язык распух, кажется, я прокусил его насквозь.

– Кстати, насчет твоей лярвы... – Он сплюнул табачную крошку. – Она ничего. Ей сколько, лет тридцать пять? Вполне ничего... Ты мне скажи, она манду не бреет? Хорошо бы нет, ненавижу этих лысых. Как коленка с дыркой.

Он засмеялся, глубоко затаялся.

– Слушай... – Мой язык еле ворочался. – Слушай, Скип. Я тебе отдам машину... Уезжай?

Он выпустил дым аккуратным кольцом. Кольцо росло и плыло ко мне.

– Вот ты, ты ведь какой-нибудь адвокат или банкир, да? Учился в Джорджтауне или Кембридже. Ты считаешь меня грязью, недоумком, так? И ты предлагаешь мне совершить такую дурь – взять твою тачку и спокойно уехать.

– И деньги...

– И деньги! Во как! – Он хлопнул рукой по колену. Обе его руки были покрыты татуировкой. Из-под ворота майки на шею вылезали готические буквы какого-то слова. – Я уеду, дурачок-простофиля, да? А ты тут же позвонишь легавым.

– Не позвоню.

Он присел перед трупом оленя и, смяв, воткнул ему в голову окуроч.

– Смешно. Вроде взрослый мужик, а предлагаешь глупости. Ведь я и так возьму твою тачку.

Я бросился на него. Он увернулся, мой кулак лишь скользнул по его плечу. Он пружинисто вскочил, мне удалось ухватить его за ногу и повалить. Я пытался пальцами добраться до его горла, до лица, до глаз. Я знал, что это единственный шанс. Зубами я вцепился в татуированную руку, хрипя, грыз его предплечье.

Мы катались по траве. От него разлило кислым потом, он колотил меня по ребрам, казалось, мои потроха превратились в фарш. Он был моложе и умел драться, я последний раз дрался пятнадцать лет назад. Мне тогда здорово досталось.

Ему удалось вырваться, я распрямылся, и в этот момент он коротким, хлестким ударом вломил мне в скулу. Я свалился на бок – небо, звезды, призрачные деревья, огни фар медленно поплыли куда-то. Я хотел поджечь ноги, закрыть живот и грудь. Сил не было.

– Ну ты, сука... – Скип разглядывал укус: по руке, путаясь в синих узорах, текла кровь.

Он, тяжело дыша, достал бритву. Я привстал на локте, лопата лежала совсем рядом. Скип подошел и ногой отбросил ее в темноту. Я не мог отвести глаз от узкого злого лезвия.

– Слушай внимательно. – Он приблизил лезвие к моему лицу. – Слушай! Сначала я изуродую тебя, отрежу уши, нос. Потом подрежу твои сухожилия. Потом вытащу рыжую и тут же, на твоих глазах...

Я плюнул ему в лицо. Не попал, плевков угодил на майку. Скип выругался и полоснул меня лезвием по щеке – я даже не ощутил боли, только что-то горячее потекло вниз. Его лицо было совсем рядом, я прочел слово на его шее – там было набито «боль». Он ощерился, показав мелкие зубы.

На меня снова накатила слабость, стало все равно. Безразлично, что случится со мной, вот только Мэлори...

Мэлори беззвучно появилась за его спиной. С «ремингтоном». Я пытался вспомнить, заряжен ли дробовик.

– Встать! – негромко сказала она.

Скип обернулся, медленно привстал.

– Вот так сюрприз! Чудеса. – Он даже не испугался, посмотрел на закрытую дверь сарая. – И ружье! Хотя да, вы ж охотники!

Он пнул труп оленя. Повернулся к Мэлори, ствол «ремингтона» смотрел ему в живот. Он сделал шаг.

– Убить человека не так просто. Как вам может показаться после просмотра кинофильма. Этому надо учиться – убивать. А вы ведь учились другому. Немецкой философии, античной литературе, ведь так?

Скип переминался с ноги на ногу, он почти незаметно приближался к Мэлори.

– И дело тут не только в умении стрелять, нажать на спуск каждый может. Нет, все дело в силе воли. А еще моральный аспект. С этим тоже надо считаться. Убийство! Это ж смертный грех, не каждому под силу с такой тяжестью жить.

Он был уже совсем рядом с Мэлори. Я хотел крикнуть ей, но был просто парализован.

– Готовы ли вы взвалить на себя такой крест? – Он усмехнулся. – Ведь с этим придется жить до конца жизни, до последнего вдоха. Я буду являться вам в страшных снах. Окровавленный, с кишками, свисающими до пола. С синим лицом буду ждать вас за каждым темным углом, в каждой подворотне, в каждом плохо освещенном гараже. Я буду там! Буду там до последнего вдоха, вашего вдоха! Готовы ли к таким визитам? Справится ли душа ваша?

– Справится, – ответила Мэлори и выстрелила.

Скипа с грохотом отбросило. Он упал на спину; вместо майки на животе было темное месиво. Он захрипел, скрючил пальцы, впился в траву. Потом вытянулся, словно старался носками ботинок достать до чего-то, и затих. Где-то за сопкой откликнулось эхо, через минуту еще, раскатистой и громче. С севера шла гроза.

Мэлори уронила дробовик, закрыла лицо руками.

Она не плакала, просто стояла с закрытым лицом.

Я добрал до нее, прижал к себе.

– Он бы вернулся... – тихо сказала она. – Он бы...

– Не надо. Я знаю, знаю.

Я поднял «ремингтон», бросил его в яму. Нашел лопату, воткнул в кучу рыхлой земли. Снова ударил гром, теперь уже совсем рядом. Гроза приближалась, верхушки деревьев вдруг зашумели, налетел шквал ветра, тугой и теплый. Глаза засыпало песком. Совсем рядом хрястнул гром, мощно и отчаянно, грохнул с таким раскатом, словно сломалось что-то в небе. Что-то очень важное. Я поднял лицо, звезд не было. Тяжелая капля упала мне на щеку.

– Надо мотор завести. Батареи садятся, – сказал я неизвестно кому и пошел к машине.

Об авторе



Прозаик, художник. Родился в Латвии в семье военного летчика, вырос в Москве, на Таганке. Окончил художественно-графический факультет Московского педагогического государственного университета. Жил в России, потом в Нидерландах, в Германии, в США. Член американского ПЕН-Клуба. Лауреат «Русской премии» 2014 года в номинации «Крупная проза».

Автор восьми романов и четырех сборников прозы. Публикуется в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «Новая Юность» и др.